

НАТАН ГИМЕЛЬФАРБ

**ЗАПИСКИ ОПАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА**

БАФФАЛО 1999 ГОД.

ОТ РЕДАКТОРА

Книга, которую вы держите в руках, написана не писателем, не исследователем человеческих душ. Перед вами исповедь человека, ставшего в силу своего ума, способностей и трудолюбия директором крупного производственного объединения, изобретателем, учёным. Её язык, стиль, манера изложения ведут нас по ступенькам восхождения еврейского парня:

Через трудное детство, голод и лишения, войну, смерть родных и близких.

Через счастье любви и радости семейной жизни.

Через безграничную веру в торжество светлого будущего, во имя которого он жил и работал.

Через муки и терзания той жизни, свет и тени которой постепенно перешли в губительный мрак, из которого ему удалось вырваться.

Через антисемитизм, который везде и всюду был рядом.

Вы прочитаете жизнеописание, подчас перенасыщенное многими семейными и бытовыми подробностями. Но не будем строги к автору - писал он свои заметки прежде всего для них - своих близких, родственников, друзей, а получилось оно любопытным и познавательным для широкого круга читателей. И интимный фон этот колоритно дополняет основные вехи и события, участником которых оказывался главный герой.

Не всё и не всегда бесспорно в книге, с чем-то можно не согласиться. Но главное - в честном осмыслении автором своей жизни, своего видения тех событий, свидетелем которых он был и интересно рассказал о них нам. В правдивом и искреннем стремлении разобраться в сложных перипетиях современной ему эпохи.

Александр Шапиро

ОТ АВТОРА

Если бы кто-то в бывшем Советском Союзе, где прошла почти вся моя жизнь, от рождения до выхода на пенсию и отъезда в Америку в 1992-ом году, предложил мне самому описать свою жизнь, я посчитал бы такого человека несерьёзным.

Во-первых, писать книги не каждому дано и у меня, по крайней мере в то время, не было ни малейшей уверенности в том, что я сумею это сделать. Во-вторых, я и мысли не имел заняться литературным творчеством. Если бы даже это и взбрело мне тогда в голову, то у меня просто не было времени, так как я по горло был занят другими делами.

Да и саму идею взяться за перо и написать книгу о прожитой жизни следовало тогда выбросить из головы, как вздорную и абсолютно нереальную. Любому здравомыслящему человеку, мало-мальски знакомому с практикой книгоиздания в СССР понятно, что для выхода в свет книги там мало было личного желания автора, если он не был профессиональным литератором. Для этого, как минимум, нужна была инициатива и поддержка “сверху”. Такое могло стать возможным, когда находящийся у власти человек или организация посчитали бы это необходимым и полезным для общества. Например, для воспитания подрастающего поколения в духе коммунистических идеалов и верности марксистско-ленинскому учению и т. п.

Вряд ли моя автобиография, вобравшая в себя многочисленные факты государственного антисемитизма и дискриминации на национальной почве, соответствовала этим идеалам. В ней скорее можно было увидеть грубейшие нарушения Конституции СССР, провозгласившей дружбу народов, равенство и братство людей всех национальностей основополагающими принципами Советского государства.

Многое испытал я, видел и пережил на своём веку, но впервые мысль написать обо всём пришла ко мне в Америке, демократической стране, где права человека не только записаны в конституции, но и соблюдаются в жизни.

Теперь, когда я мог свободно выразить свои мысли, эта идея показалась мне более реальной, чем когда-нибудь раньше, и я взялся за осуществление замысла. Ему я посвятил несколько лет жизни в Америке, заполнив им всё своё свободное время. Новый вид творчества принёс мне огромное удовольствие. Доставил ли я его хоть частично тебе, уважаемый читатель, суди сам.

В работе над книгой мне во многом помогали друзья и родственники, ставшие не только первыми читателями каждой новой главы, но и моими советчиками. Сегодня я хочу сказать сердечное спасибо за оказанную помощь моим друзьям: Евгению Шусторовичу, Нелле Топорской, Леониду Пауди и Иосифу Эрманту; моей супруге Анне Абрамовне, сыну Владимиру и его жене Рите, дочери Вере и её мужу Владимиру, внукам Илье и Наташе, сестре Полине.

Особая моя благодарность редактору книги, Александру Шапиро, без помощи которого она вряд ли бы увидела свет.

Заканчивается книга нашим прибытием в Нью-Йорк и, кто знает, может найдутся силы, чтобы в свои преклонные годы взяться за её продолжение и описание жизни в стране, ставшей для меня новой родиной.

Натан Гимельфарб

ДЕТЯМ И ВНУКАМ СВОИМ ПОСВЯЩАЮ.

Дорогие мои дети и милые внуки!

После того, как мы с Вами отметили моё семидесятилетие, и пошёл отсчёт годам восьмого десятка, я стал ощущать приближение своего жизненного финала. Оглядываясь на прожитые годы, я всё отчётливее понимаю, что многое из жизни моей, моих родителей, всей нашей большой и очень дружной семьи может представить определённый интерес для Вас, детей Ваших и внуков. Возможно и для многих других евреев, рассеянных, как и прежде, по всему свету. Думаю, что мой горький опыт представляет какую-то ценность и я не должен, и не хочу унести его с собой.

Если и Вы посчитаете его полезным для себя, то примите эту исповедь, как мой подарок Вам. Мне очень приятно это сделать, так как постоянно хочу доставлять Вам радость.

Скажу откровенно, что нелегко мне было взяться за перо. Я ведь не писатель, не журналист (если не считать нескольких десятков статей по технической тематике). Полагаю, что и написанное мною, не станет литературным шедевром, но ведь и не эту задачу я ставил перед собой.

Кое-кто из моих друзей, обладающих большими чем я способностями к литературному творчеству, и, считающих полезным описание моего жизненного пути, предлагали мне в этом свою помощь. Но я решил писать сам, ибо кто же лучше меня знает мою жизнь, чувствует и понимает все тонкости и особенности происшедших в ней событий. В моём решении отразилась также невысказанная любовь к моим родителям, братьям, родным и близким, погибшим в годы моего детства и юности от голода и холода, побоев и насилия во время еврейских погромов, в Гражданскую и Отечественную войнах. Замученных и расстрелянных в гетто, умерших после ранений на полях сражений и от тяжёлых болезней.

Вечная им память и вечная слава!

Главное, в чём смею заверить Вас: моё повествование правдиво и идёт от души.

Прочитайте его. И если оно принесёт Вам и детям Вашим какую-то пользу в жизни, если чему-нибудь доброму научит, я буду считать, что исполнил свой долг. Мне это будет лучшей наградой за мою большую любовь к Вам, за мое полувековое служение своей семье и людям.

Ваш отец и дед Натан Гимельфарб.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

Родиной принято считать то место, где ты родился. Не знаю кто придумал такое определение и не уверен, что оно абсолютно верно во всех случаях жизни. В самом деле, что, в таком случае, следует считать Родиной для человека, родившегося на корабле, пересекающем океан, или на самолёте, летящем с одного континента на другой. Были в моей жизни и другие основания усомниться в верности этого определения в общем.

Что касается лично моей Родины, то у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что это местечко Красилов, что недалеко от города Проскурова, теперь Хмельницкого, на самом западе Украины, рядом со старой границей с Польшей.

Я в этом уверен не только потому, что нет никаких сомнений в том, что, именно здесь я родился, а главное - потому, что в моем сердце нет города на земле роднее и милее Красилова, что в памяти моей на всю жизнь остались до боли знакомые подробности из моего раннего детства и юности. С Красиловым связаны воспоминания о милых моему сердцу родителях и старших братьях, многочисленных родственниках, которые так много для меня сделали доброго, перед которыми я всю свою жизнь в неоплатном долгу, и которым я не успел даже словами выразить свою благодарность, любовь и преданность. Не успел потому, что все они так рано ушли из жизни. С Красиловым связаны воспоминания о друзьях детства и юности, погибших на войне или расстрелянных в гетто, о незабываемых школьных годах, особенно о первых годах учебы в настоящей еврейской школе.

Красилов - это моя боль, которая сидит в моем сердце всю жизнь и не утихает. Вот почему это небольшое местечко так дорого мне, и почему я с полным основанием считаю его своей единственной Родиной. Именно с этим маленьким местечком ассоциируется у меня понятие Родины. Не с Республикой, к которой оно относится, не со страной, куда входила эта Республика, считавшейся Великой Державой, даже Сверхдержавой. Только с местечком, ибо Республику и Сверхдержаву я не могу считать Родиной-матерью, потому что от них я имел одни страдания и еще потому, что они не раз предавали меня.

Наверное поэтому они больше ассоциировались в моей памяти с понятием «мачеха», ибо не может настоящая мать причинять столько боли, наносить столько страданий и обид...

Внешне Красилов мало чем отличается от множества других еврейских местечек, которыми была густо начинена Украина к западу от Днепра и до самой границы с Румынией и Польшей. То была так называемая черта оседлости еще с давних, дореволюционных времен. Мне когда-то даже казалось, что именно Красилов описывал в своих произведениях Шолом-Алейхем под именем Касриловка. Казалось не только потому, что названия эти созвучны, но главным образом потому, что всё описание Шолом-Алейхемской Касриловки почти полностью можно отнести и к нашему Красилову.

На самом деле, когда читаешь у Шолом-Алейхема о Касриловском базаре с множеством еврейских лавок и лавчонок, прилавков, столиков и лотков, заваленных грудями свежих душистых яблок и груш, вишень и слив, разными молочными продуктами, мясом и живой птицей, то не остается никакого сомнения, что великий писатель описывал именно наш Красиловский базар.

Или, к примеру, описание синагоги. Так и кажется, что это копия одной из наших Красиловских синагог. Не знаю сколько их было в Касриловке, а в нашем небольшом местечке их было целых пять. Когда их, как и единственную еврейскую школу, закрыли почти одновременно в 1936-1937 годах, я часто удивлялся: зачем их было так много в таком маленьком местечке?

Ничем, кажется, не отличалась от описанной Шолом-Алейхемом касриловская баня от нашей Красиловской. Я до сих пор помню, как каждую пятницу по улицам местечка ходил зазывала и громко восклицал: «Гейт ин буд ара-ан!»! т. е. «Идите в баню!».

Такая же была у нас речка без названия, где мы купались, играли, учились плавать и весело проводили время.

И полон был наш Красилов, как и Касриловка, почтенными обывателями, которые еле-еле сводили концы с концами, торгуя в своих лавочках и, занимаясь кустарным промыслом, но держались с большим достоинством. И каждый из них имел своё место в синагоге. Было у нас точно такое же, как и в Касриловке, еврейское кладбище, где хоронили евреев по еврейским законам и обычаям и где покоились наши предки с незапамятных времён.

Как и Касриловку, наше местечко можно было пройти вдоль и поперек за полчаса и было оно очень красивым - зелёным и полным прелести.

И все же я пришел к выводу, что Красилов - это не Касриловка. И не только потому, что находится не в Полтавской губернии, вблизи Переяслова, а в Каменец-Подольской, ныне Хмельницкой области Украины; и не потому, что в Касриловке не было железной дороги, а в Красилове была и каждые сутки уходил от нас поезд на Жмеринку, откуда можно было добраться до Одессы, Киева или даже Москвы.

Главным отличием Красилова от описанной Шолом-Алейхемом Касриловки и многих других еврейских местечек, разбросанных по всей Украине, было то, что евреи были не единственными его жителями и даже не составляли большинство. Здесь жили, кроме них, украинцы и поляки, русские и цыгане

и это накладывало определенный отпечаток на его жизнь. Вы спросите, а какой именно? Отвечу. Евреям от этого лучше не было. Если в соседних с Красиловым еврейских местечках, где преобладающим большинством жителей были евреи, не слышно было в мирные годы каких либо вопиющих случаев национальной розни, то в Красилоре, где евреев было меньше половины всех жителей, их отношения с неевреями были довольно сложными и напряженными. Эти отношения нередко обострялись и приводили к взрывам открытой злобы и ненависти, а в отдельных случаях и к актам насилия и вандализма.

У евреев здесь было немало открытых и скрытых недругов. Трудно объяснить, что было главной причиной неприязни и злобы. То ли антисемитизм, передававшийся из поколения в поколение, то ли зависть, то ли что-нибудь другое или все это вместе. Я нередко задавался этим вопросом и не находил на него четкого ответа.

Помню, например, как умышленно подожгли несколько еврейских лавок на старом базаре, как ночью дегтем кто-то измазал двери в двух главных еврейских синагогах, как хулиганы оскверняли могилы на еврейском кладбище.

В годы моего детства и юности не было еврейских погромов. Советская власть этого не допускала. Ведь на весь мир демонстрировалась нерушимая дружба народов. Но из рассказов своих родителей я знаю о еврейских погромах в Красилоре в годы Гражданской войны и об участии в них многих местных жителей - антисемитов. Очевидцы рассказывали мне как активно участвовали украинские полицаи в поголовном уничтожении евреев Красилова в 1941-42гг. Здесь с ними долго не церемонились и расправились раньше, чем в других еврейских местечках, где большинство населения было еврейским.

Возможно, конечно, что всё это имело место не только из-за национального состава населения нашего местечка. Может этому способствовали какие-то исторические обстоятельства или особенности проживающих в Красилоре неевреев, но бесспорно одно, что по наличию (и объёму) антисемитизма наше местечко занимало ведущее место в ряду еврейских местечек не только нашей губернии, но, вероятно, и всей западной Украины.

2

Теперь, дорогой читатель, когда Вы уже кое-что знаете о моей Родине, о моем родном местечке Красилов, где я родился и провёл годы детства и юности, наверное, пришла пора рассказать Вам кое-что о своих родителях, об отце и матери, пусть земля им будет пухом.

Нужно было бы, конечно, рассказать Вам еще о своей родословной, о дедушках и бабушках, прадедушках и прабабушках, но я не стану этого делать подробно, во-первых, потому, что сам о них мало чего знаю, а, во-вторых, потому, что, как мне думается, Вам это, наверное, не очень интересно. Жили они в прошлом столетии и были обыкновенными евреями, почитавшими Бога и считавшими главной целью жизни - сотворение на свет божий детей, доведение их до кондиции, позволяющей им создавать новые семьи, чтобы вновь начинать очередной жизненный цикл. Не было среди них ни Марксов, ни Эйнштейнов, ни знаменитостей масштабом поменьше. Не было у меня и богатых предков. Все они, как и мои родители, не имели какого-нибудь приличного состояния, что могло бы создать проблемы при разделении нажитого ими добра между детьми и родственниками после их смерти.

Считайте, что Вам повезло; не буду я утомлять Вас длинными историями о предках. Но хотел бы Вам сказать, что мой дедушка по папиной линии, Соломон Гимельфарб, был известен в Красилов, как хороший фельдшер. Если же учесть, что в местечке в то далекое время почти не было настоящих врачей с высшим образованием и с большим опытом, а к молодым врачам местные жители относились с недоверием, то совсем не приходится удивляться рассказам старожиллов о его большом авторитете у местных жителей в лечении буквально всех болезней. Не отказывал он и больным из окрестных сел и местечек. Ценили дедушку и за лечение различными травами, в использовании которых он был большой знаток. Как рассказывали старики, знавшие Соломона Гимельфарба, был он очень добрым и отзывчивым человеком и никогда не брал денег за свои советы у бедных.

Лично я дедушку Соломона не помню, так как умер он в 1926г., когда мне было полтора года отроду. А вот бабушку свою, Песю, я немного помню. Она была очень набожной и постоянно молилась. Жила она в то время бедно и старалась во всем быть экономной и бережливой. Запомнилось, как она умудрилась маленьким кусочком масла намазать несколько кусочков черного хлеба, который и на намазанной маслом поверхности сохранил свой цвет.

После смерти дедушки, как рассказывала мама, бабушка совсем замкнулась в своей печали, и редко на ее лице можно было разглядеть хоть слабую улыбку. В такой скорби она и ушла из жизни в 1930 году, когда мне было около шести лет.

Дедушку и бабушку по маминой линии я почти совсем не помню даже из рассказов родителей и родственников. Они жили в Старо-Константинове, недалеко от Красилова, и редко к нам приезжали. Знаю только, что дедушку звали Зинделем и работал он учителем в еврейской школе, а бабушку - Мусей, и она всю жизнь тем только и занималась, что вела хозяйство да растила детей. Дедушкина фамилия была

Моверман. Они умерли в начале 20-х годов, когда меня еще не было на свете. Их дочь - тетя Суця, мамина сестра, приезжала к нам в Красилов, когда болела мама, а мне было десять лет. Приезжала с детьми - Маней и Изей. Они чудом остались живы после войны и о них я расскажу Вам позднее.

У бабушки Песи было две сестры, которые были моложе ее. Сестра Хава жила на старом базаре со своим глухим мужем Аврумом. Их единственный сын, оставшийся в живых после революции, Бениамин, уехал в Палестину в 1920 г. Они о нем почти ничего не знали и часто плакали, вспоминая его. Тетю Хаву я хорошо помню. Я звал ее мимой (бабушкой) Хавой и очень любил за доброту и внимание, которые она проявляла ко мне, моей младшей сестрёнке и старшим братьям, особенно после смерти наших родителей. Мима Хава очень тепло относилась к нам и часто приглашала к себе по субботам отведавать фаршированной рыбы, картофельного пудинга и разных вкусных сладостей, что доставляло нам много удовольствия. На Хануку она одаривала нас деньгами (ханука-гелт) в размерах, значительно превышающих денежные подарки других наших родственников.

Другая сестра нашей бабушки Песи - Шейва, была менее добра к нам и мы редко у нее бывали. Она жила по соседству с нами со своей дочерью Хавале и ее мужем - дядей Айзиком, учителем химии. У них был сынишка Боренька, красивый и очень одаренный мальчик, которым гордились не только родители, но и все наши красиловские родственники. Считали, что растёт вундеркинд. Все его очень любили, но больше всех его любила и заботилась о нём бабушка Шейва.

На этом, пожалуй, я и ограничу свое повествование о родственниках и расскажу немного о своих родителях. Немного не потому, что мало их любил и не испытываю к ним сыновьей благодарности, а потому, что короткими были те счастливые годы, когда я, как и все мои сверстники, мог наслаждаться чувством материнской и отцовской любви, заботы, защищенности от невзгод, обид и опасностей, которые так часто подстерегали нас в детстве.

Не зря говорят, что людям присуще недооценивать то, что они имеют и они принимают все доброе, как само собой разумеющееся. Так было и со мной.

Только тогда, когда не стало моих родителей (в неполных 9 лет я лишился отца, а через 2 года не стало и матери), я отчетливо понял, что они для меня значили. Это не только потому, что родителей никто заменить не может. Это, главным образом, потому, что у меня были необыкновенные родители. Я часто сравнивал их с родителями своих друзей - сверстников, с которыми общался, и у которых часто бывал дома. И каждый раз я приходил к выводу, что таких милых, добрых, ласковых родителей ни у кого из них не было. Я не помню громкого слова в свой адрес. Без крика, принуждения и наказаний мои родители внушали нам, детям, чувства ответственности и прилежности в работе и учебе, честности, правдивости, уважения к старшим, доброту. Они служили нам примером во всём. И поскольку в их отношениях между собой, отношениях к нам, детям, родственникам, друзьям, знакомым и даже совсем незнакомым людям мы видели только внимание, заботу, доброту, желание и готовность чем-то помочь, то нам ничего не оставалось, как воспринимать их жизнь как добрый пример для подражания.

Прилежность, честность, порядочность и доброта стали наследственными в нашей семье. Отец мой унаследовал их от нашего дедушки Соломона и передал их своим детям. Именно эти качества отличали моих братьев и мою сестрёнку от их сверстников. Отличали так разительно, что многие считали их просто ненормальными, какими-то особенными, не от мира сего. Таким считали в нашем местечке и нашего отца.

Как я уже говорил Вам, мой дедушка Соломон имел среднее медицинское образование, работал фельдшером и высоко ценил народную медицину, в частности, лечение травами, из которых он готовил разные настои и отвары. Будучи глубоко уверенным, что именно в этом направлении нужно искать пути к лечению многих болезней, он решил своему любимцу Моисею, моему отцу, любой ценой дать образование и сделать его продолжателем своего дела, своих идей.

Я говорю любой ценой потому, что в то время было совсем не просто послать сына учиться в институт или университет. На это нужны были большие деньги, которых у нашего дедушки, по всему видно, всегда не хватало. Кроме того, в еврейских семьях в то время было принято, как правило, дать детям, особенно мальчикам, ремесло, которое могло бы быстрее помочь семье в борьбе за выживание. Вот почему они, мальчики в еврейских местечках, становились чаще всего портными, сапожниками, парикмахерами, мясниками и молочниками, торговцами. То же советовали сделать и моему дедушке.

Но дедушка Соломон настоял на своём. Он собрал деньги и отправил сына в институт. С дипломом фармацевта он вернулся в Красилов, где проработал в местечковой аптеке всю свою жизнь. Хоть он и был здесь единственным специалистом с высшим образованием, это не помогло ему сделать карьеру. Он прослужил всю жизнь в должности аптекаря.

На его должность никто не претендовал не только потому, что он был самым образованным в этой области человеком в нашем местечке, лучше других знал и умел делать эту работу, но и потому, что он в высшей степени добросовестно ее выполнял и очень любил. Он часто задерживался в аптеке до позднего вечера, когда, как он говорил, была срочная работа, его нередко вызывали и ранним утром и даже ночью, когда это требовалось. К нему постоянно обращались за помощью и советом знакомые и малознакомые

люди. Незнакомых совсем у него просто не было. Его в местечке знали все. Он никогда не отказывался являться на вызовы и никогда не отказывал людям в необходимой им помощи.

На нас, детей, у него оставалось очень мало времени, но он использовал каждый час, каждую минуту свободную от основной работы, чтобы побыть с нами, поиграть, чему-нибудь научить или просто погулять. Хотя и немного было такого времени, но и тех коротких часов общения с ним оказалось достаточно для того, чтобы в полной мере почувствовать его отцовскую любовь, заботу и внимание. Неудивительно поэтому, что я, мои братья и сестра очень любили отца. Удивительно то, что каждый из нас не ревновал его в большей любви к другому. Что касается меня, то признаюсь, что считал почему-то, что он любит меня больше всех, хотя я не был ни первенцем, ни мизинцем в семье. Может то-же в душе чувствовали мои братья и моя младшая сестрёнка, которая на то имела все основания, хотя бы потому, что она была самой маленькой из детей и еще потому, что она девочка.

Хоть я и принимал его любовь, доброту, внимание ко мне, как должное и поэтому не запоминал многие детали, но тем не менее отдельные проявления отцовских чувств ко мне врезались в мою память и остались на всю жизнь.

Помню, как он учил меня игре в шахматы совсем маленьким. В то время у нас мало кто играл в шахматы. Папа хорошо играл, любил и ценил шахматы, считая их самой умной и полезной игрой, которую когда-либо придумал человек. Он научил нас, всех троих братьев, этой игре. Может быть он научил бы этому и сестричку, но она была тогда ещё совсем маленькой. Он был рад успехам своих сыновей в освоении шахмат, но больше всего радовался моим успехам. Может быть потому, что я был меньшим из трех братьев, а может быть и потому, что я был его любимцем.

При своей предельной занятости, он находил время устраивать семейные турниры по шахматам, являясь в них и арбитром и участником. По окончании турнира папа вручал награды победителям. Нехитрые и недорогие подарки, вроде общей тетради, альбома для рисования или пачки цветных карандашей вызывали спортивный азарт у участников этих турниров и большую радость у победителя.

Шахматы тогда для меня были самым любимым занятием и, может быть, если бы не ранняя смерть отца и связанные с этим невзгоды, обрушившиеся на нашу семью, я бы достиг в них заметных успехов.

Запомнилось мне и то, как я с ранних лет восседал на папиных коленях за обедом. В семье был неизменный порядок общего для всех обеда. Обедали, когда папа приходил с работы. Обычно это было в одно и то же время, но даже, когда случалось, что папа задерживался на работе, все ждали его возвращения. Где бы мы в это время не были, чем бы не были заняты - к обеду приходили домой вовремя. Для этого не требовалось никакого принуждения ибо каждый обед для нас был праздником и мы ждали его с нетерпением, независимо от того, что подавалось на стол к обеду.

Главную роль в организации семейных обедов играла, конечно, мама. Она намечала перечень блюд, закупала нужные продукты, готовила, накрывала на стол и подавала каждому еду. Еда была разная в зависимости от дня недели, праздников, материальных возможностей. Стол накрывался свежей скатертью и аккуратно сервировался. Во главе стола сидел папа - такой важный, красивый, со свежесбранным улыбающимся лицом, гладко причесанными волосами, с чуть заметной сединой на висках. Он казался мне неким царьком. Пусть не всамделишным царём, которого я видел на картинках, а нашим семейным царьком. Он всегда был в центре нашего внимания. Его предложения и советы каждым из нас принимались безропотно. Кроме ответной любви к нему для этого были и другие веские основания. Он был умницей, высокообразованным, культурным и тактичным человеком.

К себе на колени папа обычно сажал самого младшего из детей. В свое время это был каждый из моих старших братьев, но этого я не помню. Об этом мне рассказывала мама. Зато я хорошо помню себя в этом положении, которое я высоко ценил и которым очень гордился. Не знаю, что в это время чувствовали мои старшие братья, но маме это было явно не по душе. Пожалуй это была чуть-ли не единственная причина ее разногласий с отцом. Наша маленькая добрая и тихая мама, послушная во всем главе семейства и, взирающая на него такими преданными и любящими глазами, тут вдруг преображалась. Она открыто выражала свой протест и требовала от папы посадить ребенка на положенное ему место. Но здесь папа, такой покладистый и согласный с ней во всем, стремящийся всегда выполнить любое ее желание, не уступал. Без слов и убеждений, одним своим добрым и ласковым взглядом ему удавалось успокоить маму и ребенок оставался на его коленях. Со временем это стало нормой его поведения, он приобрёл в этом достаточный опыт, что позволяло ему уверенно справляться со всеми своими обязанностями за столом. Он и сам аппетитно ел, и за едой ребенка следил, и маму успевал похвалить за вкусные блюда, и местечковые новости рассказывал да еще шутку или анекдот выдавал, что вызывало дружный смех у всей нашей семейной компании. Обед, обычно, продолжался довольно долго и мы не спешили уходить со стола, стремясь продлить себе удовольствие от еды, а главное от общения с нашими милыми родителями.

Был, однако, один случай, который дал маме основание запретить на некоторое время кормление самого младшего члена семьи на коленях у папы. И виной тому был я, а пострадал от этого больше всех папа. Мне тогда было лет пять и я, как обычно, обедал у папы на коленях. Мама подала тарелку с горячим

куриным бульоном, которую я умудрился опрокинуть на папу, сильно ошпарив его колени и свою левую руку, на которой до сих пор сохранились следы ожога. Сколько было вокруг этого шума и слез, и папа был вынужден на какое-то время отказаться от этой своей привычки. Но только на какое-то время. Когда моя рука зажила, я вновь восседал на его коленях за обедом, а когда подросла моя сестрёнка Полечка, то это место по праву досталось ей.

Запомнился и такой случай. Папе, в благодарность за его усердную работу в аптеке, которая единодушно высоко оценивалась, как местным медицинским начальством, так и всеми пациентами, дали путёвку на отдых в Пушче-Водицу, под Киевом. Он долго и тщательно готовился к поездке, а за два дня до отъезда заявил, что решил взять меня с собой. Мама возражала, наши родственники пытались отговаривать его, но он настоял на своём. Мне тогда было около семи лет. Папино решение, конечно, пришлось мне по вкусу и я не мог скрыть своего восторга. Первый раз в своей жизни я отправлялся в такую дорогу. Впервые настоящий балагула (извозчик) отвозил меня с папой на вокзал, впервые я ехал на настоящем поезде. Хотя мы и ехали ночью, не хотелось спать и я всю ночь смотрел в окно, где совсем ничего не было видно, кроме ярких огоньков на редких станциях и полустанках. Только утром, когда на горизонте появилось солнце, стали видны мелькающие за окном поля и леса, небольшие речушки и озера, белые, покрытые соломой, деревенские избы. Все это было очень интересно.

А еще интереснее было в самом доме отдыха, где мы оказались к исходу дня. Небольшие спальные корпуса утопали в ухоженной зелени прекрасного парка, асфальтированные дорожки вели к большому двух-этажному зданию клуба-столовой и к площади, в центре которой размещалась скульптурная композиция и небольшой фонтан. Расположенный поблизости спортивный городок был оборудован волейбольной, баскетбольной и городошной площадками, навесами для настольных игр и бильярдных столов. В клубе размещались кинозал, библиотека и зал для игр и танцев. В общем здесь были все условия для полноценного отдыха.

Меня и папу разместили в уютном номере со всеми удобствами и балконом. Детей в доме отдыха не было, и я все удивлялся, как папа смог договориться о моем пребывании здесь. Папа не отпускал меня от себя ни на шаг. Вместе мы совершали прогулки по сосновому лесу, катались на лодке и катере, купались и загорали, ходили в кино и играли в шахматы. В столовой нас очень вкусно кормили и был большой выбор блюд. Стояла прекрасная погода, такая бывает на Украине в конце лета. Мне было очень хорошо с папой и казалось, что все это из какой-то сказки.

Время быстро пробежало, и когда пришла пора возвращаться домой вдруг резко похолодало и пошли дожди. Папа тщательно оберегал меня от простуды. Оберегал, но не сберёг.

Красилов встретил нас холодным проливным дождем и пока мы добрались домой мы промокли до последней косточки. Говорят, за удовольствие нужно платить. И я заплатил очень дорого за доставленные мне папой наслаждения.

Поездка стоила мне простуды, воспаления легких и бронхиальной астмы, что могло иметь фатальные последствия. Еще больше моя болезнь стоила моим родителям, которые буквально лишились сна и отдыха и совсем сбились с ног в поисках путей моего спасения. Они привезли врачей из Проскурова и тщательно выполняли все их назначения, обеспечили идеальный режим питания и ухода, и чудом отвели, казалось неминуемую смерть.

На всю жизнь запомнились мне трогательная, беззаветная родительская любовь, их самоотдача, невероятная трудоспособность и мужество при выполнении своего родительского долга.

А если ко всему учесть, что жили мы в то время в бедности и самым трудным для моих родителей было обращаться к кому-то за помощью или одалживать деньги, то их мужественной и самоотверженной борьбе за мое выживание можно только удивляться и восхищаться.

Хочется особо здесь сказать о нашей маме. На фоне папы - красивого, умного, образованного и очень эффектного мужчины, которого все любили и уважали, и которым гордилась не только вся наша семья, но и все наши многочисленные родственники, знакомые и, не ошибусь, если скажу, все жители нашего местечка, наша мама в повседневной жизни была вроде ничем не приметна. Невысокого роста, скромная, молчаливая с вечно грустным, озабоченным лицом, вся в работе и заботах, но очень милая, чуткая и добрая - такой запомнилась она мне из моего детства.

Она никогда не претендовала на роль первой скрипки в нашем семейном ансамбле. Эту роль она добровольно отдала папе, которого беззаветно любила и перед которым без стеснения преклонялась.

На самом же деле, при всех бесспорных достоинствах отца, трудно однозначно сказать кому из них мы, дети, больше обязаны счастливому детству, которое нам досталось, наследственной преданности родительскому долгу и трудолюбию, которые сохранились на всю жизнь и останутся с нами до нашей кончины. Наверное, обоим в одинаковой степени.

Вы можете, конечно, сказать, что в этом нет ничего удивительного. Все родители по своему любят своих детей и заботятся о них. Но позвольте с Вами все же не согласиться. Я знал в детстве немало об отношениях родителей к моим друзьям - сверстникам, в том числе в семьях, которые имели значительно

больше материальных возможностей чем наши родители, для воспитания детей и обеспечения их счастливого детства. Я абсолютно уверен в том, что мы, несмотря на бедность наших родителей, получили от них больше ласки и любви, чем все знакомые мне сверстники.

Скажу Вам больше, что, к стыду моему, я не могу сказать, что мои дети, которых я тоже очень люблю, получили от меня столько внимания и ласки, сколько я получил от своих родителей. Сознание того, что я много недодал своим детям в их детстве стало предметом неослабевающего угрызания моей совести. Сейчас не место для объяснения причин, которые этому способствовали, и отметил я это здесь только для того, чтобы отчетливее отразить свои чувства к родителям, подчеркиваю, к обоим родителям одинаковые.

Они как-то дополняли один другого, создавая общую, идеальную, на мой взгляд, гармонию отношений между родителями и детьми. Мама больше занималась домашними делами - готовила, стирала, гладила, убирала, чинила одежду, немного сама шила, закупала продукты, кормила и одевала всю семью. И делала она все это также добросовестно, как папа делал свою работу. И трудилась она с раннего утра и до поздней ночи. И в том, что в семье был образцовый порядок, которому завидовали все наши родственники, соседи и знакомые, ее заслуг было не меньше, а может быть и больше, чем папиных.

Итак, жили мы в семье в мире, любви и согласии и принимали всё это, как должное. Нам казалось, что так будет всегда. Казалось, наверное, потому, что нам было хорошо и хотелось, чтобы это длилось вечно.

Но, к нашему несчастью, счастье было недолговечным, вернее скоротечным. Все началось с голода. Того самого голода, который разразился на Украине в 1933 году и в результате которого, как теперь, наконец, официально признано, погибло не менее пяти миллионов человек. Мне тогда еще не было девяти лет и я был во втором классе еврейской школы. Забыть этот ужас невозможно. Такое не забывается. Удивляюсь, с какой ясностью я до сих пор помню всё, что связано с этими страшными годами, вплоть до мелких деталей. Помню даже мысли и сомнения, которые одолевали меня в то далекое время.

Вы можете спросить, какие мысли по вопросам государственного и общественного строя или экономики страны могут одолевать девятилетнего ребёнка. Вопрос правомерный. Но поверьте мне, что я хорошо помню споры и дискуссии по этим вопросам в школе, на улице и в семье. Самые откровенные обсуждения постигшего нас бедствия были в нашем доме. Только здесь мои родители и старшие братья могли открыто высказывать свои мысли, не опасаясь последствий. Помню, как я одолевал папу вопросами, как могло случиться, что в такой богатой и плодородной стране, как Украина, вдруг не стало хлеба. Если даже и случился неурожай, то куда делись хлебные запасы, почему нам не помогут братские советские республики или другие страны?

К тому времени я уже кое-что понимал, так как много читал, хорошо учился и, наверное, по наследству был наделен определенными способностями к анализу и восприятию жизни. И все же, как я потом понял, мои понятия того времени не могли быть объективными потому, что реальная жизнь преподносилась нам в искаженном свете, не имеющем ничего общего с действительностью. Нам с детства внушали, что мы живём в самой лучшей, самой справедливой и самой свободной стране, где всё делается только для блага и счастья человека, где все равны перед законом, где нет эксплуатации чужого труда и каждый получает то, что ему положено в зависимости от того, как он работает. Так нас учили в школе, так писали газеты, только так об этом говорили по радио. Другой информации не было, а если что-нибудь и появлялось, то оно объявлялось вражеской пропагандой, клеветой на наш советский строй и искоренялось вместе с источником чуждой нашему государству пропаганды. И все же сомнения в объективности официальной информации были.

Помню, как папа объяснял моим старшим братьям сущность разразившегося голода. Он утверждал, что правительство не даёт хлеб Украине в наказание за то, что часть крестьян не идет в колхозы, что колхозы плохо работают и мало сдают хлеба государству, что тем районам, где коллективизация идёт быстрее, выделяют больше муки и других продуктов питания и там люди не умирают с голода. И еще он говорил, что таким образом правительство пытается убедить народ, что во всем виноваты кулаки и зажиточные крестьяне, которые прячут хлеб от государства. Всё это говорилось шепотом и папа строго предупреждал нас не повторять этого на улице и в школе.

А голод нарастал с каждым днем. Мы стояли в длинных очередях за хлебом и часто уходили домой с пустой кошелкой, так как хлеба нам не хватало. Чтобы все же купить буханку хлеба, мама стала подымать нас на рассвете, до открытия магазина, но так стали делать и другие. Хлеба нам опять не доставало. Чтобы все же заполучить желанную буханку, мы стали дежурить в очередях всю ночь. Это вначале помогало, а когда так поступать стали все, то часто и это не спасало.

Однажды, в холодную дождливую ночь, простояв с Зюней в очереди за хлебом несколько часов, я простудился, что вызвало очередную вспышку моей хронической бронхиальной астмы. Мама тогда несколько суток не отходила от моей кровати, а папа по несколько раз в день приносил из аптеки лекарства и кислородные подушки.

А в магазинах уже не стало не только хлеба, но и других продуктов. Как это часто бывает на беде стали греть руки спекулянты и жулики. Они умудрялись скупать продукты у завмагов и продавать их по

рыночным ценам, которые для нашей семьи были недоступны. Мамины небольшие сбережения быстро иссякли. Обменяли на продукты родительские обручальные кольца и кое-что из одежды, но всего этого хватило на короткое время. Всеми поисками и обменами занималась в первую очередь мама. Она целыми днями носилась по магазинам и рынкам, пытаясь что-нибудь купить, обменять, достать. Когда совсем стало плохо и нечем было кормить детей, она стала варить супы из каких-то трав и крапивы, убеждая нас в их полезности, и поила чаем без сахара. О себе они с папой не думали. Главное - что-нибудь дать детям. Когда удавалось достать буханку хлеба, мама делила её на шесть частей, но когда мы, дети, съедали свою часть и нам этого было мало, мама и папа, скрытно один от другого, отдавали нам часть из своей порции, убеждая нас в том, что им от такого хлеба болит живот.

Хлеб действительно был плохой и больше походил на глину, но живот от него у них не болел. Им просто хотелось уменьшить наши страдания от голода. Наверное, мы тогда еще не могли понять, чем грозит всем нам эта секретная подкормка и их постоянное недоедание. Мы поняли это позднее, когда родители заболели дистрофией, от которой в то время и в тех условиях не было спасения.

Особенно тяжело болел отец. Он не жаловался и успокаивал нас, но истощение довело его до крайней слабости, при которой он уже не в состоянии был ходить на работу, а вскоре слег.

Мама тоже болела и совсем иссохла. Она всегда была худенькой и небольшого роста, а теперь совсем в комок сжалась. Издали её можно было принять за ребенка, а вблизи она была похожа на ходячий скелет, обтянутый кожей. Лицо этой, еще молодой, недавно красивой сорокалетней женщины, покрылось глубокими морщинами и пожелтело. Неизвестно откуда у нее брались силы бегать с утра до ночи в поисках продуктов, что-то готовить, ухаживать за лежащим больным отцом и за нами - детьми.

Мы заметили, что в местечке исчезли кошки и совсем мало осталось собак. Они стали жертвами голодающих людей.

Дистрофия, словно эпидемия заразной болезни, охватила всё местечко. Многие умирали. Чаще других умирали евреи. Украинцы, поляки, русские, как правило, жили на окраине и имели огороды возле дома, которые обеспечивали их какими-то запасами картошки и овощей.

Но не все евреи голодали. Некоторые даже разбогатели на этом народном бедствии. Они скупали продукты у завмагов и продавали их по дорогим ценам, завозили муку из других мест и спекулировали ею или выпекали из нее хлеб, что приносило им немалые доходы.

Наши родители этим не занимались. Они никогда не были богатыми, но были кристально честными, гордились этим и внушали нам сохранять эту фамильную особенность. Мама редко когда одалживала деньги и планировала свои расходы, исходя только из наличных доходов. Она редко занимала у кого-нибудь продукты, а если такое и случалось, то всегда вовремя возвращала долги. Не просила она помощи и сейчас, когда все наши родственники и друзья, как и мы, голодали.

Но когда папе стало совсем плохо и явно стала проявляться реальная опасность для его жизни, она, наша гордая мама, пошла по родным и близким с мольбой о помощи. Она собрала деньги и продукты и стала кормить папу вкусной и калорийной пищей.

Никогда не забуду, как жадно он ел однажды бульон с курицей. Познали и мы в тот день давно забытый вкус настоящего куриного мяса.

Но не помогли уже отцу те вкусные блюда, которые готовила ему мама, тщетно пытаясь спасти его от голодной смерти. Ему стало совсем плохо и он стал угасать на наших глазах.

Не забыть мне последнюю ночь перед смертью отца. Я сидел на кровати и смотрел в его широко открытые, голубые, родные и милые мне глаза. Он лежал на спине, красивый, чисто вымытый, побритый, в белой ночной рубашке, с гладко зачесанными на правую сторону поседевшими волосами. Он как бы подготовился к уходу и молча прощался с нами. Вся семья была у постели умирающего.

Мне все не верилось, что такое может случиться, что папа может умереть. В моём представлении он всегда был самым сильным и самым мужественным человеком на свете. А он понимал, что это конец и в глубоком раздумии, как-бы пытаясь представить себе нашу жизнь без него. У его изголовья сидела мама, маленькая, сгорбленная, поседевшая, теперь уже единственная наша опора, защита и надежда. Она смотрела на него все теми же влюбленными глазами и плакала. Плакала тихо, молча. Слезы катились по ее морщинистым, пожелтевшим щекам.

Папа умирал в полном сознании. Под утро он как бы собрал последние силы для прощания с нами. Он прощался с каждым из нас отдельно. Сёме, ему было уже 19, он наказал заменить его, как старшему из сыновей. Зюне, ему было 13, он велел учиться и стать учителем (папа одобрял Зюнин выбор). Меня он привлек к себе, поцеловал, и велел защищать младшую сестричку, а Полечке велел во всем слушаться маму. Он обнял и поцеловал маму, улыбнулся нам всем на прощание, и угас.

Утром в доме собралось много людей: родственники, друзья, знакомые и совсем незнакомые нам люди. С папой прощалось все наше местечко. Только теперь я отчетливо понял, как уважали, любили и ценили нашего отца односельчане. Пришел рэбэ, служители выполнили все, что полагается по еврейским законам, и папу унесли навсегда.

Недолго после его смерти протянула и наша мама. В первый год своей вдовьей жизни она еще пыталась крепиться, чувствуя свою материнскую ответственность за спасение от неминуемой гибели своих малолетних детей. Она неистово хваталась за любое дело в стремлении что-нибудь заработать на пропитание семьи. Все ее бизнесы, как правило, заканчивались неудачно и этому можно было не удивляться. Была большая конкуренция и выживали те, кто наглее и нахрапистей, кто меньше считался с нормами морали и порядочности.

Дольше других продолжался ее нехитрый бизнес по выпечке хлеба. Для организации такого дела нужны были деньги, и не малые, и мама нашла такие деньги. Она распродала все папины вещи, мебель, одолжила какие-то небольшие суммы у родственников, забыв о своей природной застенчивости и фамильной гордости. Она с помощью Семы закупила и привезла домой запас муки, приобрела необходимый инвентарь, топливо и специи, и начала выпечку хлеба в домашней печи. Все мы, как могли, помогали ей.

Когда в доме впервые запахло свежим ржаным хлебом и мы увидели так много небольших, круглых, блестящих на выпуклой, гладкой поверхности буханочек волшебного продукта, счастью нашему не было предела. Нам почудилось, что все муки голода теперь позади и мы вновь, как и раньше, сможем вдоволь поесть хлеба. И чудо такое действительно однажды произошло. С первой же выпечки мама выделила нам по большому куску свежего, горячего, вкусного хлеба и мы наслаждались им, как когда-то лакомым сладким печеньем, которым нас угощала мима Хава в праздники Пурим, Суккот, Хануку или на шабес.

Но чудо быстро кончилось. Мамин бизнес не в состоянии был прокормить семью и не выдержал конкуренции. И главной тому причиной был мамин мягкий характер и доброе сердце. Она не могла отказать голодному в куске хлеба, независимо от того может он или не может заплатить за него, особенно если голодным к тому же еще был ее родственник, знакомый или просто бедный еврей. Нередко она давала хлеб в долг и ей долго приходилось ждать пока должник рассчитается, а порой он вовсе и не мог рассчитаться...

А что стоили ей мы - четверо изголодавшихся детей? Как могла она нам отказать в куске хлеба? Как бы там ни было, но дело в которое она так поверила, в которое она вложила остатки своих сил и которое, как она рассчитывала, должно было спасти нас от голода, лопнуло. Вырученных денег порой не хватало даже на покупку муки, не говоря уже о возврате долгов, которые висели тяжелым бременем на маминой шее. Больше всего она боялась того, что у нее не хватит сил и она обанкротится раньше, чем вернет своим родственникам и знакомым полученные у них в долг деньги.

Энтузиазм, с которым она начинала задуманную ею акцию спасения детей, стал гаснуть, а здоровье слабеть. Ее покидали не столько физические силы, сколько душевные. Она замкнулась в себе, избегала общения с друзьями и родственниками, часами по вечерам, а нередко и ночью, сидела у портрета папы и плакала, как бы признаваясь ему в своей бессилии справиться одной с тем, с чем им как-то удавалось справляться вдвоем. Она как бы просила у него прощения, что не в силах выполнить свою миссию.

Сёма, с которым она чаще делилась своими мыслями, как-то сказал мне и Зюне, что мама предупредила его быть готовым к тому, что ему самому, как самому старшему из нас, придется тянуть семью. Она говорила, что нам даже лучше будет без нее, так как сиротам не дадут умереть с голоду. Их пожалеют и им помогут родственники и добрые люди.

Она же не выносила жалости к себе и отказывалась от помощи и подаяния. Единственное, на что у нее еще хватило сил, это на несколько последних выпечек, которые она распродала более удачно, что позволило ей рассчитаться с долгами. На этом закончился ее бизнес и наша сытая жизнь. Вновь наступили голодные будни.

Мама совсем ослабела и вскоре слегла. Она не могла уже, как прежде, смотреть за нами. Ей самой был нужен чей-то уход. Сёма выбивался из сил, чтобы где-то заработать на кусок хлеба и на лекарства для мамы. О его учебе в техникуме, что было мечтой его детства и юности (он, как и Зюня, хотел стать учителем), не могло быть и речи. Он работал пионервожатым, а вечерами подрабатывал грузчиком на вокзале или в пекарне. Иногда он приносил оттуда кусок свежего хлеба и в первую очередь пытался отдать его маме. Она прятала хлеб в тумбочку, а потом уговаривала нас поделиться её запасами, так как её, якобы тошнит от него.

Мы с Зюней пытались ухаживать за мамой и младшей сестричкой, но далеко не все мы могли сделать, что требовалось. К тому же я часто болел. Малейшая простуда вызывала новые приступы астмы. Не хватало воздуха и спасали только кислородные подушки. Каждый очередной приступ мог стать последним.

Во многом нам помогали родственники. Особенно много для нас делала мима Хава. Хоть и сама она совсем ослабела от постоянного недоедания, а ее муж Аврум вообще не подымался с постели, она почти ежедневно приходила к нам, приносила что-нибудь варёное, кормила нас и уже беспомощную маму. Иногда, когда она не могла прийти к нам, мы ходили к ней и приносили от неё какую-то еду.

Помогала нам и молодая тётя Хавале, и ее муж Айзик, и мима Шейва. Но у всех у них были свои заботы, свои беды и они решили нанять нам няню.

Вскоре к нам в дом пришла тётя Соня, пожилая еврейка неприятной внешности, у которой дурно пахло изо рта. Она еще задолго до начала голода приехала в Красилов откуда-то из Молдавии к своей старенькой маме, которая вскоре скончалась то ли от старости, то ли от голода.

Тётя Соня и стала хозяйкой в нашем доме. Она готовила супы из картофельных очисток и из трав, стирала, убирала и смотрела за нами. Говорила она с нами на идиш, на котором мы все говорили дома и который я учил в еврейской школе, но нам трудно было её понять из-за сильно выраженного литовского акцента.

Мы почему то не взлюбили тётю Соню, не смотря на то, что она усердно трудилась и без устали хлопотала о нас и о маме. Помню, как я протестовал против того, чтобы она мыла мне голову. Я вырывался из ее рук, плакал и она была вынуждена применять ко мне силу. Тётя Соня была мне неприятна своей неопрятностью и тем, что от нее всегда несло чесноком. А главное - я не мог спокойно принимать ее ухаживания при живой маме, которую я теперь, когда она стала совсем беспомощной, еще больше любил.

Хоть мы и скрывали от неё своё отношение к тёте Соне и старались при маме не проявлять к ней неприязни, она обо всем догадывалась и от этого еще больше страдала.

А голод все продолжался. В газетах много писали о битве за урожай 1934 года. Но пришла осень, собрали какой-то урожай, а жизнь наша ни в чем не улучшилась. В синагоге, куда я ходил читать кадыш по папе, я слышал от старых евреев, что за последний год в Красилове от голода умерло более 200 человек.

Маме с каждым днем становилось все хуже. Мы жили на Семинной небольшой зарплате, его и Зюниных приработках за разгрузку вагонов на станции, и кое-какой помощи от наших родственников, которые, как и мы, голодали.

Летом 1934 года, когда Зюня закончил школу, мама попросила бабушек Хаву и Шейву, дядю Айзика и тётю Хавале собрать немного денег, чтобы отправить Зюню в Житомир, в еврейский педагогический техникум. Ей хотелось выполнить желание отца и осуществить мечту Зюни стать учителем. Как было не трудно, но деньги были собраны и Зюня осенью уехал в Житомир.

Наступила зима 1934-35-го годов. Мне она запомнилась сильными морозами и еще более страшным, чем раньше, голодом. Может он и не был более страшным для всех, но для нашей семьи эта зима принесла невиданные доселе страдания. Как нам не было трудно в прошлом году, но с нами была мама и одно это согревало наши души и облегчало страдания. Теперь же мама была не в состоянии нам помочь и сама нуждалась в уходе и помощи.

В последнее время мы заметили, что мама уже и не страдала от голода. Когда нам, в редких случаях, удавалось что-нибудь для нее вкусное сделать, она отказывалась от пищи и пыталась отдать это мне и моей младшей сестрёнке.

Тётя Хавале нам как-то сказала, что мама больше не борется за жизнь, что она просто не хочет жить и ждёт смерти. Она рвётся к папе. И еще она, тётя Хавале, нам сказала, что мама просила похоронить ее рядом с папой. Мы часами сидели у её кровати и плакали. Она не жаловалась, не стонала, мало о чем просила. И днём, и ночью лежала она молча с открытыми глазами и ждала смерти.

Так тихо она и скончалась 9 апреля 1935 года, на рассвете, даже не попрощавшись с детьми, которым отдала свое сердце, все свои силы, материнскую любовь и саму жизнь.

3

Итак, мы стали круглыми сиротами. Когда наша мама перестала бороться за свою жизнь, смирилась с неминуемой смертью и, казалось, даже способствовала тому, чтобы её ускорить, она, безмерно любящая нас мама, думала, что нам, детям, без неё будет лучше и что мы, сироты, непременно выживем в голоде, которому, казалось, не будет конца, и легче переживём другие житейские невзгоды, которые сменяли друг друга. Она так думала, наверное, потому, что чувствовала своё бессилие, свою беспомощность и рассчитывала на то, что найдутся на свете добрые люди, которые не дадут погибнуть сиротам.

Может быть она, довольно начитанная женщина, при этом вспоминала героя повести Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл», который утверждал, что ему хорошо, что он сирота, или сироту Шмулика из другого произведения великого писателя.

Не скажу, что ее надежды были совсем беспочвенными. Совсем нет. Более того, они во многом оправдались. Нас на самом деле теперь больше жалели, нам стали больше помогать не только наши близкие бедные родственники в Красилове, но и какие-то дальние родственники из других городов страны и даже из далёкой Америки.

Из Ленинграда, например, мы стали довольно часто получать вещевые и продовольственные посылки от неизвестной нам ранее тётки Фримы. Она писала и теплые письма, в которых призывала к мужеству и терпению, и заверяла в своей поддержке и помощи.

Нужно сказать, что эти заверения полностью оправдались. Её помощь нам во все предвоенные годы оказалась более существенной, чем помощь всех наших Красиловских близких родственников.

Моя сестрёнка Полечка была почти полностью одета и обута в вещи ее младшей дочери Фанечки, а мне доставалась одежда и обувь, которую уже не мог носить её старший сын Муня. А сколько вкусных вещей мы получали в посылках от тётки Фримы?! Никогда не забуду наши восторги от этих посылок. Нередко в них оказывались даже такие лакомства, как шоколад и какао, вкус которых мы давно забыли.

Удивительной доброты человек была тётка Фрима. Забегая вперёд скажу, что мы разыскивали ее после войны, переписывались и часто встречались с ней, она отдыхала у нас на даче в Белоруссии, под Могилевом, а после её смерти мы поддерживаем дружественные, можно сказать, родственные отношения с ее дочерью Фаней, но нам так и не удалось установить степень нашего родства. Единственное, что мы достоверно узнали, что наша добрая тётка Фрима жила когда-то в Красилове и дружила с нашими родителями.

Всю свою жизнь мы несём в своем сердце любовь и благодарность к незабываемой тётке Фриме и к ее милой дочери Фаине Исааковне и стараемся, как можем, отблагодарить за доброту и заботу о нас, сиротах, в то далёкое и очень трудное время.

Как-то приезжал в Красилов, после смерти наших родителей, далекий родственник по папиной линии из Америки. Он подарил моему брату Зюне пару уже ношенных, но добротных костюмов, рубашек и брюк, которыми он долго щеголял в студенческие годы. Старший брат Сёма тогда от подарков отказался, опасаясь преследований за связь с иностранцами. По этой же причине мы отказались от посылок, которые нам предлагали какие-то далёкие американские родственники по папиной и маминой линии.

Нам часто помогали и совсем чужие люди. То продуктами, то что-нибудь из одежды или обуви давали. Иногда синагога, куда я продолжал ходить читать кадыш (теперь уже по маме), выделяла нам небольшие средства в помощь.

Хоть и многочисленными были жертвы голода в нашем местечке, но круглых сирот в еврейских семьях было немного. Наверное поэтому нас больше жалели и нам оказывали больше помощи, чем другим сиротам. А может при этом учитывалось то, что мы были более прилежными в учебе и поведении. Как бы там ни было, но после смерти родителей мы меньше голодали, чем раньше, и не были ни голыми, ни босыми. Наши родственники находили средства содержать нашу няню - тётку Соню, которая, после смерти мамы, стала как будто даже чуть теплее к нам относиться.

Как видите, наша мама в своих предсмертных надеждах была в чём-то права. В чём-то, но не во всём и не в главном. Она была совсем не права, когда говорила Зюне, что нам без неё будет лучше, чем с ней. Нам без неё стало несравненно труднее. Трудно было без материнской любви и ласки, без теплого родительского взгляда и поддержки. Просто невозможно стало жить в родительском доме, где всё напоминало о еще недавнем общении с родителями, о незабываемом и, навсегда потерянном, счастливом детстве. Наши детские души мучили грусть и тоска, постоянный комок стоял в горле, душили слёзы. Мы стали очень ранимы к малейшей обиде и принимали за обиду то, на что раньше не обратили бы никакого внимания.

Мы еще больше невзлюбили тётку Соню и открыто стали выражать своё недовольство ею. Хоть мы и понимали, что без ухода няни обойтись не сможем, тем не менее игнорировали её и, тем самым, незаслуженно обижали, что вызывало ответную реакцию. Будучи не в состоянии убедить нас словами, она стала применять к нам силу и другие меры наказания.

Однажды, она по-настоящему отшлепала Полечку, и я набросился на нее с ножом, угрожая убить её, если она еще раз подымет на неё руку. Каждая стычка с тёткой Соней, казалось, должна была закончиться её уходом, но вмешивались родственники, которые находили какие-то пути примирения и тётка Соня оставалась с нами. Ни у нас, ни у неё не было выхода, и мы продолжали жить вместе в течение ещё нескольких лет.

Мои сверстники на улице вдруг признали во мне драчуна, что раньше за мной не замечалось. Любое обидное слово в мой адрес вызывало ответную реакцию с моей стороны, независимо от того, кто являлся моим обидчиком. Порой я бесстрашно кидался на ребят, которые были сильнее и старше меня. Особенно агрессивной была моя реакция на обиды, нанесенные Полечке.

Своего среднего брата Зюню мы теперь видели только во время каникул. Он приезжал на лето и наша мима Хава ежедневно специально для него готовила пищу. Она говорила, что его нужно оздоровить.

Старший брат Сёма изо всех сил старался находить приработки к своей небольшой зарплате и работал с утра до позднего вечера, стремясь обеспечить нас всем необходимым. Думаю, что и он, и Зюня, не меньше меня и Полечки, страдали от потери родителей.

В общем, неправ был шолом-алейхемский мальчик Мотл, утверждавший, что хорошо живётся сиротам.

Голод в Красилове закончился так же внезапно, как и начался. В течении одного летнего июльского месяца в магазины завезли множество продуктов, а хлебные отделы и ларьки вновь обрели своё лицо, как в добрые старые годы. Прямо не верилось в такое чудо и в первые дни мы набирали хлеба прозапас, но когда исчезли хлебные очереди, а на полках запестрели, как на выставке, хлебо-булочные и кондитерские изделия, мы постепенно поверили, что голод закончился и хлебом можно наесться вволю. Именно его мы теперь

могли есть досыта, потому что он стал сравнительно дешёвым и Сёминых заработков на него вполне хватало. Что касается мяса, фруктов и овощей, то их потребление в нашей семье определялось доходами нашего единственного кормильца - нашего милого, доброго и заботливого брата Сёмы, который теперь заменял нам обоих родителей и которого мы очень любили.

На помощь Зюни мы рассчитывать не могли, так как он продолжал учиться в Житомирском еврейском педагогическом техникуме и сам нуждался в Сёминой помощи.

Мне очень хотелось помочь Сёме и я просил его брать меня в помощники, когда он ходил на станцию разгружать вагоны. Иногда он брал меня с собой. Я изо всех сил пытался помочь ему, но грузчика из меня не получилось. Силёнок было мало, ростом я небольшим выдавался, а здоровье по-прежнему подводило; любое переохлаждение или сквозняк вызывали приступы астмы.

Однажды, в канун октябрьских праздников, я напросился писать лозунги. На такую работу был большой спрос. Каждое предприятие, организация, магазин и даже маленькие конторки должны были, кроме флага, вывешивать на фасадах зданий лозунги, посвященные очередной годовщине Октябрьской революции. Оказалось, что я обладал и такими способностями и лозунги мои были ничуть не хуже, а зачастую и лучше тех, которые писали взрослые художники. Кроме того, я довольствовался меньшей, чем они, зарплатой и выполнял заказы аккуратно в срок. Писал я белой краской, которую делал из зубного порошка, а красный материал мне приносили заказчики. Первый заработок от лозунгов, посвященных 18-ой годовщине Октябрьской революции, был довольно скромным, но и его хватило чтобы принести домой, на праздник, целый килограмм халвы, много печенья и конфет, которые мы так редко ели.

В последующие праздники, 1-го Мая и 7-го ноября, мой гонорар постоянно возрастал, а в юбилейном 1937 году, когда очень широко праздновалась 20-ая годовщина Октябрьской революции, я заработал уже приличную сумму. Ее хватило не только на лакомства, фрукты, разную снедь, но и на кое-какую одежду и обувь для меня и Полечки.

Я очень гордился первыми серьёзными заработками. К сожалению они были редкими и не могли оказать существенного влияния на наш семейный бюджет. Конечно, мы уже не голодали, но питались очень скромно.

Помню с какой завистью смотрела Полечка на своих подружек, которые часто выносили на улицу и аппетитно ели то, что нам редко доставалось. Бывало, что и её соседи угощали куском копченной колбасы, которая приятно пахла дымом и чесноком. Или свежим огурчиком в начале лета. Но не было случая, чтобы она съедала всё сама: обязательно делилась со мной, а чаще и всё отдавала, говоря, что половину уже съела. Она и дома, обычно, не доедала свою порцию, и под разными предлогами умоляла меня помочь ей. Я нередко отказывался доедать её пищу, но теперь уже могу честно признаться, что иногда у меня на это не хватало сил, и я совершал грех, доедая то, что было предназначено ей и в чем она нуждалась.

Особые проблемы возникали у нас с одеждой и обувью. К началу нового учебного года мы выросли из прошлогодних костюмов и ботинок, нужно было обновлять наш гардероб. Сёма умудрялся делать небольшие сбережения для этой цели. Кое-что мне удавалось сберечь из своих скудных заработков. Немного помогали родственники и тётя Фрима, но всего этого хватало только на самое необходимое. Покупались, конечно, вещи подешевле.

В школу мы отправлялись всегда в чистой и аккуратной одежде и выглядели внешне вполне прилично. Однако, когда мы приходили со школы домой, то немедленно переодевались во всё домашнее, а школьные вещи аккуратно укладывали в свои шкафчики. Школьная одежда была и праздничной.

Летом, на школьные каникулы, Сёма устраивал меня, а позднее и Полечку, на две смены в пионерский лагерь. Мои сверстники часто отказывались от путёвок в летние лагеря. Не по душе им была лагерная муштра и атрибутика, да и кормили там не лучше, чем их мамы готовили им дома. Мне же и Полечке очень нравилось в лагере и мы охотно соглашались оставаться там, если удавалось, и на третью смену.

Конечно, и нам не очень нравились лагерные линейки, монотонные рапорты отрядных вожатых под стойку «смирно», походы строем в столовую, баню и даже на прогулку в лес или на речку. Не по душе были скучные беседы и лекции на политические темы и многое другое.

Очень нравилось нам лагерное питание. Не то, чтобы оно было очень вкусным, но что сытным и вполне достаточным - да. Разрешалось просить добавку. А иногда готовили даже очень вкусные блюда. Мне в лагере очень нравилась вермишель с творогом и макароны «по флотски», и я нередко, перебарывая природную стеснительность, осмеливался просить ещё.

А какие проводились шахматные турниры, спортивные игры! А бильярд, речка, пионерские костры... И всё же главное, чем привлекал нас лагерь, было питание. Только здесь мы всегда были сыты.

Нередко мы завидовали другим детям, к которым часто приходили родители и приносили фрукты, конфеты, другие лакомства. Завидовали их восторгам при встрече с мамами и папами, родительским ласкам и поцелуям, которые им доставались. Мы были лишены того в чём, наверное, нуждаются все дети.

Как бы чувствуя наши страдания, Сёма по выходным навещал нас, приносил подарки, катал на велосипеде и проводил с нами несколько часов. Разумеется, это не могло полностью заменить родительскую ласку, но доброе отношение к нам Сёмы уменьшало нашу боль и обиду, и мы были ему безмерно благодарны. В год смерти мамы Сёма был назначен начальником пионерского лагеря и мы были в лагере все смены. Он часто общался с нами и уделял нам много внимания.

Летом 1936-го года, на следующий год после смерти мамы, мы с Полечкой пробыли две смены в пионерском лагере, а на август Сёма добыл для меня путёвку в детский санаторий в Одессу. Его очень беспокоила моя астма и он решил подлечить меня. Тогда было очень трудно получить путёвку в санаторий, как взрослым, так и детям, но Сёма поехал в Каменец-Подольск, в обком профсоюза работников народного образования и вымолил для меня путёвку.

Мы тщательно готовились к поездке. Если не считать ту злополучную поездку с папой в Пушечную, которая и была причиной моей болезни, то это было моим первым дальним железнодорожным путешествием на другой конец Украины. Сёма сопровождал меня и сделал все возможное, чтобы оно доставило мне максимум удовольствия. Он купил билеты в плацкартный вагон и у нас были две отдельные полки - одна верхняя и одна нижняя под ней. Я мог наслаждаться видами природы и спать на верхней полке, а кушать и играть с Сёмой в шахматы, на нижней. Какая прелесть!

В Жмеринке у нас была пересадка и мы провели несколько часов на вокзале. Это одна из самых крупных железнодорожных станций на правобережной Украине. Сёма показал мне огромное здание вокзала с перронами на северную и южную стороны, залами ожидания и отдыха, камерами хранения, билетными кассами, буфетами, многочисленными киосками и фешенебельным рестораном.

В этом ресторане мы с ним даже обедали. Первый раз в своей жизни я обедал в настоящем ресторане. Многому я тогда удивлялся и не мог понять что к чему. Я не понимал почему каждому из нас подали по две вилки и зачем накрахмаленная белоснежная салфетка сложена на тарелке такой красивой башенкой, которую даже жалко нарушить (я ею так и не воспользовался).

Сёма долго изучал меню в красочном переплете и советовался со мной относительно предстоящего заказа. Я был плохим советчиком, даже выговорить не мог названия некоторых блюд, которые значились в меню, не говоря уже о том, что не имел никакого представления об их вкусе.

Когда официант подошел за заказом, Сёма заказал беф-строганов, пирожные, чай с лимоном и бутылку лимонада. Я не поверил своим ушам. Такой барский обед! Еще в больший восторг я пришел, когда официант важно принес и выставил всё на белоснежную скатерть стола. Особенно аппетитно выглядело беф-строганов. В отдельной тарелке томились зажаренные, продолговатые кусочки мяса в соусе, от которых подымался густой пар и приятно щекотало в носу. На другой, большей по размеру тарелке, был румяный только снятый со сковородки жаренный картофель, украшенный гарниром из различных овощей и кислым огурчиком. Официант открыл бутылку лимонада и разлил его по бокалам. И это все для меня, нищего сироты, который еще недавно хлеба вволю поест не мог и чуть от голода не отдал богу душу!

Я не удержался от вопроса, за что мне такое удовольствие и почему Сёма, который всегда экономил каждую копейку, вдруг позволил себе такие расходы. Сёма ответил, что и путёвка в санаторий, и поездка в Одессу, и этот обед в ресторане - его подарок мне за отличное окончание четвертого класса. Ответ меня не удовлетворил. Я действительно закончил в этом году начальную еврейскую школу и получил свидетельство со всеми пятерками, но точно также я заканчивал все предыдущие классы этой школы и не награждался даже лишним куском хлеба при получении табелей успеваемости.

Сёма ответил, что я действительно имел основания на премии за отличную учебу и раньше, во-первых, нам в те годы было не до премий, во-вторых, в этом году я закончил еврейскую школу, которая к тому же закрывается, а главное - ему удалось заработать приличную сумму на побочной работе и он решил её потратить на премию для меня.

Не могу сказать, что я признал эти доводы убедительными, а расходы на такой шикарный обед оправданными, но очень уж вкусно выглядели кушанья, слишком сильный разгорелся аппетит, чтобы продолжать дискуссию, и мы принялись за еду. Ели важно, чинно, не спеша, как обычно едят лакомства, чтобы продлить удовольствие. Благо мы никуда не спешили: до скорого поезда «Москва - Одесса» оставалось еще более двух часов.

Порции были большие. Мне бы, наверное, хватило и половины, чтобы насытиться, но я съел их полностью. Я думаю потому, что первый раз в жизни ел беф-строганов в ресторане, а главное - потому, что Сёма на него столько денег потратил. Да и вкусно всё было невероятно. Справился я и с пирожным, которое было каким-то необыкновенно нежным. Я важно запивал его вкусным чаем с лимоном из тонкого стакана с серебряным подстаканником.

Сёма щедро рассчитался с официантом, что вызвало его благодарную улыбку и многократные спасибо на украинском, русском и даже еврейском языке. Выходя из ресторана, я в душе позавидовал богатым. Они ведь могут, наверное, каждый день так вкусно обедать.

Мы еще долго гуляли по вечерней Жмеринке, вернее по её шикарному вокзалу, потому что именно он является главной достопримечательностью этого небольшого городка. Вокзал был весь в огнях. Еще подъезжая к железнодорожному узлу Жмеренка, мы восхищались морем огней, в которых утопал этот городок и его вокзал.

Но вот, наконец, по радио объявили о прибытии нашего поезда. Мы поспешили в камеру хранения, получили свой чемодан и направились к месту посадки. Поезд выглядел очень солидно. Вагоны были новенькими, покрашенными в синий цвет, с желтой полосой под окнами. Мы вновь заняли нижнюю и верхнюю полки и полюбовались чистотой и порядком в вагоне. Столики были покрыты голубыми салфетками, а на окнах - такого же цвета занавески. Пассажиров было немного. Все они спали. Нам выдали постели со свежими простынями и наволочками, Сёма расстелил их и я вскоре уснул на верхней полке под мягкий стук вагонных колес.

Проснулся где-то под Вапняркой, когда проводник уже разносил пассажирам чай с печеньем. Мы быстро помылись и с удовольствием принялись за чаепитие.

Светило солнце, на небе не видно было ни единого облачка. День ожидался жаркий. Заметили, что здесь уже нет зеленой травы. Она вся пожухла на жарком южном солнце. За окнами появились плантации винограда, арбузов, дынь. После чая поиграли с Сёмой в шахматы, которые нам любезно предложил проводник.

Вот уже и пригороды Одессы, а на горизонте всё заметнее синяя полоска Черного моря. Сколько песен сложили об этом чудесном городе и удивительном теплом море. С каким восторгом рассказывал мне об Одессе брат Зюня, который в том году поступил в Одесский педагогический институт. Побывать здесь было моей мечтой. И вот я в Одессе!

На перроне нас встречал Зюня и его неизменный красилковский друг - Нюня Туллер. Зюня был в белом костюме и белой парадной фуражке летчика. Он с гордостью доложил нам, что зачислен не только на исторический факультет педагогического института, но и курсантом Одесского аэроклуба. Такое совмещение учебы в двух учебных заведениях оказалось возможным и Зюня был счастлив. Шутка ли - сбываются сразу две мечты детства. Он будет и учителем и летчиком! Зюня смотрелся очень эффектно: выше среднего роста, черноглазый, одетый с иголочки, с красивой шевелюрой черных волос, уложенных волнами, и приятной улыбкой на лице. Он выглядел лучше всех нас и я в душе гордился своим братом.

Друг его, Нюня, был намного ниже Зюни, менее опрятно одет и носил на голове берет, что тогда вызвало мое недоумение и удивление. Я впервые видел молодого мужчину в берете. Помню, что спросил: "Почему в Одессе мужчины носят женские береты?". Нюня с улыбкой ответил, что в Одессе я еще и не то увижу. Я потом часто вспоминал этот его ответ, удивляясь многому, что видел в этом необыкновенном городе.

Удивляться я начал с первых минут. Одесский вокзал ошеломил меня. Несмотря на то, что только вчера я любовался Жмеринским вокзалом, что ничуть не меньше Одесского, здесь все было по-другому, и все это я видел впервые. Как только мы вышли из вагона, нас атаковали носильщики, таксисты и владельцы различных транспортных средств, предлагая свои услуги. Носильщики были официальные, в форменной одежде, с бляшками на груди и частные - здоровые парни, желающие подработать на доставке чемоданов к камере хранения, трамваям или такси.

Разными были и таксисты и извозчики, предлагающие доставить вас в любую точку города. Удивляло не только их обилие. Просто поражало то, как они зазывали своих клиентов. Они восхваляли предлагаемые ими услуги на том особом одесском жаргоне, которого я никогда не слышал до этого. Как я потом убедился, независимо от того говорят ли одесситы на русском, украинском или еврейском, а именно так, в основном, они и говорили, одесский жаргон всегда присутствовал и по его наличию можно было безошибочно определить одессита. Прямо на перроне стояли целые шеренги женщин, предлагающих цветы. Я никогда не видел такого обилия цветов, различных по виду, цвету, форме, аромату.

На вокзале было необычно много людей. Они толпились возле билетных касс, в залах ожидания, у газетных и сувенирных киосков, буфетных прилавков, вокруг тележек с газированной водой и мороженым, и просто у пивных бочек, где с пивом смаковали и соленую тараньку. Красивая световая реклама зазывала в ресторан. Прямо на привокзальной площади торговали фруктами и овощами, виноградом и дынями.

Мы, конечно, отказались от носильщиков и таксистов. Зюня со своим другом легко разобрали мой небольшой багаж и повели нас на трамвайную остановку, что недалеко от вокзала.

То, что мы здесь увидели, затмило все наши предыдущие впечатления об Одессе. На остановке скопилась большая толпа людей. Трамваи подходили часто, но толпа не уменьшалась. Дело в том, что от этой остановки отходили различные номера трамваев в разные направления. Трамвай в то время в Одессе был главным средством передвижения и основным видом городского транспорта.

Нужный нам 18-й номер в направлении Большого Фонтана оказывается был самым дефицитным. Туда, на станции Большого Фонтана, к морским пляжам и дачам, санаториям и домам отдыха, турбазам и

просто к морю, устремляются в летние дни тысячи, десятки тысяч людей. Кажется вся Одесса стремится к морю и несколько 3-х вагонных трамвайчиков не в состоянии выполнить эту задачу.

Когда подошел первый трамвай с номером 18, Зюня, обозрев толпу опытным глазом, велел нам не делать попыток к посадке. И хорошо, что мы не пытались. У входных и выходных дверей скопилось много молодых людей - студентов, матросов и солдат, которые создали такую пробку, что мне бы из нее не выбраться. В вагоны пробирались только те, у которых локти и плечи посильней. На другие номера трамвая, которые приходили вслед, народу было поменьше. Когда мы, наконец, дождались очередного трамвая, Нюня и Зюня подняли меня на руки и через открытое окно всадили туда так, что я оказался почти на свободном сидении. Так же через окно они подали мне чемодан и сумку, затем, через окно, с помощью моих братьев, влез и Нюня, а Сёма и Зюня, помогая друг другу, забрались на переднюю площадку. Когда людей в вагон набилось, как сельди в бочку, а на ступеньках площадок зависли десятки подростков, трамвай тронулся. Труднее было тем, кому нужно было выйти на ближайших станциях. Протиснуться через толпу было почти невозможно, особенно женщинам и детям. Детей подавали через окна. Только после седьмой станции Фонтана в вагоне стало свободней и мы благополучно доехали на нужную нам 16-ю станцию.

Вскоре мы оказались в прекрасном санаторном парке с аккуратно подстриженным кустарником, множеством садовых скамеек, цветочными клумбами и необычайно красивым фонтаном. Такого фонтана я не видел не только в Красилове или Жмеринке, но даже в санатории «Пуще-Водица» под Киевом. Наверное были где-то еще красивее фонтаны, но я больше нигде не был и поэтому этот фонтан так поразил меня своей красотой.

В приёмном покое санатория было чисто, уютно и пахло какими то медикаментами. На столике, покрытом белой салфеткой, стояли прохладительные напитки, конфеты, печенье. Меня подвергли тщательному врачебному осмотру, Сёма ответил на все вопросы врача и медрегистратора и наступили минуты прощания. Хотя мне всё здесь очень понравилось, я не мог удержаться от слёз, когда провожал Сёму. Первый раз, после смерти родителей, я оставался один, без Сёмы, на целый месяц.

Извини меня, дорогой читатель, что так подробно рассказываю о своей поездке в Одессу. Среди моих воспоминаний о детстве мало запомнилось дней более приятных и доставивших большее удовольствие и наслаждение. Моя память до предела забита грустными воспоминаниями о болезнях и голоде, горестях и обидах, о всем том, что вытекает из сиротской жизни. Поездка с Сёмой в Одессу и месяц пребывания в прекрасном детском санатории являются одним из приятных исключений. Они и запомнились со всеми подробностями на всю жизнь.

Летние дни в санатории прошли, как в дивной сказке. Каждый был заполнен до предела различными интересными занятиями. Тут и морские купания, и катание на катере, прогулки на теплоходе в открытом море, спортивные игры и пионерские костры. Всего не перечислишь. И всё доставляло огромную радость и наслаждение. Но признаюсь, мне даже сейчас стыдно, самое большое удовольствие я получал от невиданного доселе прекрасного питания. Оно было обильным, разнообразным и очень вкусным. Никогда раньше я не ел столько вкусных вещей.

Помню, как поразил меня первый завтрак в санаторной столовой. На столе масло и твердый сыр, ветчина и яйца, свежий хлеб и ещё горячие булочки, а официантки подносят мясные горячие блюда, сладкие молочные каши, какао, кофе или чай с вкусным печеньем. Ешь сколько хочешь!

Ещё совсем недавно я редко когда вставал из-за стола без желания ещё чего-нибудь поесть. А тут такое изобилие! Я наслаждался этими вкусными блюдами, но обидно становилось и совесть грызла, что не могу всем этим поделиться с Полечкой, которая всю жизнь делилась со мной последним куском хлеба.

Врачи назначили мне много различных процедур и строго следили за их выполнением. Я чувствовал, что с каждым днем поправляюсь и крепну. Мне даже тогда казалось, что страшная болезнь, которая не раз приводила меня на грань смерти, совсем отступила и никогда больше не напомнит о себе.

Мы часто ездили на экскурсии. Все они были интересными, содержательными и доставляли много удовольствия. Но самое большое впечатление оставила экскурсия по Одессе. Нам показали центр, с его шахматной планировкой улиц, знаменитый оперный театр, огромный торговый порт, Потёмкинскую лестницу, другие памятники культуры и архитектуры, катакомбы и многое другое. Мы покатались на фуникулёре, небольшом трамвайчике, который по очень крутому спуску и с большой скоростью двигался к морю. Очень понравился мне этот замечательный город у Черного моря.

Наверное с этой экскурсии и началась моя горячая любовь к Одессе, которая не ослабевала всю мою жизнь, и которую храню я в сердце своем и сейчас, в далекой Америке.

Запомнились и спортивные соревнования, и матчи по шахматам и шашкам. Я получил несколько наград за победы в этих соревнованиях, но самым для меня приятным подарком была большая коробка шахмат с красивой деревянной доской. Я хранил этот приз до самой войны и получал большое удовольствие от игры в подаренные шахматы.

Кроме интересных впечатлений и множества подарков, я увёз из санатория немало фотографий. За фотографии и некоторые экскурсии приходилось платить и мне пришлось вводить в расход Зюню, ибо денег,

которые мне оставил Сёма, явно не хватало, а желание везде побывать и всё увидеть было необъятно. Как ни трудно было Зюне в тот первый студенческий год жизни в Одессе, он мне ни в чём не отказывал. Более того, он часто приносил мне фрукты, всякие сладости и сам предлагал деньги на мелкие расходы.

Как потом рассказывал мне его друг Нюня, они в этот месяц часто нанимались на погрузочно-разгрузочные работы в порту, на товарной станции и базарах. Я тогда понял, что Зюня испытывает ко мне такие же добрые братские чувства, как и Сёма, но у него просто ещё не было времени и возможности проявить их в полной мере.

Однажды Зюня пришёл ко мне не с другом Нюней, а с девушкой. Она была чуть ниже его, с большими голубыми глазами, каштановыми волосами, уложенными в аккуратную причёску, и приятной улыбкой. Она была очень красива. Такой она показалась мне при первой встрече и, поскольку это была и последняя наша встреча с ней, помню ее такой до сих пор.

Зюня назвал ее Рахилей и сказал мне, что она его лучший друг. Рахиль принесла мне большой кулёк винограда, коробку конфет и подарила свою фотографию на которой она показалась мне похожей на знаменитую артистку Любовь Орлову. Рахиль очень понравилась мне и я, наверное, не мог этого скрыть, выдавая свои чувства неотрывным взглядом, как будто хотел запомнить ее на всю жизнь. Не знаю понравился ли я ей, но помню, что на прощание она обняла меня, прижала к себе и несколько раз поцеловала.

Зюня потом в письмах из Одессы всегда передавал привет от Рахили, а, когда приезжал на каникулы, часто восторженно рассказывал о ней и о их дружбе.

За день до моего отъезда из санатория приехал Сёма. Накануне отъезда он уложил мои вещи в чемодан и сумки, поговорил с врачами о моём здоровье, получил рекомендации по лечению и провёл со мной остаток дня на море.

Утром я прощался с санаторием, с этим земным раем, где мне было хорошо, как никогда в жизни. Я уходил отсюда в полной уверенности, что никогда больше сюда не вернусь.

Московский поезд на Жмеринку уходил вечером и мы ещё целый день провели с моими братьями в Одессе. Утром съездили на небезизвестный «Привоз». У меня тогда сложилось впечатление, что это самый большой и самый богатый базар в мире. Там можно было увидеть, если не купить, всё что твоей душе угодно. Нам же в тот день угодны были дыня, румяные персики и крупный виноград «Дамские пальчики». Мы потолтались пару часов в нескончаемых рядах огромного базара, задержались на некоторое время на пятачке, где продавались различные птички и даже говорящие попугаи, и отправились к Зюне в общежитие. Он удивил нас холостяцким, студенческим, но очень вкусным, обедом, который сам специально накануне приготовил, и при нас только разогрел на электроплитке. Из прикроватной тумбочки Зюня достал бутылку сухого вина и Сёма разлил его неровными порциями в три стакана. Впервые в моей жизни мне было позволено употребление алкоголя. Пусть немножко и не очень крепкое вино, важно, что позволено выпить. Значит я уже не ребёнок. Мне и вправду шел двенадцатый год.

Мы очень вкусно и приятно пообедали тогда в комнатке Зюниного общежития. Сёма спел нам несколько украинских песен. У него был хороший голос и песни, исполненные им под аккомпанемент гитары, которой мастерски владел Зюня, звучали почти профессионально. Сёма пожалел, что не было мандолины, на которой я, к тому времени, уже совсем неплохо играл. Получился бы ансамбль братьев.

После обеда мы бродили по центру, любовались фонтанами на Дерибасовской и ели очень вкусное мороженное в уютном скверике, на Греческой площади.

Когда начало темнеть и зажглись огни на длинных и прямых одесских улицах, мы вернулись в общежитие, забрали свои вещи и трамваем добрались на вокзал. Вскоре к перрону подошел фирменный поезд «Одесса - Москва» и мы заняли свои места в плацкартном вагоне. Пришел попрощаться с нами и друг Зюни - Нюня Туллер. Они долго сопровождали медленно отходящий поезд и размахивали фуражками. Из вагонного окна мы любовались огнями большого города, пока в тумане совсем не скрылась милая Одесса. На всю оставшуюся жизнь сохранится в моей памяти этот чудесный летний месяц в Одессе - «жемчужине у моря».

5

Теперь мне хочется вспомнить о школе, вернее о школах, ибо в то время редко кто в нашем местечке получал школьное образование в одной школе.

Что касается еврейских детей, желающих получить среднее образование на идиш, то это было вообще невозможно, так как все они начинали учебу в еврейской школе, в которой было только семь классов, а в восьмой класс шли в украинскую школу, где им приходилось во многом переучиваться.

Некоторые, правда, могли после нашей еврейской школы поступать в Житомирский еврейский педагогический техникум, который давал право стать учителем в начальных классах еврейской школы. Если им этого образования было мало, они могли после техникума поступить, в единственный на Украине, Одесский еврейский педагогический институт и стать учителем старших классов еврейской школы.

Именно такой путь еврейского учителя выбрал себе мой брат Зюня, но его мечте не суждено было сбыться. В 1936-37г.г. государство стало закрывать еврейские учебные заведения, театры и даже синагоги, наверное потому, что согласно сталинскому учению по национальному вопросу, еврейской нации вообще не существовало, так как эта «национальная прослойка» не соответствовала намеченным им признакам, характеризующим нацию.

Как тогда писали газеты и говорилось по радио, закрытие еврейских центров культуры, образования, религии получило «единодушную» поддержку всего советского народа, в том числе многих известных в стране деятелей культуры и науки еврейской национальности, и осуществлялось, как будто, идя навстречу их пожеланиям.

Но вернусь к годам учёбы в еврейской школе. Еврейскому алфавиту, а затем и чтению, меня научили мои старшие братья, которые до меня закончили еврейскую школу. Когда мне исполнилось шесть лет я уже мог читать и писать, взахлёб читал еврейские сказки и разные истории. Я с нетерпением ждал школы, но меня не приняли в первый класс в сентябре 1930г., когда мне почти исполнилось 6 лет, и отказали в приеме в сентябре 1931г., когда мне чуть не доставало до семи. Тогда существовало строгое правило, согласно которому в школу принимали детей, которым исполнилось полных 7 лет. Мне же к началу учебного года, к 1 сентября 1931г., не хватало 3-х месяцев и этого было достаточно для отказа. Напрасны были уговоры отца, уважаемого в городе человека, просьбы мамы и заверения моих братьев в моих знаниях и начитанности. Не подействовали и мои слёзы. Сказано «нет» и точка.

Мне пришлось ждать ещё год. Приняли меня в школу только в 1932 году, когда мне уже было почти 8 лет. Как бы протестуя против несправедливого, на мой взгляд, решения, я не терял времени в ожидании школы и весь год усердно занимался самообразованием. Я брал учебники у соседских мальчишек, что учились в первом классе, много читал и даже умудрился выучить наизусть всю таблицу умножения. Когда меня, наконец, приняли в 1-ый класс, я уже свободно читал на идиш, решал непростые задачи по арифметике и был знаком с классиками еврейской литературы. Последнему способствовали коллективные читки Шолом-Алейхема, которые были в нашем доме семейной традицией. Они запомнились с раннего детства и доставляли всем большое наслаждение, особенно когда читал папа, который делал это лучше всех нас. У него был хороший литературный идиш и читал он с интонацией, словно рассказывал истории от лица автора - великого еврейского писателя, которого не спутаешь ни с кем другим.

Всё это я говорю к тому, чтобы Вы поняли моё положение в школе. Я был почти на год старше большинства учеников и намного опережал одноклассников по уровню знаний.

На всю жизнь остался в памяти мой первый школьный учитель, Лев Исаакович Мур, пожилой человек невысокого роста, шупленький, с красивой, уже поседевшей бородкой, с усиками и очень умными чёрными глазами. Улыбка никогда не сходила с его лица, независимо от того доволен ли он был ответом или поведением ученика или нет. Ничто, казалось, не могло также заставить его повысить голос. Он говорил всегда негромко, но очень чётко и убедительно. Мне доставляло большое удовольствие слушать его и я постоянно удивлялся, как в одном человеке может сочетаться столько ума, знаний и обаяния.

Много в моей жизни было потом учителей, но никого из них я не могу сравнить с этим первым учителем. Большинство из них я просто забыл, некоторых запомнил по каким-то их особенностям, но ни один учитель не сыграл такой роли в моём стремлении к знаниям, к познанию и пониманию нового, окружающего мира.

Лев Исаакович остался для меня на всю жизнь образцом того, каким должен быть школьный учитель. Наверное, он и привил мне любовь к этой профессии. Думаю, что и мечта моих старших братьев стать учителями тоже идёт от нашего общего первого учителя.

На протяжении всех последующих лет учебы в школах я каждого нового учителя сравнивал с Муром. Он как бы служил эталоном для оценки учительского мастерства. С большим уважением я всегда относился к учителям, которые владели искусством передачи своих знаний детям и вызывали у них интерес к предмету. И наоборот, когда встречался учитель без души, без умения, а порой без достаточных знаний и пытался что-то внушить ученикам, он вызывал во мне возмущение и негодование. Он ведь не учил, а мучил детей, вызывая у них отвращение к предмету. К сожалению, таких бездарных учителей было много, а может быть и большинство.

Этому способствовало сложившееся в стране положение при котором специальность учителя была мало престижной по сравнению с другими специальностями, которые получали выпускники технических, медицинских, экономических, юридических и других высших учебных заведений. Труд учителя оплачивался намного ниже труда инженера, врача, экономиста или юриста.

В то же время потребность в учителях при введении в стране всеобщего среднего образования была большой. Вот почему, наверное, в педагогические институты поступали не только, вернее не столько, выпускники школ, для которых учительство было призванием и мечтой жизни, а чаще менее одаренные, менее способные молодые люди, которые даже не пытались поступать в более престижные ВУЗы или не

прошли там по конкурсу. Педагогические же институты принимали практически всех желающих, и все поступившие в эти ВУЗы студенты заканчивали их и становились учителями.

Трудно оценить какой социальный, экономический, моральный и иной ущерб наносился этим стране, ее экономике, культуре, науке. Сколько детских душ было искалечено и скольких талантов в различных отраслях знаний не досчиталось общество.

Но достаточно об этом и вернемся ещё раз к Муру. Да, он был учитель от Бога. Он вёл наш класс четыре года. Мы получали одинаковое удовольствие от всех его уроков. То ли это была грамматика, то ли математика, то ли еврейская литература. Мы боялись пропустить хотя бы один его урок, ибо понимали, что недополученное от пропущенного урока невосполнимо. Мы шли в школу, как на праздник. Я говорю «мы», потому что это повторяли без конца все мои соученики. На уроках была полная тишина, которую не осмеливались нарушить самые отъявленные шалуны. Говорил кто-то один. Один взгляд учителя заставлял повиноваться любого дебошира. Не помню, чтобы Лев Исаакович когда-нибудь прибегал к помощи завуча, директора или родителей для убеждения или наказания нерадивых учеников. Хватало его авторитета. Любое его указание, просьба или совет были для нас законом.

Мур старался привлечь учеников к управлению учебным процессом и организации различных классных мероприятий.

Как я уже говорил, я в классе отличался от многих других ребят по возрасту и по багажу знаний, с которыми пришёл в первый класс. Лев Исаакович уже в первом классе поручал мне внеклассные занятия с отстающими учениками и я выполнял это поручение с гордостью за оказанную мне честь и доверие. Мне было приятно это делать и потому, что считал, что заимствую у Мура опыт, который мне поможет в будущем стать настоящим учителем, подобным ему.

В памяти остались неклассные чтения, которые проводил Мур. Они были не обязательными, но посещали их почти все ученики нашего класса. Читали произведения еврейских писателей и поэтов. Лев Исаакович рассказывал об авторах - Менделе Мойхе-Сфориме, Шолом-Алейхеме, Льве Кассиле, Ицике Фефере, Переце Маркише, Давиде Бергельсоне, о молодых писателях и поэтах, недавно опубликовавших свои первые повести или стихи. Иногда он читал сам. Как он читал! Это уже был не учитель, а артист. Особенно хорошо читал он Шолом-Алейхему. Он весь преображался, менял интонацию, выражения его лица отображали чувства и настроения героев произведения. Мы слушали учителя затаив дыхание, сопереживая с героями повествования.

Но чаще читали мы - ученики. Он заранее поручал каждому из нас по очереди подготовиться к чтению определенного произведения. Мы брали в библиотеке книги, читали их дома и приходили на внеклассные чтения уже подготовленными. Помню, мне поручили прочесть рассказ Шолом-Алейхему «Два антисемита». Я тщательно готовился, несколько раз прочёл рассказ дома и прочёл его, как будто неплохо, стараясь во всём подражать учителю. Меня внимательно слушали, а Мур даже похвалил, но, объективно оценивая своё чтение и сравнивая его с тем, как это делал учитель, я остался недоволен собой и понял, что такое мастерство не приходит сразу и не каждому дано.

На наши внеклассные чтения часто приходили ученики старших классов, учителя, завуч и даже директор. Подобные внеклассные занятия стали проводить другие учителя, но как нам позднее рассказывали старшеклассники, такого уровня, как у Мура, литературные чтения в нашей школе больше никто организовать не смог.

А ещё помню наши классные стенные газеты. Их выпускали во всех классах. Была и общешкольная газета. Как правило, это были неинтересные, формальные издания, когда в деревянную рамку с постоянным заголовком, в соответствующие ячейки вклеивались статьи стандартной тематики - передовица о революционных праздниках или важных событиях в партии и государстве, которая занимала почти половину газеты и которую, как правило, никто не читал, и чуть-чуть о жизни школы и класса. Эти газеты выпускались, в основном, к праздничным датам, которых было достаточно много.

Наша газета заметно отличалась от других классных газет. Мур не любил шаблона и каждая газета, выпущенная в нашем классе, не только не была похожей на другие школьные газеты, но и мало чем походила на свою же предыдущую - имела другой внешний вид, оформление, содержание, а часто и формат. Мур не признавал деревянных рамок для стенных газет и мы делали газету на нескольких листах ватманской бумаги. Все делали сами: писали заметки, редактировали, рисовали. В выпуске газеты принимали участие почти все ученики класса. Некоторые ребята пробовали писать в газету небольшие рассказы и даже стихи, делали неплохие рисунки. Грешил этим и я. Написал стихотворение о нашем учителе, но Лев Исаакович мягко уговорил меня забрать его, так как газета должна писать больше о классе, школе, о нас - школьниках. По его совету я написал стихотворение об осени, которое он похвалил и его поместили в газету.

А ещё я пробовал рисовать. Однажды нарисовал портрет Будённого в газету, выпущенную ко дню Красной Армии. Я очень старался и портрет получился неплохим. Буденный был как живой - с усами, улыбкой, орденами. Муру он очень понравился и его поместили в газету. Это был первый портрет, нарисованный мною, который был удостоен такой чести. Хотя я позже ещё много рисовал портретов вождей

и получались они не хуже, чем тот портрет Будённого, но их больше в газету не помещали. Мур пояснил мне, что директор школы сделал ему замечание. Он запретил детям рисовать портреты вождей. На это, оказывается, требовалось специальное разрешение.

Однажды в школе был объявлен конкурс на лучшую классную газету. Мы очень старались и выпустили большую, красочно оформленную и, как нам казалось, интересную газету. В ней были заметки о классной и школьной жизни, об увлечениях ребят, о предстоящих летних каникулах, о прочитанных книгах и многом другом, что нас волновало в то время. Были и стихи, и дружеские шаржи и юмор. Все газеты, представленные на конкурс, были выставлены в большом школьном коридоре для обозрения. Наша газета отличалась от всех остальных. Возле нее постоянно толпились школьники и учителя, все были единодушны в том, что это была самая лучшая по содержанию и оформлению газета. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что наша газета не только не попала в число призеров, которым были вручены премии, но и подверглась критике на учительском Совете за аполитичность. В ней, оказывается, ничего не было сказано о Сталинской конституции, проект которой тогда всенародно обсуждался. Премий были удостоены общешкольная и одна классная газеты, которые уделили этому событию должное внимание.

Решение жюри вызвало тогда всеобщее возмущение учащихся не только нашего класса, но и всей школы. Даже авторитета Мура не хватило тогда, чтобы успокоить нас и убедить в справедливости принятого решения.

Много ещё можно рассказать о первой моей школе, о первых учителях, о школьных радостях и огорчениях, многом другом, что осталось в памяти, о годах учебы на родном языке, на языке идиш, на котором общались наши предки. Почему-то эти годы более чётко запечатлелись в моей памяти.

Нужно сказать, что несмотря на то, что я, после закрытия еврейской школы, никогда больше не учил идиш, не разговаривал на нём дома после смерти моих родителей, почти никогда не слышал этот язык по радио и редко когда читал еврейские газеты, я до сих пор сохранил его в своей памяти, могу читать и писать на нём, понимаю, когда слышу его и, хоть и с трудом, но могу объясниться по-еврейски.

В памяти остался вечер, посвященный окончанию учебного года в 1936-м году. Вероятно наши учителя уже догадывались или по крайней мере предчувствовали, что пришёл конец существованию еврейской школы в нашем местечке и хотели оставить в нашей и своей памяти последние дни пребывания в школе. Может тому были и другие причины, но, как тогда говорили старшеклассники, такого вечера в нашей школе никогда раньше не было. К нему тщательно готовились. Вся школа была празднично убрана. Небольшой по размеру, но достаточно вместительный актовый или, как мы его называли, школьный зал был украшен гирляндами из самодельных цветов, сделанными нами из цветной бумаги. На сцене был длинный стол для президиума, покрытый красной суконной скатертью и стоял букет красивых живых цветов. Несколько букетов цветов стояли на переднем краю сцены.

Зал заполнили ученики четвертых - седьмых классов, а в президиуме были наши учителя и несколько учеников. Такой чести был удостоен и я. Не знаю, что послужило основанием для этого. То ли свидетельство круглого отличника, которое мне затем вручили, то ли моя активная общественная работа, или и то и другое вместе. Я сидел в президиуме рядом с Муром, что льстило мне, но вместе с тем я был удивлён, что Мур, которого мы боготворили и считали безусловно самым лучшим учителем, сидел во втором ряду, а учитель физкультуры, которого недавно избрали секретарем комсомольской организации, сидел в первом, недалеко от директора.

Я тогда ещё многого не понимал и потому удивлялся. Удивила речь директора школы, в которой больше говорилось о советской демократии, дружбе народов, предстоящих выборах в Верховный Совет и о проекте новой Сталинской конституции, чем об итогах учебного года и вообще школьных делах. Не знаю почему, но эта речь запомнилась мне на всю жизнь и я даже сейчас, по истечении шестидесяти лет, мог бы воспроизвести ее со всеми поразившими меня деталями.

Позднее, когда нашу школу закрыли, я часто вспоминал эту речь, считая, что в том, что у нас не стало еврейской школы, виноват и он, директор, который мало об этом заботился и не доказывал, где нужно, необходимость ее существования.

Тогда я ещё не понимал, что это от него не зависело и он ничего сделать не мог, а если бы и попытался, то перестал бы быть директором. Закрыли ведь еврейские школы не только в Красилове, а по всей Украине и закрыли не только школы, но и все другие очаги еврейской культуры.

А тот выпускной вечер, в июне 1936-го года, запомнился не только, а может быть не столько, неприятным осадком от речи директора и некоторыми другими деталями, вызвавшими моё удивление и возмущение, а больше гордостью за свою школу, радостью приятного общения со своими друзьями, соучениками и учителями, непринужденным весельем, вкусным ужином и прекрасным концертом школьной художественной самодеятельности.

К слову сказать, на том концерте я впервые в жизни выступил как исполнитель игры на мандолине. Я сыграл вальс «Над волнами» и участвовал в выступлении струнного оркестра. Очень волновался, когда объявили мое выступление, но всё получилось удачно и мне дружно аплодировали. Были на том концерте

еврейские песни в исполнении хора, сольное пение, танцы, художественное чтение, инсценировки из произведений Шолом-Алейхема и многое другое.

За ужином нас кормили салатами, курицей, фаршированной рыбой и вкусным еврейским печеньем. Было много фруктов. После санатория я никогда не ел столько вкусных вещей.

А затем были танцы под наш струнный оркестр и граммофон. Мальчики старших классов уже танцевали с девочками. Я за них немного стеснялся и немного им завидовал.

До поздней ночи продолжался этот незабываемый вечер. Нам всё не хотелось расходиться, как будто мы предчувствовали, что это последний вечер в милой нашему сердцу еврейской школе.

Через месяц нам объявили, что школа закрывается и мы должны продолжать учёбу в украинских школах по месту жительства.

6

Летние каникулы 1936-го года я провёл не совсем обычно. В лагере побыл только одну смену, а затем помогал Сёме, который на лето взял вторую работу. Рядом с нашим домом закрыли польский костёл - единственный в местечке, где жило несколько тысяч поляков. В то время закрывали не только синагоги, но и костёлы, церкви и другие религиозные заведения. Огромное и красивое здание, построенное в 18-ом столетии и являвшееся архитектурным памятником, с большим залом, множеством различных служебных и подсобных помещений, приспособили под кинотеатр. Приспособление сводилось практически к тому, что снесли кресты, убрали церковную утварь и установили недорогие кресла в зале. В ремонте практически не было большой необходимости, так как костёл содержался в отличном состоянии. Территория вокруг него была хорошо благоустроена и окружена массивным кирпичным забором.

Так вот Сёме и поручили заведовать этим кинотеатром по совместительству с основной работой (он тогда работал в комитете Красного Креста). Работа в кинотеатре начиналась вечером, когда демонстрировали два кинофильма.

У Сёмы в подчинении был киномеханик, билетёр и уборщица. Он мог взять ещё кассира по продаже билетов, но чтобы больше заработать, решил выполнять эту работу сам. Именно в этом я ему и помогал. К каждому сеансу я вычерчивал план кинотеатра с нумерацией кресел и по мере продажи билетов вычеркивал в плане проданные места. И ещё я надписывал на каждом билете ряд и место. Сёме оставалось только продать билеты зрителям. Свои обязанности я освоил быстро.

Кино тогда пользовалось большим спросом и зал, в котором размещалось более 400 кресел был почти всегда заполнен, а на такие новые фильмы, как «Чапаев», «Цирк» и на премьеры всех других фильмов билетов всегда не хватало. Однако, даже в таких случаях, больших очередей у кассы, не было. Мы с Сёмой работали быстро и все наличные билеты продавались вовремя. Мне уже было около 12-ти лет и я гордился тем, что могу самостоятельно выполнять эту достаточно ответственную работу. Вначале Сёма часто проверял меня, а когда убедился в моём серьёзном отношении к делу, стал полностью доверять мне.

Заработанные нами деньги пошли, в основном, в семью на латание семейного бюджета, на покупку мне и Полечке одежды и обуви к зиме, к новому учебному году. Какую-то часть заработанных в кинотеатре денег Сёма отдавал мне и у меня впервые появились личные карманные деньги. Я старался не тратить их, но уже одно то, что они у меня были, внушало неведомое доселе чувство надежности и равенства перед своими сверстниками, которые почти всегда имели свои карманные деньги. Моя работа давала мне даже какие-то преимущества перед ними, ибо я мог бесплатно смотреть все фильмы.

Нужно сказать, что я не упускал возможности пользоваться этим правом и смотрел практически все фильмы, которые демонстрировались в нашем кинотеатре, а те, что мне очень нравились, по несколько раз. Мои сверстники такой возможности не имели не только потому, что за билеты надо было платить деньги, но главным образом потому, что им ещё не разрешалось ходить в кино на вечерние сеансы, а детские проводились только по выходным дням и на них показывали далеко не все фильмы.

С этой первой почти постоянной работы, выполняемой за деньги, связано начало моей пожизненной общественной работы лектора докладчика, рассказчика. Ребята со школы и улицы просили рассказать сюжет нового фильма, который они ещё не смотрели или который они так и не смогут посмотреть, пока им не исполнится 16 лет. И я рассказывал им о фильмах. Со временем я приобрел опыт, а возможно и проявились какие-то способности в этом деле. На мои беседы собиралось всё больше ребят и они стали проводиться всё чаще. В начале беседы касались только просмотренных мною фильмов, но новых тогда выпускалось мало, а на наши еженедельные беседы собиралось много ребят, которые просили о чем-нибудь рассказать. Пришлось готовить беседы по различной тематике, которые принимались порой лучше, чем о просмотренных фильмах.

Несколько бесед было посвящено Одессе, воспоминания о которой были ещё свежи в памяти. Ребята с живым интересом слушали рассказ об удивительном городе, о море, о катакомбах, о лучшем в мире театре и, конечно, о сказочном санатории для детей на берегу тёплого моря.

Затем они захотели послушать об Испании, где в то время шла гражданская война и куда тайно отправлялись наши лётчики, танкисты, военные специалисты и просто бойцы в «интернациональные бригады», сражавшиеся на стороне Республиканцев.

Готовясь к таким беседам, я прочитывал много газет, журналов, слушал радио и отбирал из них наиболее интересную информацию, делал необходимые заметки и готовил небольшие тезисы для памяти.

Иногда материалом для таких бесед служили прочитанные мною книги. Помню с каким интересом ребята слушали рассказы о Ку-Клукс-Клане и Мисменте из книги «Мисмент», которая тогда пользовалась большой популярностью.

На подготовку этих бесед и рассказов требовалось немало времени, но скажу честно: мне приятно было сознавать, что я один среди своих сверстников могу это делать и мои рассказы хорошо воспринимаются ребятами. Пожалуй эта удовлетворенность и компенсировала затраты моего времени, и я не намерен был бросать эти занятия.

Признаюсь, однако, что такое всеобщее признание моих возможностей, а может быть и способностей рассказчика, возбуждало во мне некоторое самолюбие, которое я самокритично оценивал сам для себя, как зазнайство.

Когда случалось, что во время беседы или рассказа кто-то отвлекался, разговаривал и мешал мне говорить, а другим ребятам слушать, я прекращал рассказ и уходил, не возобновляя беседы по несколько недель, а случалось и месяцев. Наши беседы возобновлялись только после признания нарушителем допущенной бестактности и публичных обещаний не повторять такое впредь.

Не лишним будет, наверное, сказать, что несмотря на мою негативную самокритичную оценку этих своих поступков, я не мог освободиться от этого недостатка на протяжении всей своей жизни.

И ещё, говоря о летних каникулах 1936-го года, не могу не вспомнить об одном примечательном случае. На лето к нам, как обычно, приехал мой брат Зюня из Одессы. Кроме синего костюма, который ему подарил наш далекий американский родственник, он привёз ещё белую парадную лётную форму с фуражкой, которую ему выдали в аэроклубе. Зюня попеременно менял костюмы и брюки так, что у него получился довольно большой набор красивых нарядов, в которых он каждый вечер выходил со своим другом Ньюей Туллером на вечерние прогулки, в кино или на танцы.

Зюня был очень красивым парнем, а эффектная одежда ещё более выделяла его красоту. Девушки были без ума от него и наперебой искали случай провести с ним время. Об этом мне часто говорили даже мои сверстники, а Сёма на сей счёт знал и много подробностей.

Зюне, конечно, был приятен его успех у Красиловских барышень, но он говорил, что лучше его Рахили в Красилове девушек нет, и он серьёзно ни с кем не встречался.

К их огорчению он вдруг в начале августа заявил, что уедет в Одессу на этот раз не в конце августа, как обычно, а в середине. И причиной тому стал я. Он вдруг серьёзно заинтересовался моими музыкальными способностями, часто исполнял со мной различные мелодии на гитаре. Иногда он напевал мне незнакомую мелодию и велел подобрать ее на слух на мандолине.

Меня никто не учил музыке и я не знал нот, но мне тогда не составляло труда довольно быстро запомнить, напеть и сыграть неизвестную мне ранее песню или другую мелодию. Зюня тогда высоко оценил мои способности и пришел к выводу, что мне обязательно нужно учиться музыке. Для этого он решил показать меня довольно именитому в то время музыканту - профессору Столярскому, который возглавлял известную на Украине музыкальную школу для одаренных детей в Одессе. В конце августа шёл набор детей в эту школу и Зюня взялся подготовить меня к экзаменам.

Как я потом убедился, нам не стоило уделять столько времени этому делу. В назначенный день Зюня повёл меня в школу на фасаде которой значилось, что это школа имени профессора Столярского.

Экзамен сводился по существу только к проверке слуха и способности воспроизвести музыку на инструменте. В комнате стояло пианино и находились различные инструменты, в том числе скрипки, домбры, мандолины. Несколько учителей и сам Столярский прослушивали каждого ребенка (а были и совсем ещё малые дети по 5-6 лет) в отдельности.

Когда пришла моя очередь, Столярский сел за пианино и сыграл песню «Чёрный ворон» из кинофильма «Чапаев». Я помнил эту мелодию, потому что несколько раз смотрел фильм. Правда, я никогда раньше не пробовал подобрать её на мандолине. Тем не менее мне не доставило большого труда почти с ходу наиграть эту песню на инструменте, что вызвало откровенный восторг у профессора. Он похлопал меня по плечу, воскликнул «Молодец» и сказал с явным еврейским акцентом: «Ты будешь учиться в школе имени mine».

Я был счастлив от похвалы профессора, но, как потом выяснилось, воспользоваться на этот раз возможностью учиться в полюбившемся мне городе, да ещё в такой именитой музыкальной школе, мне не довелось.

В том году страна готовилась к первым в своей послереволюционной истории выборам в Верховный Совет СССР. Вокруг этого события развернулась широкая пропагандистская компания. Все организации, предприятия, учебные заведения проводили работу по достойной встрече этого важного мероприятия. Среди прочего велась также подготовка к проведению различных культурно-массовых мероприятий - концертов, спектаклей, вечеров художественной самодеятельности и др. В эту работу вовлекли и нашего Сёму. В таких случаях его не забывали потому, что он был хорошим организатором, а главное потому, что он был прекрасным исполнителем. Никто в нашем местечке не мог лучше его исполнить арию Петра из оперы Лысенко «Наталка Полтавка» или быть солистом в самом главном хоре районного Дома культуры, без которого не обходился ни один праздничный концерт.

Учитывая важность наступающего праздника, районное начальство решило преподнести избирателям, т. е. всему взрослому населению местечка сюрприз, которым стала премьера спектакля «Наталка Полтавка». За такую серьёзную и трудную работу наш Дом культуры ещё никогда не брался и, чтобы её не завалить, её поручили, конечно, нашему Сёме. Больше действительно было некому. Кроме того они знали, что любое дело за которое Сёма брался, он непременно выполнит.

И Сёма взялся за это дело так, как он умел. Он влез в эту работу с головой. Так как работа была общественной, за которую деньги не платили, а кроме неё ещё нужно было выполнять основную и подрабатывать на побочных работах, чтобы содержать семью, он занимался подготовкой спектакля в ущерб отдыху и сну. И занимался много, с увлечением, можно сказать с азартом.

На роль Наталки он подобрал красивую, ещё довольно молодую украинку с хорошим голосом - Шуру Ковшар. В то время многие стремились стать самостоятельными артистами, желая проявить себя, показаться людям в лучшем виде, обратить их внимание на какие-то свои индивидуальные способности.

На ведущую роль Наталки было много желающих. Некоторые из них не меньше, а может быть и больше Шуры, подходили для неё ибо были моложе и стройнее, да и пели при этом не хуже. Но Сёма отдал предпочтение Шуре, потому что давно присмотрел её в клубной самодеятельности и, несмотря на то, что она была замужем за Иваном «Пожарником» - здоровенным верзилой ростом с Первого Петра, который мог бы из ревности, в порыве гнева без особого труда сделать нашего Сёму инвалидом, уже несколько лет оказывал ей знаки внимания, провожал домой по вечерам с репетиций и не всегда мог скрыть от людей своего влюблённого взгляда на Шуру.

Его отношения с Шурой давно стали заметными не только участникам самодеятельности и местечковой молодежи, но и нашим родственникам. Однажды, я как-то случайно, находясь в соседней комнате, стал свидетелем, серьёзного разговора моих старших братьев на эту тему. Зюня логично и основательно убеждал Сёму оставить Шуру в покое и выкинуть её из головы. Среди доводов к тому были и её замужество, и опасная ревность Ивана-Пожарника, и различие национальности, и возраст Шуры (она была на 4 года старше) и, наконец, наличие многих молодых и красивых еврейских девушек, которые не сводят с него глаз и рады были бы любому проявлению его внимания, но Сёма был непреклонен. Он твердил одно, что ему никто, кроме Шуры, не нужен, ему никто больше не нравится и что он жить без неё не может.

Видимо и Шура была к нему не безразлична и давала повод для его ухаживаний. А может быть ей просто льстило, что такой интересный, молодой, способный и красивый мужчина отдаёт предпочтение ей - замужней и старше его женщине. Как бы там ни было, но их встречи продолжались, а отношения крепили и сближались.

Такая уже особенность у мужчин Гимельфарбов была. Все они были однолюбам. Наверное, унаследовали эти качества у отца своего и передали по наследству сыновьям своим.

Мы очень волновались за Сёму и боялись мести «Пожарника» на почве ревности. Не знаю, что было бы на самом деле, если бы не несчастный случай, происшедший с Иваном-Пожарником. При тушении пожара он получил сильные ожоги, от которых скончался в больнице в начале лета.

Выполнив все свои обязанности по проводам мужа, Шура стала свободной для Сёминой любви и начала открыто принимать его ухаживания. Она стала часто бывать в нашем доме и баловала нас недорогими подарками и сладостями. Каждый раз, когда Сёма приводил Шуру, он отправлял меня за покупками для угощения. Обычно он давал мне на это 10 рублей и этого по тем ценам было достаточно.

Шура любила выпить чего-нибудь покрепче и я, как правило, покупал бутылку «Московской» за 3 руб. 15 коп. На закуску я брал варённой колбасы, голландского сыра и рыбных консервов. На рынке, возле продовольственных магазинов и ларьков, продавались овощи и фрукты, а на оставшиеся деньги я обычно покупал шоколадных конфет.

Бывало, что они приходили ещё с кем-нибудь из их друзей. Чаще всего это был Сёмин друг Скорик с женой. Они тоже участвовали в репетициях и нередко и раньше бывали у нас в гостях. В таких случаях Сёма давал мне больше денег на покупку продуктов и их количество и ассортимент увеличивались. Гости подолгу засиживались у нас и шумно проводили время. Застолья редко бывали без песен. Пели чаще украинские песни и звучали они в их исполнении очень мило и мелодично. Иногда они просили меня

подыграть им на мандолине и я со временем разучил весь их репертуар. Сёма играл на гитаре, а Скорик - на балалайке. У всех были хорошие голоса и соседи, а то и просто прохожие, не без удовольствия подолгу слушали доносящиеся из наших окон песни в сопровождении струнного ансамбля.

Как-то, в конце августа, незадолго после моего возвращения из поездки в школу им. Столярского, Сёма объявил нам, что он решил жениться и что мы вскоре будем жить одной семьей с Шурой и ее восьмилетним сыном Андрюшей. Приняли мы это известие без восторга, но возражать не стали. Да и какие у нас могли быть возражения, когда мы ещё права голоса не имели. Полечке было всего 7 лет, а мне около 12-ти. Собственно говоря, и оснований каких-либо серьёзных для возражений у нас не было. Шура была с нами всегда очень приветлива, а Андрея мы всего-то пару раз и видели, и ничего отрицательного о нём просто узнать не успели. Кроме того, приход к нам тёти Шуры (так мы тогда ее звали), означал уход тёти Сони, что само по себе было для нас несбыточной мечтой. Её пребывание в нашем доме становилось для нас совершенно невыносимым.

С учетом всего этого казалось, что решению Сёмы мы должны быть довольны, а на самом деле оно не только не вызвало радости, а наоборот вселило какую-то тревогу. В таком тревожном ожидании мы и провели несколько месяцев до переселения к нам Шуры с Андрюшей. Этот срок определялся какими-то неписанными нормами морали, требующими определенного времени для женитьбы на вдове.

Я часто задумывался над тем, чем было вызвано наше недовольство Сёминым выбором и каждый раз приходил к выводу, что для этого и в самом деле вроде не было оснований, но тем не менее такое недовольство и тревога за наше будущее не только не уменьшались, а наоборот со временем все нарастали. Нами овладело предчувствие чего-то недоброго, которое, как показало будущее, нас не обмануло.

В связи с предстоящими существенными изменениями в составе нашей семьи и неизменными источниками дохода (Шура нигде не работала и намеревалась вести только домашнее хозяйство), Сёма не мог взять на себя расходы по моему проживанию в Одессе во время учебы в музыкальной школе, и вопрос о поездке в школу им. Столярского отпал сам по себе.

8

Новый учебный год был во многом необычным. Сёма определил меня в 5-й класс украинской неполно-средней школы, которая размещалась в небольшом здании напротив нашего дома.

Именно близкое расстояние до школы и определило её выбор. Многие мои соученики, после закрытия еврейской школы, пошли учиться в украинскую среднюю школу - наиболее престижную в нашем местечке, расположенную в центре прекрасного парка, в бывшем дворце польского графа Потоцкого (если я не запамätовал его фамилию). Хоть это здание и не строилось для школы, но от этого школе хуже не стало. Таких шикарных дворцов для школ в то время не строили. В нём было вполне достаточно помещений и для классов, и для хозяйственных и служебных нужд. Школа имела большой актовый зал для собраний, развлечений и отдыха. В парке размещались спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол, городки и для спортивных соревнований. Было и настоящее футбольное поле. В общем, то была безусловно лучшая школа не только в нашем местечке и районе, но, наверное, одна из лучших в области. Конечно, это была тоже украинская школа.

Сёма рассуждал на этот счет просто: зачем детям таскаться пешком в дождь и в снег в такую даль, когда рядом есть школа, которая может дать те же знания. А школа-дворец от них никуда не уйдет. Через несколько лет они обязательно в нее попадут в 8-й класс, так как в других школах старших классов просто не было.

Сёмино решение, меня огорчило. Уж если нельзя было оставаться в еврейской школе, и обязательно было переучиваться по-украински, то, во всяком случае, лучше было бы это делать в лучшей, а не худшей школе. Но ничего изменить уже было нельзя, когда Сёма принял такое решение. С ним мы спорить не умели.

В эту школу мы пошли вдвоём с Полечкой. Она в первый класс, а я - в пятый. Возможно ей поначалу в этой школе было легче, чем мне, ибо в первом классе не нужно было переучиваться. Всё начиналось с начала. Мне же в пятом классе было очень неуютно.

После Мура я долго не мог воспринимать ни одного учителя. Кроме того, вместо одного учителя, их стало несколько, а главное - я не понимал большинство терминов, правил и законов по-украински и мне было трудно их заучивать. Особенно это касалось математики, физики и химии. Я даже пытался вызубрить некоторые правила наизусть в стихах, чтобы легче запомнились.

Так, я заучил и запомнил на всю жизнь закон Архимеда по-украински в стихах (шуточный вариант). Вот, как он звучал:

«Всякэ тило, впертэ в воду, ничего нэ важыть зроду, воно прэться из воды сылой выпертой воды».

Аналогично этому я выучил наизусть некоторые другие физические и математические законы и правила.

Скучал я в новой школе и по своим друзьям соклассникам из бывшей еврейской, большинство из которых теперь учились в средней школе. Не было здесь и внеклассного чтения подобного тому, которое

устраивал нам Мур, стенных газет со стихами и рисунками учеников, струнного оркестра и многого другого к чему мы привыкли в нашей любимой еврейской школе и которое было для нас так дорого.

Вскоре многие трудности, которые поначалу вселяли в меня настоящую тревогу, были преодолены. В частности, сравнительно быстро я одолел всю учебную терминологию по-украински и уже в конце первой четверти меня аттестовали такими же высокими оценками, как и в еврейской школе. Нужно сказать, что уровень моей успеваемости, судя по оценкам в табелях, практически оставался стабильным во всех школах, где мне приходилось учиться в Красилове, включая и старшие классы средней школы.

Когда осенью стояла ненастная погода и трудно было вытащить галоши из липкой грязи, или когда зимой выпадал глубокий снег и были сильные морозы, мы нередко вспоминали о Сёмином выборе школы и в душе благодарили его за принятое им мудрое решение. Близость школы действительно много значила для нас, особенно, с учетом того, что мы были плохо обуты и одеты на осень и зиму, а также потому, что в Красилове в те годы почти не было мощённых тротуаров или пешеходных дорожек и приходилось месить грязь, добираясь по утрам в школу.

В новой школе меня также избрали в ученический комитет, где я занимался организацией спортивных мероприятий. Удалось создать волейбольные и футбольные команды.

Футбольного поля школа не имела и мы использовали для этого прилегающий к речке луг, размеры которого были достаточными и для игры, и для многочисленных зрителей, которые приходили на матчи поболеть за свою команду. Играли мы практически ежедневно и наше спортивное мастерство постоянно повышалось. В волейбол играли на большой перемене, а в футбол после школы. Со временем о наших командах узнали в других школах и оценили достигнутый нами уровень игры. Нас стали приглашать на матчи, где довольно часто мы выходили победителями.

Помню, как мы в шестом классе готовились к футбольному матчу с первой школой у которой, как я уже упоминал, было настоящее футбольное поле с хорошим травяным покровом, размеченными белой краской секторами и настоящими футбольными воротами с сеткой. Были там и скамейки для болельщиков-зрителей. Школьные команды первой школы были лучшими по всем видам спорта. И в этом не было ничего удивительного ибо для этого у школы были все необходимые условия - лучшие учителя физкультуры и настоящие тренеры, прекрасные площадки, хороший инвентарь, снаряжение и даже спортивная форма. Ничего подобного у нас не было.

Мы гордились тогда уже только тем, что удостоены чести играть на равных с лучшей школьной командой Красилова. У нас практически не было шансов выиграть этот матч, но готовились мы к нему очень серьёзно. Тренировки на лугу проходили ежедневно и отнимали всё свободное после школы время, а в воскресенье мы проводили по два тренировочных матча между двумя командами нашей школы. Играли до полной потери сил, до изнеможения.

Не знаю как готовились к этому матчу наши противники и готовились ли вообще. Для них безусловно результат встречи не вызывал сомнения. Они могли не знать точно только окончательный счёт. Этот матч не вызвал большого интереса у болельщиков первой школы и многие из них даже не удостоили эту встречу своим вниманием. На матч пришло всего несколько десятков мальчишек из старших классов первой школы. За нас же пришла болеть почти вся школа. Не только мальчишки, но и девчонки старших классов и даже малыши из младших классов явились на стадион. Многие пришли с родителями. Скамеек не хватило и болельщики устроились прямо на траве вокруг футбольного поля.

Начало игры не предвещало ничего хорошего для нас. Команды были разных категорий по всем статьям. Кроме преимуществ наших противников, о которых уже сказано раньше, здесь на поле выявились новые о которых мы как-то до этого не подумали. Это возраст и опыт. Футболисты первой школы были, в основном, учениками 8-х-10-х классов, которых в нашей неполно-средней школе не было. А важнее всего оказался опыт наших противников. Чувствовался стратегический план и тактические приёмы игры. Мы же всему этому могли противопоставить только мужество и самоотдачу.

На первых же минутах противник разыграл несколько наигранных комбинаций, и нам дважды пришлось начинать игру с центра поля. Однако, затем наше сопротивление стало усиливаться с каждой минутой матча. Трудно сказать, что повлияло на изменение характера игры. Может быть неизбежность поражения, может честь школы, может отчаянность положения, а может мальчишеский азарт и злость или всё вместе взятое, но после второго гола нашу команду как-будто подменили. Мы бросились в наступление. Одна атака сменялась другой. Всё отчётливее стали сказываться некоторые преимущества нашей команды и в первую очередь скорость, индивидуальная техника, а главное коллективизм и отчаянная нацеленность на ворота противника. И вот, наконец, результат - прорыв по левому краю, ошибка защиты и мяч в воротах! Что тут было?! Наши болельщики поднялись с мест и стали неистово орать и свистеть, приветствуя свою команду. Больше они не садились до конца игры, шумно поддерживая нас. Это придало новые силы и к концу первого тайма нам, наконец, удалось сравнять счёт.

После перерыва команда противника вышла в обновлённом, в самом сильном составе. Тренер использовал все полагающиеся замены и выдал команде новые тактические указания. С первых минут они

бросились в атаку и забили очередной гол. Казалось исход встречи решен, но, как и в первом тайме, неудачи придавали новые силы и обнаруживали новые резервы у наших мальчишек. Мы вновь бросились в атаку и противнику пришлось уйти всей командой в защиту, чтобы сохранить счёт. Долго мы не могли добиться цели и, когда казалось, что последние наши силы иссякают, защитник сыграл рукой в штрафной площадке и мы, на последней минуте, получили право на пенальти. Стадион замер в тревожном ожидании. Право пробить по воротам получил наш капитан и мой лучший друг - Безя Зильберштейн. Он не обманул наших ожиданий. Удар - и мяч в воротах! Ничья. А для нас это была заслуженная победа.

После этого матча ни одна школьная команда не отваживалась более не принимать всерьёз наших спортсменов не только по футболу, но и по волейболу, баскетболу, городкам, шахматам и другим видам спорта.

Не уступала наша школа и в главном - в знаниях учеников. Наши школьники часто выходили победителями на межшкольных олимпиадах по математике, физике, химии и другим дисциплинам.

К концу первого года учебы в украинской школе, я полностью освоил язык и не имел больше с ним никаких проблем не только в учёбе, но и в жизни.

Кроме организации спортивной работы, учком поручил мне проведение политинформаций и мне теперь приходилось собирать материал не только для бесед с мальчишками на улице, которые я по прежнему проводил на идиш, но и для школьных бесед, которые проводились один раз в неделю, после уроков, но уже на украинском языке.

Как я уже упоминал, в том году началась гражданская война в Испании, в которой на стороне Республиканцев сражались тысячи советских бойцов и командиров в качестве «добровольцев» так называемых «интернациональных бригад», где русские были в большинстве. То была настоящая война, в которой на стороне генерала Франко воевали регулярные части германской армии, оснащенные танками и авиацией, а на стороне Республиканцев, возглавляемых Долорес Иббаррури и другими лидерами компартии Испании, воевали плохо вооружённые испанцы, советские и некоторые другие добровольцы.

Газеты и журналы были заполнены материалами о войне, фотографиями из мест сражений, отражающими героическую борьбу Республиканцев с фашизмом. Об участии Красной Армии в этой войне в печати и по радио не сообщалось. Подробно освещались примеры стойкости и мужества испанцев.

Об этом и о многом другом рассказывал я в своих информациях, сопровождая их иллюстрациями из газет и журналов. На эти беседы приходили не только ученики пятых классов, но и многие старшеклассники. Об интересе к политинформациям можно было судить не только по их посещаемости, но и по вниманию слушателей и многочисленным вопросам.

К концу учебного года мы выпустили первую классную стенгазету необычной формы и содержания. Она выглядела подобно Муровским стенгазетам в еврейской школе. Газета содержала многочисленные короткие выступления учеников о школьной жизни, об их планах, интересах и увлечениях, о спорте, отдыхе и, конечно, о событиях в Испании. Помещен был также рисунок Долорес Иббаррури, выполненный мною карандашом с надписью «Свобода или смерть». Эта стенгазета вызвала большой интерес и никто не критиковал нас за отсутствие в ней передовицы, которая обычно занимала половину газетной площади, и за рисунок вождя Испании без разрешения соответствующих органов. Возможно в украинской школе допускалось больше свобод, чем в еврейской, может быть она меньше контролировалась, а может директор такой школы мог себе позволить то, на что не мог рискнуть директор еврейской школы.

Вскоре, однако, пришлось пересмотреть свое мнение на сей счёт. Поводом для этого послужил арест моего дяди Айзика - учителя химии в нашей школе. Это произошло в мае 1937-го года, перед каникулами.

Дядя Айзик - муж тётки Хавале и отец вундеркинда Лёвочки, был очень скромным, стеснительным и малообщительным человеком. Он был грамотным и опытным учителем. Свой предмет, химию, он считал самым главным и настойчиво внушал это ученикам старших классов, которым его преподавал. Уроки химии воспринимались хорошо и он сопровождал их различными интересными опытами. Мой дядя избегал политики и не высказывал своего мнения по любому поводу, кроме химии.

Взяли его ночью и нам через стенку был слышен шум, которым сопровождался обыск в его квартире. Под утро к нам пришла тётка Хавале с Лёвочкой, заплаканная, несчастная, постаревшая на много лет за эту ночь. Она искренне возмущалась грубостью и наглостью энкаведистов, ворвавшихся ночью в их дом, перевернувших в нём всё вверх дном, напугавших до полусмерти престарелую миму Шейву и малолетнего Лёвочку, а главное - арестом ни в чём не повинного человека - её тихого, скромного и доброго мужа и отца ребёнка.

Сёма пытался её успокоить надеждами на скорое освобождение дяди Айзика, но доводы его были неубедительными. Все знали о повальных арестах в нашем местечке, начавшихся пару месяцев тому назад, жертвами которых были люди разного имущественного, социального и служебного положения, главным образом мужчины и преимущественно евреи. Многие надеялись, что «органы» во всём разберутся и невинных скоро выпустят на свободу.

Однако, надежды эти со временем постепенно таяли, а объём репрессий и количество арестов возрастали. Тревога охватила буквально всё взрослое население местечка. Укладываясь вечером спать, никто не был уверен в том проснётся ли он утром в своей постели или сон прервёт «Чёрный ворон», увозящий по ночам так называемых «врагов народа». Их увозили туда, откуда мало кто уже возвращался домой.

Начался страшный период ежовщины - период массовых репрессий, жертвами которых стали миллионы ни в чём не повинных советских людей.

9

Первые в СССР выборы в Верховный Совет увенчались «убедительной» победой «нерушимого блока коммунистов и беспартийных». Такими же победными были позднее все другие выборы в Верховные и Местные Советы на протяжении всех последующих 55 лет существования Советского Союза.

За выдвинутых «блоком» кандидатов в этот раз, как и во все другие разы, голосовало 99 с какими-то десятными процентами избирателей. По существу никакого выбора у избирателей не было. В бюллетене был только один кандидат в депутаты Верховного Совета СССР от каждого избирательного округа, который был предопределен Центральным или областным комитетом коммунистической партии. Избирателям оставалось только получить бюллетень и опустить его в урну. Он мог, конечно, зайти в кабину и вычеркнуть фамилию кандидата, внесенного в бюллетень, мог даже рискнуть вписать своего кандидата, но таких смельчаков было мало и все понимали, что в этом нет практически никакого смысла.

Власти делали всё, чтобы у людей в этот день было праздничное настроение. С шести часов утра духовые оркестры играли победные марши, улицы были украшены флагами, транспарантами, лозунгами и чисто убраны. На избирательных участках работали буфеты с широким ассортиментом закусок, напитков и кондитерских изделий. Выступали коллективы художественной самодеятельности, работали затейники.

На избирательном участке, расположенном в здании районного Дома культуры, в этот день было особенно весело и празднично. На площади были танцы под духовой и инструментальные оркестры, а в большом зале весь день шли концерты самодеятельности. Вечером состоялась премьера спектакля «Наталка Полтавка» в исполнении драматического коллектива Дома культуры, которым руководил Сёма. Зал был переполнен. Зрители с большим интересом и вниманием слушали артистов. Особенно восторженно воспринимались арии Наталки и Петра в исполнении Шуры и Сёмы. Каждая из них завершалась громом аллодисментов. По окончании спектакля зал долго не отпускал самодеятельных артистов, награждая их овацией и обилием цветов. Больше всего цветов досталось исполнителям ролей Наталки и Петра, то есть Шуру и Сёме. Они стояли в центре сцены - довольные, счастливые и, наверное, влюбленные.

Мне казалось, что именно этот спектакль окончательно предопределил их судьбу. Казалось потому, что им не нужно было «играть» на сцене влюблённых героев, как это делают обычно артисты. Они выполняли свои роли естественно, как двое по настоящему влюблённых молодых людей. Казалось и потому, что они больше не скрывали нежных взглядов и улыбок, находясь на сцене перед восторженной публикой, после спектакля. Я, наконец, убедился в этом окончательно, когда, после спектакля, Сёма привел Шуру в наш дом и она осталась в нём до утра. Зная характер своего брата, мы поняли, что это очень серьёзно, что это надолго, а скорее всего навсегда.

К первому майскому празднику Шура со своим сыном Андреем переехала в наш дом, как законная жена и приёмный сын.

Накануне их переселения Сёма отправил тётю Соню, которая очень тепло прощалась с нами и долго плакала. Наверное, за два с лишним года она привыкла, привязалась, а может даже породнилась с нами.

Тогда, прощаясь с тётей Соней, мы ещё не предполагали, что жизнь вскоре подтвердит известную истину о том, что нередко родные становятся хуже чужих.

10

С приходом тёти Шуры и Андрея жизнь в нашем доме заметно изменилась. С тех пор наша семья практически перестала быть еврейской. Всё началось с того, что нашим родным языком всё более становился украинский. Если раньше мы говорили по-украински только в школе, а дома и на улице в основном на идиш, то теперь мы и дома должны были говорить только на украинском, то есть на родном языке Шуры и Андрея.

Во многом изменилось и наше питание. Вместо куриного бульона и рыбы в субботу, пришлось привыкать к украинскому борщу со свининой и к салу.

У Сёмы был только один выходной день - воскресенье. И в каждый свободный от работы день в нашем доме были гости - друзья Шуры и Сёмы. Хозяйка любила застолья и не упускала любой возможности для приёма гостей. Эти сборы сводились к выпивкам и песням. Много пили и много пели. Мне неприятны были пьянки, но очень нравились песни. Это были известные украинские народные песни и звучали они в их исполнении совсем неплохо. По выходным дням у цветника возле нашего дома собиралось немало любителей, которые с интересом слушали эти песни.

Такие приёмы требовали много денег, а Сёминой зарплаты со всеми его приработками не хватало даже на приличное питание. Шура нигде не работала и занималась только домашним хозяйством и собой. Нужно сказать, что этими делами она занималась много и свободного времени у нее оставалось мало. Она готовила, убирала, стирала. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, требовала забот хозяйки. Ещё она любила цветы и выращивала их в большом количестве. Цветник возле нашего дома был самым красивым не только на нашей улице, а, наверное, во всем Красилове. Много времени уделяла своему внешнему виду. Выглядела она эффектно и нравилась мужчинам.

По вечерам они с Сёмой ходили в кино или на репетиции в Дом культуры. Перед уходом она долго сидела у зеркала, а Сёма со стороны любовался ею и смотрел на неё все теми же влюблёнными глазами.

Внешне она относилась ко мне и восьмилетней Полечке достаточно тепло и старалась даже не делать заметных отличий в отношениях к нам и своему сыну Андрею, который учился в одном классе с моей сестрёнкой и был только на несколько месяцев старше её. Мы вместе ели, ходили на детские сеансы в кино, получали изредка одинаковые деньги на мороженое.

Нашу семью даже приводили в пример, как дружную, а Шуру похваливали за добрые отношения к двум еврейским сиротам.

Но всё это было внешне. Мы не могли не видеть и не чувствовать глубокую разницу в отношениях Шуры к нам и своему сыну Андрею. Её глаза светились естественной материнской любовью к нему, а та видимая теплота, которая доставалась нам, была неискренней.

Со временем эти отличия стали проявляться всё отчетливее и очень болезненно воспринимались нами, особенно Полечкой. Андрей всё более открыто пользовался своими привилегиями в доме и часто злоупотреблял этим. Он постоянно приносил домой разные сладости, которые якобы ему покупали неизвестные нам тёти и дяди и демонстративно наслаждался ими один. Нередко у него появлялись новые игрушки, которые были недоступны нам. Это вызывало зависть, особенно у Полечки. Ему же это доставляло удовольствие.

Только любовь к Сёме и желание сохранить спокойствие в доме придавали нам силы и терпение, и мы никому не жаловались.

Но Андрею всего этого было мало и он стал просто издеваться над Полечкой. Однажды, он сильно ударил ее в спину и она долго плакала от боли. Тут наступил предел моему терпению, я впервые применил к нему силу и предупредил, что если он посмеет ещё раз её тронуть, я расправлюсь с ним, как посчитаю нужным, не прибегая к жалобам старших.

Такой метод имел успех и Андрей долго не приставал больше к Полечке. Мы тщательно скрывали от Сёмы свои отношения с Андреем и свою неприязнь к нему. И всё же он узнал об этом после очередной стычки между нами. Это произошло помимо нашей воли и вопреки нашему желанию.

Мое предупреждение Андрею, к сожалению, действовало только на определенное время и однажды, позабыв о нём, он вновь применил к ней силу. Упрекнув её как-то в использовании его цветных карандашей и ещё чего-то из школьных принадлежностей, он несколько раз в полную силу ударил ее линейкой по голове. Предотвратив очередной удар, я отвесил ему звонкую пощёчину. Может быть на этом наша стычка и закончилась бы, если бы на крик Андрея не вбежала Шура. Не знаю, как могли бы развернуться события дальше, но я счёл уместным увести Полечку из дома. Когда мы возвратились поздно вечером домой, Сёма устроил семейный разбор случившегося и сделал полагающиеся в таком случае наравоучения каждому из нас.

Больно и обидно было мне тогда слушать его упрёки в свой адрес. Обидно не только потому, что не считал себя виновным, а больше от того, что это был первый случай, когда Сёма отругал меня. Никогда раньше ни мои родители, ни мои старшие братья ни кто либо из наших родственников не ругали меня за поведение. У родителей для этого, видимо, не было достаточных оснований, а старшие братья и другие родственники, после их смерти, оберегали и жалели нас, как сирот. Кроме обиды за себя и малолетнюю сестрёнку, было очень больно за Сёму, мы хорошо понимали чего это ему стоило...

Правда, этот конфликт, как мне показалось, не возымел серьёзных последствий и заметно не повлиял на отношения между супругами, но наши отношения с Андреем после этого случая уже никогда не становились дружественными.

В такой сложной и напряженной обстановке в семье мы прожили долгих четыре года. За это время мы заметно подросли и поумнели, что помогло нам осознать необходимость нашего сосуществования. Каждый из нас, наконец, понял, что у нас нет выбора, что жить придётся вместе, а поэтому нужно как-то скрывать свою неприязнь, проявлять терпимость и сохранять относительное спокойствие в доме.

Не могу сказать, что это нам всегда удавалось. Продолжались конфликты и ссоры между Андреем и Полечкой, в которых мне приходилось участвовать, применять угрозы и делать предупреждения, но со временем они возникали всё реже, а главное - не доходили, до кулачных потасовок. Мы с Полечкой, а в

последнее время и Андрей, старались не вмешивать в наши распри Сёму и Шуру, что благоприятно сказывалось на их отношениях.

Терпимо относились мы и к нашей нужде. Правда, теперь мы уже не голодали так, как раньше. Хлеба в доме хватало, но ощущение недоедания мы чувствовали почти постоянно все довоенные годы.

Когда я был уже в восьмом классе и учился в престижной украинской средней школе, Сёма получил лучшую должность с более высокой зарплатой. Он теперь стал начальником отдела в райвоенкомате, который располагался недалеко от нашей школы. Однако, это повышение в должности не оказало заметного влияния на достаток в нашей семье, так как работал он по-прежнему один, а Шура, как и раньше, не отказывалась от частых застолий с друзьями.

Зная о моем постоянном недоедании, Сёма стал приносить мне завтраки на большую перемену в школу. Это были булочки с колбасой или сыром, яйца или пирожки, овощи и фрукты. Я теперь уже не завидовал другим ученикам, которые на переменах разворачивали свои завтраки и аппетитно ели. Особенно старались похвастать вкусной едой дети райкомовской партийной верхушки. Они приносили в школу продукты, которые даже не продавались в обычных магазинах. Такие, как сёмга, бутерброды с чёрной и красной икрой, деликатесные сорта колбас и другое.

Мне было приятно получать Сёмины завтраки, но, понимая, как трудно это ему достаётся, я постоянно отказывался от них и просил больше не носить. Было ещё обидно, что Полечка всего этого не получает. И ещё я опасался, что об этом узнают Андрей и Шура, что станет основанием для семейных скандалов.

Однако Сёма не внял моим просьбам и продолжал носить мне завтраки. Он приезжал на велосипеде и я успевал ещё покататься на большой перемене, что доставляло большое удовольствие.

Учёба и в новой школе шла успешно и по итогам учебного года Сёма, заменявший мне родителей, получил очередную благодарность директора школы и почётную грамоту, которой я был награждён за отличные показатели в учёбе.

В девятом классе меня вновь избрали в учком и трудно сказать, чем только не приходилось мне там заниматься, но больше всего времени отнимали спорт и художественная самодеятельность. Вместе со мной в новую школу пришел и мой лучший друг из дошкольного детства - Безя Зильберштейн. Мы и теперь вместе отправлялись в школу, сидели за одной партой и участвовали в спортивных секциях. Как и раньше, я заметно опережал его в учёбе, а он ещё более заметно опережал меня в росте и физическом развитии. В восьмом и особенно в девятом классе Безе очень тяжело давалась математика и мне приходилось в этом ему помогать. Но делать это становилось мне намного труднее из-за недостатка времени. Мой друг всё больше внимания стал уделять девушкам, у которых пользовался большим успехом.

Безя и меня пытался втянуть в посиделки и гулянья с девчонками, но я стеснялся и даже побаивался этого. Однажды он устроил свидание с девушкой, которая давно нравилась мне. Её звали Геней и она, наверное, догадывалась об этом. Я стеснялся ей в этом признаться и не давал никаких намёков. Когда Безя оставил нас одних в парке, я не нашел нужных слов для разговора с ней и не знал куда себя деть. Видно и я был Гене не безразличен, она попыталась мне помочь, увлекая в более темную аллею парка, но, когда она взяла меня под руку, меня словно электрическим зарядом пронзило и я немедленно отвёл руку, опасаясь допустить что то аморальное и недозволенное.

Долго после этого я избегал встреч с ней наедине, и мы только обменивались записками, но мне очень хотелось её видеть и я искал удобный для этого повод.

И вот, наконец, такой случай нашёлся. Наш ученический комитет готовил выпускной вечер для десятиклассников. Мы занимались этим очень серьёзно и тщательно. Украшали актовый зал, готовили концерт самодеятельности, торжественный ужин и, конечно, танцы. Вечер намечался на 29-ое июня 1941-го года. Я даже пытался заучить те сокровенные слова, которые хотел высказать Гене в этот вечер. Безя дал мне несколько уроков танцев, в чём я был абсолютным профаном.

Готовились к вечеру долго, а он так и не состоялся. Событие чрезвычайной важности стало тому причиной.

12

Не могу не рассказать немного подробней о своей долголетней детской и юношеской дружбе с Безей Зильберштейном. Он жил по соседству с нами и мне кажется, что Безя был со мной чуть ли не с рождения. Он был моложе на несколько месяцев, но намного выше, здоровей и сильнее меня. Когда приходилось строиться на линейку в школе или в пионерском лагере, Безя был среди первых на правом фланге, а я среди последних на левом. Были мы разными и во многом другом. Он был рыжим и лицо его было густо покрыто веснушками.

Учился Безя слабо по всем предметам, был неразговорчив и мало читал, но, в то же время, был лидером во всех спортивных играх и мероприятиях и убедительнее других мог выяснять отношения на кулаках. С ним было всегда спокойно и надёжно. В любом споре или конфликте Безя быстро и объективно

анализировал ситуацию, принимал справедливое решение и настойчиво добивался его выполнения, используя различные, но всегда эффективные, методы, не исключая и силовые, в чём он был незаменим. Силу Безя применял довольно редко, но одно сознание того, что такое возможно, действовало на участников ссоры отрезвляюще. Лично с ним редко кто спорил и он пользовался среди нас авторитетом.

Мы с ним были почти неразлучны. В большинстве наших школьных и уличных делах он сознательно уступал мне лидерство и безропотно принимал мои советы и предложения. Я часто помогал ему в выполнении домашних заданий и учителя отмечали, что учиться дома он лучше, чем в школе.

Мне было приятно пояснять Безе сложные упражнения по арифметике, а позднее алгебре или геометрии, так как он с большим желанием сам пытался всё понять и, как мне казалось, проявлял даже некоторые способности. Сам же он говорил, что понимает меня лучше нежели учителя.

Безя любил слушать мои рассказы о событиях в мире и особенно его интересовала Испания. Он мечтал поехать добровольцем на испанскую войну, чтобы защищать Республику и заверял нас, что добьётся этого, как только ему исполнится семнадцать.

Беседы на эти и другие темы обычно проводились во дворе его дома. На них собиралось довольно много ребят и Безя обеспечивал необходимый порядок при их проведении. Редко когда кто-то отвлекал слушателей, но когда такое случалось, одного Безинога взгляда было достаточно, чтобы нарушитель спокойствия сделал для себя нужные выводы.

Безя лучше всех нас играл в футбол, волейбол, баскетбол, городки и был здесь признанным лидером. Высокий рост и физическая сила позволяли ему набирать наибольшее количество очков в баскетбольных и волейбольных матчах и забивать больше всех голов в футболе. Этому в большой мере способствовали его высокая техника и огромное трудолюбие. Своими спортивными успехами Безя никогда не хвастался, зато все мы восторженно восхваляли его.

Он был добрым, отзывчивым парнем и бескорыстно помогал своим друзьям, где только мог. Среди мальчишек нашей улицы он первым заимел велосипед. Тогда ещё мало кто из ребят нашего возраста в Красилове имел велосипед, а те немногие, которые стали счастливыми обладателями этого роскошного транспортного средства, обычно никому не давали им пользоваться и вызывали непомерную зависть окружающих. Безе родители подарили новенький взрослый велосипед на день рождения, когда ему исполнилось 15 лет. Как только он стал его хозяином, Безя тут-же стал учить меня кататься, а позднее нередко разрешал мне пользоваться им. Когда мы ездили на речку, в лес или в парк, он усаживал меня сзади себя, на багажник, что доставляло мне много радости. Своего велосипеда я так до самой войны и не приобрёл, хотя, к тому времени, у многих ребят моего возраста они уже были.

Отец Бези, дядя Яша, был глухонемым. Он, как и Безя, был высокого роста, здоровым и сильным мужчиной. Работал грузчиком на сахарном заводе и хорошо зарабатывал. Даже в голодные годы, когда зарплаты моего отца не хватало на хлеб и редко когда мы в нашей семье могли поесть вдоволь, Безина мама, тетя Фира, готовила каждый день вкусные обеды с мясом. Родители Бези были рады нашей дружбе и хорошо относились ко мне. Когда тётя Фира звала Безю обедать, она обычно приглашала и меня. Как правило, я отказывался, убеждая ее, что якобы недавно пообедал, но она догадывалась, что я обманывал ее из скромности и нередко настаивала на своём.

Запомнилось, как однажды, на Пейсах она угощала меня бульоном с мацой, курицей с фасолью, тейгалех и фруктами. Всё это было необыкновенно вкусно и мне было очень обидно, что всё это досталось только мне, а вся наша семья в то время голодала.

Когда я заболел астмой и часто из-за простуд и приступов болезни пропускал школу, Безя подолгу сидел у моей кровати, делал со мной домашние задания и рассказывал о школьных новостях.

Я очень любил Безю и дорожил нашей дружбой. Мы вместе закончили четыре класса еврейской школы, вместе учились в неполно-средней украинской школе, вместе поступили в восьмой класс, единственной тогда в Красилове, украинской средней школы, где до войны успели закончить только девять классов. В день окончания учебного года, в июне 1941-го года, как-бы предчувствуя предстоящую разлуку, мы с Безей сфотографировались на память.

Именно этот снимок стал единственным из множества личных, семейных, лагерных, школьных и иных довоенных фотографий, что чудом сохранился у меня, пролежав несколько долгих и трудных первых месяцев войны в моем комсомольском билете.

Летом 1939-го года, Зюня, как обычно, приехал на летние каникулы. Он, к тому времени, закончил 3-й курс педагогического института и ему оставался всего один год учёбы для получения диплома учителя истории и географии. Одновременно он заканчивал курсы Одесского аэроклуба, что, по его словам, приравнивалось к военному училищу лётчиков.

Трудно сказать чем он больше гордился - тем, что станет учителем, или тем, что в следующем году будет лётчиком. Он с восторгом рассказывал о своих чувствах во время учебных полётов и убеждал нас, что

с удовольствием ушёл бы добровольно в армию, то есть в авиацию, если бы не Рахиль, которой он без устали восхищался. Зюня утверждал, что она самая умная, самая добрая и самая красивая девушка на земном шаре. Эту свою убежденность он внушал всем нам, а главное Сёме, что было важно для одобрения им Зюниного выбора.

Все мы очень считались с мнением Сёмы и он для нас был непререкаемым авторитетом при решении любого важного вопроса. А поскольку женитьба как раз и есть самый важный и самый серьёзный жизненный вопрос, Зюне очень нужно было заручиться согласием Сёмы на его брак с Рахиль.

Сёму не нужно было убеждать в этом. Он давно не сомневался в том, что Рахиль и есть именно та единственная девушка, которая нужна Зюне и, что теперь, когда они оба заканчивают институт, настала пора для их женитьбы. Сёма несколько раз встречался с Рахиль и высоко ценил её достоинства.

Однако, когда стал вопрос о конкретных сроках регистрации брака, пришли к выводу, что это придётся отложить ещё на год. Зюня и Рахиль жили в разных общежитиях, и не было никакой реальной возможности на их скудные средства снять комнату в Одессе до окончания ими института.

В принципе же вопрос их женитьбы был решён, что было важно для распределения их на работу, как молодых специалистов. Зюня уверял нас, что они никуда далеко не поедут, и что скорее всего местом первой их работы будет местечко Славута, что рядом с Красиловым, где живут родители Рахиль, нуждающиеся в её помощи.

Зюня был полон жизненных и творческих планов. Он мечтал об учительской карьере, о будущей семье и, конечно, о детях. По его мнению из генов Гимельфарбов и Лемпертов (такой была девичья фамилия Рахиль) должны получиться хорошие дети, и поэтому их должно быть несколько, при этом обязательно и девочки, и мальчики.

Зюня собирался ещё поступать в аспирантуру и защитить степень кандидата исторических наук. Он недоволен был учебниками по истории и мечтал стать автором или соавтором нового учебника, который бы объективно и полно раскрыл историю СССР.

Как-то Зюня предложил Сёме план разделения сфер влияния, как он называл вариант принятия на своё иждивение Полечки или меня. Он давно считал непосильным бремя, которое взял на себя Сёма, воспитывая на протяжении многих лет двух малолетних детей. Но раньше другого выхода не было и с этим приходилось мириться. Сейчас же, когда Зюня выходил на дорогу самостоятельной жизни, такая возможность появилась и, как он считал, ею нельзя не воспользоваться. Он утверждал, что инициатором этого предложения является Рахиль, и что она заверила его, что в доме её родителей будут созданы все необходимые условия для жизни и учёбы ещё одного школьника.

Учитывая, что у Рахиль был брат, который учился в седьмом классе, выбор пал на меня, ибо мы с её братом могли бы жить в одной комнате.

Сёма долго не соглашался с этим, утверждая, что нас разлучать нельзя, что мне осталось всего несколько лет учёбы в школе, после чего я непременно уеду учиться в институт, но доводы Зюни были вескими и убедительными, и он вынужден был дать принципиальное согласие на мой отъезд.

Были и возражения с моей стороны. Я не представлял себе, как смогу уехать от Сёмы, а главное от Полечки. Кто в таком случае будет её защищать. Но и мне пришлось согласиться с разумными доводами Зюни. Было решено, что, как только он и Рахиль обустроятся на новом месте, я поеду к ним в Славуту.

Ещё о многом другом мы договорились в тот последний Зюнин приезд в Красилов на летние студенческие каникулы. К великому нашему сожалению, этим договорённостям, как и Зюниным планам о работе, учёбе, творчестве, а главное о счастливой семейной жизни, не суждено было сбыться.

14

В воскресенье, 22 июня 1941-го года, наша школьная волейбольная команда встречалась с чемпионом нашего местечка по волейболу - командой сахарного завода. На этот матч пришло много болельщиков, как со школы, так и с завода. Встреча обещала быть интересной. Заводская команда была известна далеко за пределами Красилова и не раз выходила победителем в межрайонных и даже областных соревнованиях. Наша школьная команда тоже считалась не только лучшей в районе, но и одной из лучших школьных команд в области. Хорошему настрою участников встречи и болельщиков способствовала и погода. Был тёплый солнечный день, какой обычно бывает в конце июня.

Игра началась атаками гостей и они вырвались вперед с большим отрывом в счёте. Когда уже казалось, что первый сет безнадежно проигран, разыгрался наш капитан Безя, который, оказавшись у сетки, провёл несколько эффектных комбинаций и сравнял счёт. Спортивный азарт и поддержка болельщиков придали новые силы нашим ребятам, и мы вырвали победу в этом сете.

Когда команды поменялись местами на площадке, и уже были готовы к продолжению игры, из уличного репродуктора, который постоянно находился на фасадной стене школьного здания, раздался знакомый голос уже известного тогда в стране диктора Юрия Левитана, известившего о предстоящем выступлении по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М.Молотова. Голос диктора

звучал взволнованно и нас охватило предчувствие чего-то недоброго. Руководители страны тогда вообще по радио выступали редко, тем более в выходной день - в воскресенье.

Выступление Молотова началось ровно в 12 часов дня. Его речь была короткой и тревожной. Из неё мы узнали, что в этот день, в четыре часа утра, немецкая армия, без объявления войны, перешла западную границу страны от Балтийского до Чёрного моря и начала наступление по всему фронту. Авиация фашистской Германии бомбила многие наши города, в том числе Киев и Севастополь, а тысячи немецких танков и другой бронетехники на отдельных участках углубились в пограничные районы страны.

Свою речь Молотов закончил на мажорной ноте, воскликнув: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Трудно себе представить наше состояние в эти минуты. От неожиданности даже сперва не верилось, что всё это может быть правдой. Из того, что мы знали о советско-германских отношениях из газет и радио, ничего не предвещало такого развития событий. Ещё не прошло и двух лет со времени подписания советско-германского договора о ненападении. С тех пор публиковались и вещались только материалы, подтверждающие строгое соблюдение Германией положений и духа этого договора. Нередко в печати разоблачались «паникёры», которые запугивали народ опасностью войны.

Даже перемещения многих немецких дивизий и большого количества военной техники к границам Советского Союза, которые не могли быть не замеченными, и о которых в последнее время сообщала печать и радио западных государств, в советских средствах массовой информации объяснялись предстоящими учениями, связанными с ними передислокацией войск и иными причинами, не представляющими никакой опасности для страны.

Мы жили рядом со старой границей с Польшей, но не замечали перемещений частей Красной Армии или строительства каких-либо оборонительных сооружений. Более того, через нашу железнодорожную станцию на запад, в Германию, ежедневно уходили поезда с сырьём, материалами, продовольствием, которые направлялись туда согласно заключённым торговым договорам.

Не ощутимы были действия по мобилизации солдат и командиров из запаса. Напротив, даже в нашем небольшом местечке было видно, как многие кадровые командиры Красной Армии, с наступлением лета прибывшие в отпуск к своим семьям, щеголяли в военной форме на улицах и в парке.

И всё же, опасность войны чувствовалась. Были и сомнения в верности политики нашего правительства, подозрения в измене и предательстве интересов страны и народа, но всё это сохранялось в глубокой тайне и об этом даже шёпотом боялись говорить. Всюду шныряли осведомители НКВД и достаточно было попасть под малейшее их подозрение, чтобы распрощаться со свободой или даже с жизнью.

Мне тогда очень хотелось узнать мнение моих братьев на этот счёт, но они старались не вступать со мной в такие дискуссии. И всё же я об этом узнал из разговора между ними в соседней комнате, когда Зюня, в середине июня 1941-го года, приехал на пару дней из Славуты.

Они возмущались спокойствием и бездеятельностью нашего правительства перед лицом реально нависшей угрозы начала войны. Сёма, который работал начальником отдела райвоенкомата, удивлялся что, несмотря на то, что уже полным ходом шла вторая мировая война и фашистская Германия успела оккупировать или сделать своими союзниками все страны восточной Европы, граничащие с СССР, до сих пор не начата хотя бы частичная мобилизация и не получено никаких указаний о проведении каких-либо мероприятий оборонного характера в районе.

Зюня считал ошибкой прекращение переговоров с западными странами и фактический разрыв отношений с ними, а также неожиданный союз СССР с Германией. Он также высказывал свои сомнения в мощи и боеспособности Красной Армии. В частности, он утверждал, что наши самолёты по скорости, маневренности и вооружению на порядок ниже немецких. А он в этом знал толк, так как несколько лет изучал авиационную технику в аэроклубе. Много другого я узнал тогда из разговора между моими старшими братьями, что впервые внушило мне сомнение в силе и непобедимости «легендарной» Красной Армии.

Первые же дни войны полностью подтвердили эти опасения и воочию убедили в нависшей над страной и ее народом смертельной опасности. И в первую очередь такая реальная опасность нависла над еврейским народом, который Гитлер решил навсегда изжить с лица земли.

15

В те первые дни войны все ждали выступления Сталина. Казалось, он непременно должен выступить по радио и, наконец, внести полную ясность в случившееся, а главное, он, и только он, должен, в конце концов, дать чёткие указания, что следует делать народу и «героической и непобедимой» Красной Армии для скорейшей победы над врагом.

Из известных нам ранее легендарных военачальников и героев гражданской войны к тому времени мало кто оставался в руководстве Красной Армии. В годы Ежовщины большинство из них были признаны врагами народа и уничтожены. Такой участи не избежали даже такие прославленные и талантливые командармы, как Тухачевский, Блюхер, Якир, Гамарник и многие тысячи, точнее десятки тысяч

менее известных, но тоже одарённых, опытных и грамотных командиров дивизий и полков всех родов войск, в том числе бронетанковых и десантных, артиллерии и авиации, которые решали судьбу современной войны.

На их место пришли другие, наверное, менее опытные и менее одарённые военачальники, но безусловно рабоче-крестьянского происхождения и из коренных национальностей.

С детского возраста нам внушали, что Красная Армия - самая мощная в мире, что наши танки имеют самую прочную сталь, самую большую скорость и маневренность, что пушки наши стреляют дальше и точнее всех, что советские самолёты летают быстрее, выше и дальше всех и, что, если враг осмелится сунуть свое свиное рыло в наш советский огород, он будет разбит и уничтожен на своей земле.

Вероятно, если одно и тоже долго и настойчиво утверждать, то люди, которым это внушают, со временем начинают в это верить, даже если это мало вероятно. Так было и с нами в то далёкое время. Мы верили в силу и несокрушимость Красной Армии.

Были, правда, и некоторые основания усомниться в этом. Таким основанием могла стать советско-финская война 1939-40гг. Этот военный конфликт, возникший из-за желания советского правительства отодвинуть финскую границу подальше от Ленинграда, собственно и войной называть было нельзя, ибо какая же, на самом деле, может быть война между такой огромной державой, как СССР, и такой малюткой, как Финляндия, всё население которой, меньше населения одного города Ленинграда. И тем не менее этот конфликт стал настоящей войной, в которой «непобедимая и легендарная» Красная Армия в течении многих месяцев не могла совладать с небольшой и слабо вооружённой финской армией, потеряв при этом, даже по официальным данным, около 50 тысяч убитыми и ранеными.

И в то же время, немецкая армия поставила на колени, не только небольшие государства - Австрию и Румынию, но и крупные индустриальные державы - Чехословакию и Францию.

Были и другие основания сомневаться в мощи и непобедимости нашей Красной Армии и, тем не менее, мы верили в неё. Все ждали, что вот-вот объявят о предстоящем выступлении Сталина и всё станет на своё место, то есть начнётся крупное контрнаступление Красной Армии по всему фронту и война перенесется на территорию фашистской Германии, где враг будет разбит и уничтожен.

Эти наши надежды подкреплялись также и тем, что в первые же дни войны Англия и США, несмотря на недавнюю измену СССР и заключение договора о ненападении (фактически о союзе) с Германией, заявили о своей безусловной поддержке СССР в его войне с гитлеровским фашизмом.

Однако, шли дни и никакого объявления о выступлении Сталина не было. Молчали и другие руководители партии и государства. Не было в те первые дни войны и каких-либо заявлений Политбюро или советского правительства. Укреплялось ощущение растерянности и паники в верхах государственного и партийного руководства.

По сводкам Совинформбюро нельзя было создать какое-нибудь объективное представление о ходе военных действий. В коротких сообщениях первых 6-7 дней войны говорилось о военных действиях, в основном, на советско-германской границе. Утверждалось, что Красная Армия героически сдерживает натиск превосходящих сил противника, вероломно ворвавшегося на нашу землю. В некоторых сводках тех дней, правда, упоминалось о боях на Львовском, Минском и других направлениях, из чего можно было догадываться о прорыве немцами фронта на многих важных участках.

Сообщалось о перегруппировке наших войск и создании трёх фронтов: Северо-западного во главе с маршалом Ворошиловым, Центрального под руководством наркома обороны Тимошенко и Юго-западного под руководством маршала Будённого - одного из немногих уцелевших героев гражданской войны.

На самом же деле, в эти первые несколько дней войны, немцы глубоко вклинились в советскую территорию по всему фронту, окружили и взяли в плен сотни тысяч солдат и офицеров Красной Армии, разбомбили на аэродромах большую часть советской авиации и захватили огромные трофеи, в том числе тысячи танков, орудий и бронемашин. Они подошли вплотную к столицам Союзных Республик - Вильнюсу, Риге, Таллину и Минску и практически предопределили в свою пользу исход начального этапа войны.

16

Сёма умчался в военкомат, как только прослушал выступление Молотова. Он, как и другие работники райвоенкомата, выписывал повестки военнотружущим запаса и допризывникам, которым предлагалось немедленно явиться для отправки в воинскую часть. В Армию призывались почти все взрослые мужчины и военнообязанные женщины. Всю ночь повестки разносились по домам, не только в Красилове, но и во всех сёлах района.

Когда утром Сёма явился домой, чтобы хоть пару часов отдохнуть, его трудно было узнать. Лицо было осунувшимся и казалось постаревшим. Глаза его смыкались от усталости. На нём было обмундирование лейтенанта Красной Армии и кирзовые сапоги. На стол он положил повестку о мобилизации и довольно большую пачку денег. То была зарплата и выходное пособие в связи с призывом в Армию. Больше от него мы ничего не могли узнать, так как он тут-же уснул, как только прилег на кушетку, даже не коснувшись наскоро собранного Шурой завтрака.

Нас одолевали вопросы, которые не давали ни сна ни покоя в первый день войны. На них мы надеялись получить какие-то ответы от Сёмы. Как идут военные действия? Где сейчас линия фронта? Будут ли эвакуировать гражданское население из приграничных районов, в том числе из Красилова? Как долго Сёма ещё сможет побыть с нами? Что каждому из нас следует делать? Все надежды были на Сёму. Привыкли мы, что он один за нас всё решает. Так было со времени смерти родителей. Ничего не изменилось и с приходом в наш дом Шуры и Андрея.

Сгорая от нетерпения что-нибудь узнать, я отправился к Безе, оставив в доме рыдающую Шуру, Полечку и Андрея. Здесь я надеялся кое-что выяснить потому, что Безин дядя по маминой линии Леонид Мойсеевич, учитель немецкого, что жил рядом с нами, имел детекторный приёмник, хорошо знал английский и немецкий, и нередко снабжал нас информацией о событиях в мире, которую он получал из передач зарубежных радиостанций. Однако, и эти мои надежды не оправдались, потому что дядю только-что проводили на призывной пункт, а до его ухода в их дом приходил сотрудник НКВД, который потребовал немедленно предъявить и сдать приёмник, вместо которого он им оставил клочок бумаги, подтверждающий изъятие приёмника по законам военного времени.

Как мы потом узнали, таким же образом были изъяты в первый же день войны приёмники во всех домах нашего местечка. Разрешалось слушать только радио из чёрных тарелок репродукторов, что висели в каждом доме и кое-где на улицах.

Безя собирался в военкомат. Он не сомневался, что сейчас, когда речь идёт не об Испании, а о защите своей Родины, ему удастся добровольно уйти на фронт, хоть и совсем недавно минуло шестнадцать. Такая его уверенность подкреплялась тем, что внешне он выглядел не хуже, а может быть и лучше, многих призывников, которым уже исполнилось восемнадцать: высокого роста, спортивной осанки, с мужественными, совсем не детскими чертами лица. Его идея пришлась мне по вкусу и я решил пойти с ним. Безя выкатил велосипед и мы умчались на призывной пункт.

То, что мы увидели, подъезжая к военкомату, поразило наше воображение. Тысячи людей с рюкзаками, сумками, сундучками и чемоданами собрались во дворе и на прилегающей к военкомату площади. Многие целыми семьями пришли сюда или приехали на подводах из окружающих сёл и деревень. Я и не предполагал, что в Красилове и ближайших сёлах столько народу. И всё это людское море гудело, шумело, рыдало. Женщины и дети прощались со своими мужьями, отцами, кормильцами. Кое-кто уже успел с горя выпить и пытался заводить бравые песни, а в дальнем углу двора подвыпившие селяне даже затеяли танцы под гармошку. Девушки, не стесняясь, обнимали и целовали своих возлюбленных, уходящих на войну.

Безя не без труда пробирался сквозь толпу к входным дверям военкомата, увлекая меня за собой. Когда мы, наконец, достигли цели, перед нами оказался пожилой капитан, который потребовал у нас повестки. Он не пожелал выслушать наши объяснения и строго велел немедленно освободить проход и не мешать работать. Под конец, он всё же, уступив Безиным просьбам, велел нам прийти через пару дней, когда разберутся с отправкой людей, получивших повестки. Нам ничего не оставалось, как пробираться назад, навстречу потоку мужчин с повестками.

На площади Безя разыскал своего дядю Лёню, который стоял в окружении семьи и родственников. Тётя Соня, жена дяди Лёни, вся в слезах, негромко всхлипывала, обнимая двух малолетних детей, мальчика лет восьми и девочку дошкольного возраста. Дядя Лёня сказал, что ему велено явиться для построения через полчаса. Они строем, в пешем порядке отправляются на Проскуров.

Из моих родственников, кроме Сёмы, никто в Красилове мобилизации не подлежал и я, оставив Безю в кругу своей семьи и родных, поспешил домой, чтобы застать брата.

Когда я возвратился домой, Сёма уже сидел за столом, заканчивая свой завтрак. После нескольких часов отдыха он выглядел, как всегда по утрам, свежим, чисто выбритым, приветливым. Он спокойно изложил сложившуюся ситуацию и свои намерения на ближайшие дни. Как и другие работники военкомата, он уже приписан к воинской части, но должен остаться в Красилове до конца недели для завершения работы по мобилизации и отправки военнообязанных. Сёма обещал сделать всё возможное чтобы вывезти нас в тыл, скорее всего в Немиров, где живут родственники Шуры. Нам следует быть готовыми к этому.

Над Красиловым ежедневно пролетали немецкие бомбардировщики, направляющиеся куда-то в тыл на бомбёжку наших городов, военных объектов, железнодорожных узлов. Часто слышны были разрывы бомб в районе Проскурова и станции Гречаны. Все ждали, когда, наконец, в небе появятся наши самолёты, а их всё не было.

В остальном всё в нашем местечке внешне оставалось без больших перемен, и не предвещало, надвигающейся с большой скоростью, катастрофы.

Согласно сводок Советского Информбюро, единственного тогда источника информации, наши войска вели тяжёлые оборонительные бои с противником на всём протяжении фронта. Сводки были

короткими, в них редко назывались точные координаты продвижения немецких войск и складывалось впечатление, что бои на большинстве участков действительно идут в районе границы.

На улицах, в парке, в Доме культуры и других общественных местах появились плакаты с надписью: «Шпион и паникёр - находка для врага!» Стояли тёплые солнечные дни, по утрам, как и раньше, пели птички, в магазины завозили свежий хлеб, за которым ещё не было больших очередей. По утрам на сахарный завод, единственное серьёзное предприятие в нашем местечке, так же как прежде, шли на работу люди, ещё работали многие магазины, столовые, мастерские, парикмахерская и аптека, были открыты ларьки, лавки и киоски. Всё это напоминало ещё ту мирную, довоенную жизнь.

Правда, в эти первые дни войны, нельзя было не заметить и существенные перемены. Резко изменился состав населения. Почти полностью исчезли взрослые мужчины, кроме стариков. За прошедшие несколько дней они ушли из Красилова. Уходили пешими колоннами, строем, сопровождаемые толпами рыдающих женщин, стариков и детей. На глазах прибавилось количество женщин. Почти одни женщины уходили утром на завод, стояли за прилавками магазинов и лотков, трудились в мастерских, учреждениях и различных других заведениях.

На лицах взрослых и даже детей были тревога и страх. Местечко затаилось в грустном и тревожном ожидании. С прилавков магазинов исчезли мыло, соль, спички. Появились очереди за макаронами, крупами, подсолнечным маслом и другими продуктами длительного хранения. Установили нормы отпуска продуктов покупателям.

Наше весёлое и шумное местечко притихло. Не слышно было больше по вечерам музыки и песен в парке, не видно было гуляющей молодёжи. Даже детей, играющих на улице, не стало. Видны были и другие перемены в те первые дни войны.

Однако, повторяю, внешне мало что предвещало в ближайшие несколько дней катастрофу, которая привела затем к гибели всего оставшегося в местечке еврейского населения.

До пятницы первой недели войны из Красилова не уехала ни одна еврейская семья. Не видно было никаких признаков подготовки к организованной эвакуации населения. Этот вопрос даже вслух не обсуждался. Боялись быть уличёнными в панике. Считалось, что линия фронта ещё далеко и что немцев сюда не пустят.

Мы с Безей ежедневно по утрам уходили в военкомат в надежде упротить майора, ведающего мобилизацией, отправить нас добровольцами на фронт. Когда мы ему изрядно надоели, он урвал несколько минут для беседы с нами и заявил, что единственное на что он может согласиться, это направить нас в воинскую часть, расположенную в пригородном лесу, в качестве вольнонаемных работников для выполнения складских операций и рассортировки боеприпасов. Он утверждал, что это есть важное военное задание и что этим мы будем помогать фронту.

Мы поняли, что большего нам от майора не добиться и, заручившись его официальным направлением на имя командира части, направились по указанному нам адресу.

У каждого из нас мелькнула мысль, что в воинской части нам удастся и без военкомата решить вопрос об уходе в Армию. По дороге мы поделились между собой этой мыслью и даже наметили план действий.

Воинскую часть мы нашли без труда. Вернее, нас обнаружили часовые на подходах к ней. Немолодой уже майор, с сединой в висках, коротко объяснил наши обязанности, распорядок дня и передал нас в распоряжение старшего лейтенанта - заведующего складом боеприпасов.

Работа была несложной и физически не трудной. Нам поручили сортировку и укладку в ящики патронов ко всем видам стрелкового оружия, а также пулемётных лент. Выполняя ее, мы на самом деле утвердились в мысли, что делаем нужное и очень важное дело для фронта, и работали, не покладая рук.

Единственное, что угнетало нас на этом военном складе, это страшный беспорядок, который царил там. Вспоминались слова из популярной тогда песни «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы»... С ужасом подумали о том, что может случиться, если также «к походу готовы» многие или все воинские части Красной Армии.

Не знали мы ещё тогда, что ход военных действий в первые дни войны полностью разрушил миф о непобедимости нашей Армии и развеял легенды о ее несокрушимой мощи и силе.

В четверг, 26-го июня полк, в котором мы работали, был поднят по тревоге на борьбу с вражеским десантом, высаженным немцами на рассвете в поле, под Красиловым. Как потом выяснилось, это были вовсе не немцы, а украинские полицаи, одетые в форму советских милиционеров. Они были вооружены лёгким стрелковым оружием, револьверами и наганами, которыми пользовалась до войны советская милиция. Об их высадке сообщил пастух из пригородного колхоза, прискакавший верхом на лошади к ночному дежурному райвоенкомата. Ко времени прибытия полка, десантники успели рассредоточиться в

прилегающем к полю лесном массиве и их пришлось вылавливать по одному, прочёсывая лес, кукурузное поле и ближайшие сёла. Многие отстреливались, а некоторым удалось скрыться.

В полдень в расположение полка доставили группу пленных десантников. Некоторые из них получили ранения. Были и раненые красноармейцы. Мы увидели первые жертвы войны и первую кровь.

Как нам потом рассказали, пленных в тот же день отправили в Проскуров и они были преданы суду военного трибунала.

В тот же день, вечером, в Красилове появились первые беженцы. Еврейская семья с двумя детьми дошкольного возраста на телеге, запряженной одной лошастью, за три дня, убегая от немцев, покрыла расстояние более двухсот километров. Они совсем выбились из сил. Их накормили, устроили на ночлег, предложили остаться, но они заявили, что в этом нет никакого смысла, так как немцы будут в Красилове через два-три дня и евреям здесь оставаться нельзя.

Только теперь, когда прояснилось положение на фронте и стала очевидной реальная угроза оказаться в ближайшие дни на оккупированной немцами территории, евреи заговорили об эвакуации, вернее о бегстве.

В пятницу и в субботу несколько еврейских семей, наскоро собрав вещи первой необходимости, бежали из местечка, оставив без присмотра домашних животных и нажитое годами имущество. Это могли сделать те, кто имел телегу и лошадь. Таких в Красилове было совсем немного. На одну телегу укладывали свои пожитки две, а то и три семьи. Рассчитывать на поезд или автомобиль не имело смысла, ибо автомобилей тогда было мало и все они были изъяты у предприятий, организаций, колхозов и совхозов и отправлены в воинские части, а поезда через Красилов проходили довольно редко и были переполнены людьми и грузами. На помощь местной власти также не следовало надеяться, так как указаний сверху об эвакуации населения не поступало, а их собственной инициативы хватило только на организацию выезда своих семей. Об этом хозяева района позаботились своевременно и, хотя это было сделано в большой тайне под покровом ночи, об этом красиловские евреи узнали незамедлительно, со всеми подробностями.

В пятницу уехала семья Зильбершмитов. Их дочь Клара Кучер работала в местном отделении Госбанка и ей поручили вывезти в тыл денежную наличность. Для этого выделили грузовой автомобиль и одного милиционера для сопровождения и охраны ценностей. Ей удалось погрузить в кузов всю семью и даже кое-что из вещей. Мы с Семой ходили прощаться с ними. Клара заканчивала с Семой еврейскую школу, затем училась в финансово-экономическом техникуме и они были очень дружны в течение многих лет. Прощались тепло, как будто чувствовали, что никогда больше не встретятся.

Утром, в субботу, стало известно, что на рассвете покинули Красилов ещё несколько еврейских семей. Уехали Туллеры, родители, братья и сестра Нюни Туллера - лучшего друга Зюни и семья Фишбергов с дочерьми, Геней - мечтой моей юности и Лизой - лучшей подругой Полечки.

Вспоминая сейчас эти трагические дни, предшествующие вступлению немецких войск в наше местечко, невольно прихожу к мысли, что гибель нескольких тысяч красиловских евреев, оставшихся в этом маленьком городке, вовсе не была неизбежной. Если бы даже евреям не оказывали никакой помощи в эвакуации, а только объективно информировали их о положении на фронте, большинство из них покинуло бы Красилов и спасли бы себя, жизнь своих детей и внуков. А то, что партийное и советское руководство района знало действительное положение дел на фронте и примерные сроки прихода немцев, не вызывает никакого сомнения. Вывезли же из райцентра денежную наличность, документацию районных организаций и, наконец, семьи руководителей района, а сказать людям о нависшей над ними опасности не хватило ни ума, ни желания, ни совести. Так и напрашивается мысль, что всё это сделано не без злого умысла, и невольно возникает вопрос: почему на протяжении пяти десятилетий, прошедших после окончания войны, никто не понёс наказания за это злодеяние? Ведь те немногие из евреев, чудом бежавших из прифронтового Красилова за день-два до прихода немцев, выжили в эвакуации и вернулись в местечко после его освобождения от фашистской оккупации.

Нетрудно догадаться почему замалчивался этот вопрос в годы коммунистической диктатуры, так как позиция руководителей Партии и Правительства по «еврейскому вопросу» была хорошо известна. Но вот уже около десяти лет бывшими советскими Республиками управляют так называемые «демократы», а никаких изменений в вопросе ответственности за гибель сотен тысяч ни в чём не повинных советских евреев на оккупированной территории не произошло.

Сёма работал с утра и до поздней ночи. В субботу, ещё до его ухода в военкомат, зашла тетя Хавале. Она до сих пор не пришла в себя после ареста дяди Айзика, о котором так ничего больше и не узнала. Её единственная просьба - помочь ей спасти Лёвочку. Она знала, что Сёма собирался вывезти семью и просила взять хотя бы ребёнка, если для неё не будет места. Было странно слышать это от Хавале. Лёвочка для нее был дороже всего на свете. Своему любимцу она отдавала все свои силы, знания, средства. Она души в нём не чаяла. Нужно сказать, что он того стоил. Это был мальчик редкой красоты, обаяния и удивительных

способностей. Какой силы должна была быть любовь матери, чтобы такого ребёнка отдать фактически чужому человеку, каким для Лёвочки была тётя Шура, чтобы спасти его.

Можно себе представить положение Сёмы, который, как и все мы, очень любил Лёвочку, но не мог ничего конкретного ответить или пообещать Хавале. Не мог потому, что ещё не знал, как отнесётся военком к его просьбе разрешить ему взять с собой жену и троих детей в машину с документацией, которую он должен завтра доставить в Винницу. Не мог ещё и потому, что не знал, как к этому отнесётся Шура. Как бы там не было, но Хавале ушла без всякой надежды на нашу помощь в спасении Лёвочки.

Нам же Сёма велел быть готовыми к отъезду вечером в субботу или, в крайнем случае, в воскресенье утром, а сам ушёл в военкомат.

Ушли и мы с Безей на склад боеприпасов. Это был наш последний рабочий день в полку. Накануне получили приказ об отходе из Красилов. Нашим надеждам остаться в полку не суждено было сбыться: майор не пожелал нарушить устав, и решительно отказался оставить нас в части. Да и Сёма вряд ли разрешил бы мне это сделать, ибо нужно было остаться с семьей, как старшему мужчине.

Тяжёлое чувство овладело мною, когда мы в этот день прощались с Безей. Мы оба чувствовали, что расстаёмся навсегда.

В тот же день, вечером, к нашему дому подъехала небольшая грузовая машина «полуторка», гружённая документацией и сейфами, которые Сёма должен был доставить по назначению. В путевом листе значился конечный пункт: Винница, облвоенкомат.

Шофёр согласился взять только нашу семью, как распорядился военком, не пожелав даже слушать о Лёвочке. Как не умоляла его Хавале, какие деньги не сулила, он был непоколебим в своём решении.

Его можно было понять. Мало того, что он отклоняется от маршрута и везет семью сотрудника военкомата в Немиров, что в сорока пяти километрах от Винницы, его ещё уговаривают взять чужого ребёнка. Не соглашалась взять Лёвочку и Шура.

Убедившись в бесполезности своих уговоров, Хавале, рыдая и обливаясь слезами, наскоро попрощалась с нами, и увела Лёвочку.

Целуя тётю Хавале на прощание, Сёма всё же пообещал, что по приезду постарается упротить военкома отправить ее с ребёнком на этой же машине, поскольку она должна будет совершить ещё один рейс по этому маршруту. Он действительно намеревался это сделать, не предполагая, что второму рейсу помешают немцы, которые через два дня войдут в Красилов.

Машина была перегружена и Сёма, с трудом усадив меня, Полечку и Андрея в кузов, сам еле втиснулся у заднего борта, а Шуру поместил рядом с шофёром в кабину. Мы почти ничего не смогли взять из вещей, кроме белья, туалетных принадлежностей, еды и воды в дорогу. В последнюю минуту Сёма принёс мою мандолину.

Прощаться с нами пришли бабушки Хава и Шейва. Обливаясь слезами, они долго не выпускали нас из своих объятий, как будто чувствовали, что прощаются с нами навсегда.

Отъезжая от нашего дома, мы ещё долго видели рыдающих бабушек, машущих нам платками на прощание. Тогда нам ещё верилось, что мы скоро вернёмся в Красилов, в свой родительский дом.

20

В Немиров мы прибыли в воскресенье утром. Здесь жила мать Шуры и ее многочисленные родственники. Все они хорошо знали и очень любили Сёму, а меня и Полечку видели впервые. Приняли нас тепло, накормили и уговаривали выспаться с дороги, ибо выглядели мы очень уставшими, однако Сёма наотрез отказался от отдыха, ссылаясь на установленный ему срок сдачи груза и возвращения в Красилов.

Прощаясь с нами, Сёма не мог сдержать слёзы. Кажется впервые мы видели своего сильного и мужественного старшего брата в слезах. Наверное, это с ним когда-нибудь и случалось в детстве, в особо трудных ситуациях, но нам это видеть не приходилось.

Для собственного, а скорее нашего успокоения, он пообещал за нами приехать, как только, как он выразился, прогонят фрицев.

Заплакала Полечка. Может быть она тогда уже предчувствовала, что никогда больше не увидит своего любимого брата, который был для нее, как и для меня, надёжной опорой в нашем сиротском детстве.

Заголосила Шура, от слёз не удержался и я. Недоброе предчувствие овладело мною, когда Сёма в последний раз улыбнулся нам на прощание из кабины автомобиля.

В Немирове ещё не слышно было разрывов бомб, как в Красилове. Может быть потому, что не было поблизости военных объектов или крупных железнодорожных станций, а может потому, что этот небольшой городок тогда был на несколько сот километров дальше от фронта. Не видно было здесь и накрест обклеенных бумажными полосами оконных стёкол, к чему мы уже успели привыкнуть в Красилове.

Более мирный вид имели и продовольственные магазины. На полках ещё лежали все продукты и другие товары за которыми не было очередей, а хлебные отделы поражали своим обилием. На улицах ещё играли дети, а по вечерам гуляла молодёжь.

В остальном, Немиров во многом напоминал Красилов. Такой же зелёный и красивый, такое же обилие киосков, ларьков и небольших магазинчиков. Также много в нём проживало евреев, которые и здесь ещё не собирались никуда выезжать, хотя уже прошла целая неделя войны.

Родственники Шуры были очень добры и внимательны к нам. Они приносили много разной еды и сладостей. Нас познакомили с соседскими ребятами, в основном, украинскими детьми, с которыми мы быстро подружились и нашли общий язык.

Шурина мама была тихой, спокойной, но несколько странной женщиной. Ей было тогда немногим больше шестидесяти лет, но выглядела она старой, слабой и часами просиживала у репродуктора. Может ждала сводок Совинформбюро или новостей с фронта. Когда кто-нибудь выключал радио, она сильно возмущалась, утверждая, что нельзя закрывать рот человеку.

Из Шуриных родственников больше других запомнились тётя Анюта, тётя Люба и Ирина Прысич. С первых же дней они окружили нас теплом и заботой, чего нельзя сказать о Шуре. Она всё более открыто стала проявлять свою неприязнь к нам и начала искать варианты, как от нас избавиться. Причиной тому было, конечно, наше еврейское происхождение, которое могло создать опасность для нее, ее семьи и в первую очередь для Андрея. Шура скрывала от соседей, что мы евреи и не позволяла нам встречаться на улице с еврейскими детьми.

Мне она велела забыть свое еврейское имя Натан и тем более Нюня, как меня звали до сих пор дома и на улице. Натан, говорила Шура, это по украински Анатолий, Толя и только так велела меня звать. Так, с тех пор, стала называть меня не только Шура, но и её родственники, знакомые ребята. Так это имя прилипло ко мне и так стали звать меня затем в армии, институте и даже дома.

Правда, в документах своих я никогда имени не менял и всю жизнь оставался Натаном, как называли меня родители. Только один человек никогда не называл меня иначе, как Нюнечка. Это моя Полечка. Она могла либо вовсе обходиться без имени, обращаясь ко мне в Немирове на людях, либо называла меня старым именем, как и раньше, и так звала потом всю жизнь.

Внешне нас тогда ничто не отличало от украинских детей. Мы говорили на чистом украинском языке и не обладали какими-то характерными признаками, присущими только еврейским детям. Особенно была похожа на украинку Полечка. Она не только хорошо, без всякого акцента, говорила на украинском, но и всей своей внешностью и повадками смахивала на украинку. Вероятно, на ней больше, чем на мне сказалась жизнь в украинской семье и учёба с первого класса в украинской школе.

Отношение к нам Шуры с каждым днём становилось хуже и мы стали всё реже оставаться дома. Часто уходили к тёте Анюте и нередко оставались у нее ночевать. Она была примерно одного возраста с Шурой, и жила в своем доме с трехлетним сынишкой Боренькой. Ее мужа арестовали в 1937-ом году, как врага народа, так же, как арестовали в том же году нашего дядю Айзика, как были арестованы многие тысячи других, ни в чём не повинных советских людей. Она любила рассказывать нам о своём муже, Михаиле, увязывая свои рассказы с возникающими жизненными ситуациями.

Оценивая поведение Шуры по отношению к нам, она его иначе как изменой не называла. Тётя Анюта присутствовала при разговоре, когда Шура, перед отъездом Семьи из Немирова, обещала ему заботиться о Полечке, как и об Андрее, и даже фамилию ей дать свою - Ковшар. Обо мне разговора тогда не было, ибо было известно о моём решении уйти в какое-нибудь военное училище, школу или в армию, как только появится первая реальная возможность. Она знала о желании Шуры избавиться от нас любой ценой в случае прихода немцев, и считала это предательством по отношению к своему мужу, и к нам, детям.

Тётя Анюта рассказывала, как в 1937-ом году, после ареста мужа, её родственники уговаривали переехать к ним в Киев, где она могла спокойно жить и воспитывать своего, только родившегося ребёнка, не подвергаясь опасности преследования. Она не стала менять ни места жительства, ни фамилию свою, как ей советовали, хоть и подвергалась гонениям со стороны органов НКВД и местных властей, как жена «врага народа». Она не смогла получить специального образования и осталась на всю жизнь колхозницей, но память о муже берегла и с достоинством носила его фамилию.

Если, говорила тётя Анюта, Шура так боится опасности в случае прихода немцев, ей нужно эвакуироваться из Немирова с детьми, а не бросать их на произвол судьбы.

А между тем опасность прихода немцев всё нарастала. В сводках Совинформбюро стали появляться названия оставленных Красной Армией городов Украины. В начале июля наши войска оставили город Проскуров, что в тридцати километрах от Красилова.

Утром, третьего июля, наконец, объявили о предстоящем в этот день выступлении по радио Сталина. Этого давно все с нетерпением ждали. С этим связывали надежды на улучшение положения на фронте и ожидаемое контрнаступление Красной Армии. Выступления вождя все ждали и как источник информации о действительном положении в стране, о чём люди были в полном неведении, ибо из газет и радио нельзя было иметь реального представления о делах на фронте и в тылу. Люди ждали, что скажет им Сталин, ждали указаний, что следует делать и как жить дальше. С именем Сталина тогда утверждалась вера в нашу силу и могущество, оно было единственной надеждой на спасение от опасности, нависшей над страной.

В Сталине тогда ещё видели какую-то магическую силу, и ему верили, как Богу. Его обращения к народу ожидали каждый день в течении этих кошмарных первых двух недель войны. И вот, наконец, дождались...

В назначенное время мы собрались у репродуктора и застыли в тревожном ожидании.

Сталин начал своё выступление в необычном для него стиле со взволнованного заискивающего обращения к согражданам, впервые называя их братьями и сёстрами. Он в довольно мрачном тоне охарактеризовал положение на фронте и не обещал каких-нибудь быстрых и существенных изменений в ближайшее время. Больше того, он как-бы готовил народ к ещё большим потерям и новым испытаниям. Вождь признал, что стоит вопрос о жизни и смерти советского государства, предупреждал о возможности оккупации врагом западных районов страны и требовал, отступая, ничего не оставлять врагу. Всё, что возможно, должно быть вывезено, а что нельзя вывезти, следует уничтожить. Из его выступления стало ясно, что война будет долгой и трудной и что никакого контрнаступления сейчас ожидать не следует. Можно было теперь не сомневаться в том, что Немиров в ближайшее время окажется в оккупации.

Уже на следующий день после выступления Сталина началась эвакуация, точнее бегство еврейского населения из Немирова. Организованной эвакуации фактически не было. Немиров даже не имел железной дороги с нормальной колеёй. Сюда из Винницы шли минипоезда пригородного сообщения по узкоколейке и ожидать подачи эшелонов с товарными вагонами не приходилось. Бежали отсюда как могли и на чём могли. Кто на повозке с лошадью, кто на машине, кто пригородным поездом, а кто и пешком до Винницы, откуда шли эвакуопоезда на восток.

Как бы там ни было, но из Немирова бежало намного больше евреев, чем из Красилова, главным образом потому, что было ясно, что уходить нужно и на это было больше времени.

Шура теперь открыто заявляла, что нам с Полечкой нужно немедленно уходить, ибо, когда придут немцы, мы не только сами погибнем, но и ее с Андреем подвергнем опасности.

Вскоре, когда впервые над Немировым появились немецкие самолёты, и сбросили бомбы на до предела загруженную автомагистраль с машинами, движущимися на Винницу, началось массовое бегство населения. Бежали, конечно, преимущественно евреи, но были среди беженцев и украинцы, и русские, главным образом партийные и комсомольские активисты, разного уровня руководители. Начальство районного масштаба, как и в Красилове, успело вывезти свои семьи своевременно в автомобилях, другие же приспособлялись как могли.

Предприняли попытку к бегству и мы с Полечкой. Даже не предупредив Шуру и не попрощавшись с ней, мы собрали небольшую сумку с вещами первой необходимости и пошли на вокзал, намереваясь втиснуться в пригородный поезд на Винницу. Попытка наша закончилась неудачей. Мы попали под бомбёжку. Несколько бомб разорвалось и на вокзале, переполненном людьми. К счастью, нам удалось убежать невредимыми. Вернулись мы опять к тёте Анюте, где и заночевали.

Долго не мог я уснуть в ту ночь, взвешивая все возможные пути к спасению от казалась неминуемой нашей гибели, в оккупированном немцами Немирове. Было ясно, что уйти вдвоём из города нам не удастся. Бомбёжка вокзала разрушила не только полотно узкоколейки, но и последнюю нашу надежду на выезд отсюда. Пришлось отбросить также вариант пешего бегства на Винницу. Он был нереальным и опасным не только из-за бомбёжек, но и потому, что Полечке было только двенадцать лет.

Стояла сильная жара. У нас совсем не было денег, а если бы нам их и дали, то за них уже ничего купить было нельзя, так как в прифронтовой полосе торговали, в основном, путём обмена одних товаров на другие. Да и что было делать нам в Виннице? Куда и как ехать дальше? Обстановка в эти дни была непредсказуемой и менялась не по дням, а по часам. Оставаться вдвоём в Немирове было не менее опасно. Если Полечка и могла сойти за украинскую девочку, то моё еврейское происхождение, зафиксированное навечно моими родителями при моём рождении, по обряду наших предков, никак скрыть нельзя было. Я бы и сестрёнку выдал.

Хоть и страшна была сама мысль оставить Полечку одну, но я всё больше склонялся к ней, как к наиболее реальному пути её спасения.

Тётя Анюта полюбила Полечку и предлагала ей остаться у неё. Она и версию придумала, что привезла её от своей сестры из-за Буга и была уверена, что никому и в голову не взбрёт заподозрить её, двенадцатилетнюю девочку, в том, что она еврейка. Полечка с детства научилась всё делать по дому и без дела никогда не сидела. Она и в огороде работать умела, и за ребёнком присмотреть могла, и скотину накормить.

Зря хлеб она есть не будет. Тёте Анюте можно верить. Она Полечку в обиду не даст. А там, глядишь, и немца прогонят, и мы опять будем вместе. Вместе не только с Полечкой, но и со своими братьями Зюней и Сёмой.

Что с ними сейчас? От Зюни мы ещё в Красилове получили открытку, из которой узнали, что он в авиации и будет бомбить немцев до полного их уничтожения. Это было 25-го июня. Больше ни о нём, ни о семье его мы не получали никаких вестей. Сёма говорил, что в Славуту немцы вошли ещё до нашего отъезда из Красилова, и что оттуда почти никто не успел выехать.

А где теперь Сёма? Успел ли вернуться в Красилов до прихода немцев и ушёл ли оттуда?

Эти и другие мысли, набегая одна на другую, не давали спать до утра. Утром к тётке Анюте зашёл Женя Ладуба - семнадцатилетний парень, родственник Шуры по линии первого ее мужа. С ним меня познакомили в первый день нашего приезда в Немиров, и он понравился мне с первой встречи. Был он немного старше меня, высокого роста, спортивного телосложения и приятной внешности. Женя пришёл попрощаться. Завтра с колонной допризывников он уйдёт из Немирова, так как получил повестку военкомата явиться на призывной пункт для отправки в тыл. Такие повестки получили все ребята, которым исполнилось семнадцать.

Пронзила мысль попытаться уйти с Женей и я тут же поделился ею с ним. Идея ему понравилась, он тут-же взял меня с собой в военкомат, где представил майору, как своего родственника, бежавшего недавно из под Проскурова без документов. Он заверил майора в том, что мне в июне исполнилось 17. Мой рост вызвал сомнения, но майор, видимо, оценив ситуацию, которая может сложиться с парнем у которого еврейские и имя и фамилия в случае прихода в город немцев, согласился отправить меня с колонной, включив в тот же отряд, в котором был Женя.

Майор предупредил, что колонна собирается в девять часов утра во дворе военкомата и пешим маршем, отрядами по сто человек, отправляется на восток. Конечный пункт маршрута - Ворошиловград. С собой взять вещи первой необходимости, уложенные в один вещмешок, который придётся носить на плечах.

Времени оставалось мало и, поблагодарив Женю за помощь, я помчался к тётке Анюте и Полечке.

Я, конечно, представлял себе какой будет реакция сестрёнки на сообщение о мобилизации в отряд допризывников, но то, что произошло на самом деле превзошло все мои представления. С Полечкой случилась просто истерика. Её нельзя было успокоить никакими уговорами и обещаниями. Не помогла и поддержка моего плана тёткой Анютой, которая искренне считала его единственно верным в сложившейся ситуации. Выбор был прост: или мы должны были вместе погибнуть после оккупации Немирова немцами, или попытаться спастись порознь.

Тётя Анюта пообещала присмотреть за Полечкой и не давать её в обиду.

Я зашёл попрощаться с Шурой и собрать кое-какие вещи на дорогу. Она обрадовалась моему решению и пообещала устроить Полечку у своей сестры Маруси, которая работала на сахарном заводе и жила в заводском посёлке на окраине города. Там её никто не знает и ей там будет безопасно.

21

Утром, 9-го июля, колонна допризывников под марши духового оркестра уходила из Немирова. Тысячи людей по обеим сторонам улицы прощались со своими внуками, сыновьями, братьями, возлюбленными. Многие сопровождали колонну далеко за пределы города. Среди них была и моя Полечка с тёткой Анютой. Её не удалось успокоить и она проплакала всю ночь. Не было никаких сил видеть её слёзы и слышать причитания: «Не оставляй меня, Нюночка!»

Только, когда колонна свернула в сторону кукурузного поля, и все другие провожающие остались далеко позади, тётке Анюте удалось остановить рыдания сестрёнки и я вскоре потерял её из виду. Трудно описать состояние, в котором я находился в эти минуты. Несмотря на полную уверенность в своих действиях, основной целью которых было спасение моей малолетней сестрёнки, я чувствовал себя изменником, предавшим любимого и самого дорогого для меня человека. Был момент, когда я был готов убежать из колонны и вернуться в город, чтобы разделить с Полечкой предстоящие страдания. И если я всё-же не сделал этого, чем, в конечном итоге, сохранил ей и себе жизнь, то этим мы должны быть благодарны моему доброму и верному другу Жене Ладубе, который своими мудрыми доводами уберёт меня от неразумного поступка, который бы, безусловно, привёл к роковым последствиям.

Двигалась колонна в довольно быстром темпе. За день необходимо было пройти не менее 45-50 километров. Диктовалось это скоростью продвижения немецких войск на восток. Если бы ритм движения был меньшим, нас бы настигли немцы. Пройти около 50 километров в сутки в июле, под палящим солнцем, с тяжёлым вещмешком на плечах, совсем непросто. Мы должны были идти со скоростью пять километров в час, а привалы на отдых разрешались через два часа.

Когда колонна остановилась на первый привал на 15 минут, мы чувствовали себя настолько уставшими, что казалось не хватит сил подняться, когда прозвучит команда «Подъём!».

Остановились на отдых у реки, рядом с деревней. Успели искупаться, набрать колодезной холодной воды в баклажки, нарвать яблок, обменяться первыми впечатлениями. Женя был рядом со мной и в пути, и на привале и я чувствовал себя возле него как-то спокойней и надёжней.

Когда время отдыха закончилось и нужно было двигаться дальше, мы почувствовали себя отдохнувшими и готовыми к маршу.

Ко второму привалу, что назывался обеденным, и на который отводился один час, мы пришли ещё более уставшими, чем к первому. Наверное, сказывалось полуденное солнце. В зените оно жгло сильнее и от

него не было спасения. Двигаться дальше не было сил, а прошли мы всего лишь двадцать километров. Страшно было подумать, что всего их предстоит пройти более тысячи.

Остановились на окраине села, у небольшой речушки. Начальник нашего отряда, учитель физики немировской средней школы, Николай Иванович Кравчук - строгий, неразговорчивый сорокалетний мужик, получил разрешение колхозного бригадира на сбор нами огурцов, помидоров и лука на колхозном поле и получение нескольких вёдер молока на ферме, что была недалеко от места расположения отряда. Реализовать эти договорённости он поручил Жене. Ему, кроме меня, взялись помочь несколько ребят, что шагали рядом с нами в колонне. Они всё время держались вместе и обратили на себя внимание ещё на сборном пункте во дворе военкомата. Когда провожающие родители и родственники заголосили, прощаясь с ними, они запели под аккомпанемент гитары шуточную песенку «Бросьте хмуриться сурово» и своим оптимизмом успокаивали не только своих родственников, но и других провожающих. В пути, когда нарастала усталость, и сильно донимала жара, они запевали бодрые песни от которых подымалось настроение и легче шагалось.

Мы быстро собрали несколько вёдер овощей, а молодые доярки, заигрывая с нами, отдали почти весь дневной удой молока под обещание вернуть им ведра и поболтать малость. Из ближайшей хаты старушка вынесла несколько буханок свежего белого хлеба. Всего этого оказалось достаточно чтобы накормить сотню голодных молодых ребят (кое-что ещё из вещмешков достали).

За работой по сбору продуктов и обедом познакомились с нашими добровольными помощниками. Ещё на овощном поле заметили, что признанным вожаком среди них был Боря. Он был выше, сильнее и немного старше других. В январе ему исполнилось семнадцать. Когда он назвал свою фамилию Зильберштейн, меня словно током пронзило. Надо же, какое удивительное совпадение с моим другом Безей. Правда, одинаковыми у них были только фамилии и схожими имена. Во всём остальном Боря не был похож на Безю. В отличие от него он имел густую шевелюру чёрных волос, красивые черты лица (без веснушек) и картавил.

Во дворе военкомата и на марше вызвал симпатию Наум Дорфман, спокойный и скромный паренёк среднего роста, который больше играл на гитаре и пел, чем говорил. Музыка выражала его чувства и настроение лучше всяких слов. Ему в июне исполнилось семнадцать. Пожалуй, только имя его и фамилия указывали на его еврейское происхождение.

Наум всегда держался рядом с Иосифом - сильным и здоровым парнем выше среднего роста, запевалой в строю. У него был приятный баритон, который завлекал всех песней и придавал ей хорошее звучание. Иосиф дружил с Наумом с первого класса и основой их дружбы была музыка, которую они одинаково любили. Семнадцать Иосифу исполнилось в мае. Его фамилия Богуславский, как и имя и внешность не выдавали в нём еврея, но акцент был типично еврейский.

Ещё на первом привале мы заметили в центре хохочущей компании невысокого, щупленького мальчишку, который в течение всего отведенного для отдыха времени травил анекдоты, чем доставлял удовольствие окружающим. Им оказался Миша Гольдштейн. Как потом выяснилось, запас анекдотов у него был неиссякаемым, а скорее всего большинство из них он на ходу придумывал или подгонял к месту и обстановке так, что от смеха не мог устоять никто. По виду ему нельзя было дать семнадцать, а по документам значилось, что родился в июле 1924-го года.

На марше, в перерывах между песнями, затевались политические дискуссии о причинах успехов немецкой армии, возможности реставрации капитализма в Советском Союзе и другим актуальным в то время вопросам. На все эти и многие другие вопросы горячо, аргументированно и довольно убедительно отвечал Рома Бройтман - высокий и стройный парень с вьющейся рыжеватой причёской и красивыми голубыми глазами. Он был убеждённым антифашистом, не допускал «поворота истории в обратную сторону» и нисколько не сомневался в том, что в ближайшее время немцы будут изгнаны с советской земли. Свои убеждения он подкреплял философскими и историческими доводами, математическими расчетами, чем препирал к стенке своих оппонентов и выходил победителем во всех таких диспутах.

В этой приятной компании мы с аппетитом пообедали и не заметили как пробежало отведенное на отдых время. С этого привала и началась дружба «неразлучной семёрки», как прозвали нас вскоре в отряде. Мы действительно были неразлучны и в походе, и в труде, и на отдыхе. Взаимопомощь и взаимовыручка друзей облегчали трудную походную жизнь, разгоняли печаль, подымали настроение и вселяли уверенность в возможность выжить в этой трудной, непредсказуемой жизни.

Первый день большого пути на восток был особенно трудным. Потому ли, что он был первым и мы ещё не привыкли к походным условиям, потому ли что он был необычно жарким, даже для июля, а может быть потому, что свежи ещё были в памяти минуты прощания с родными и близкими, ещё звучали в ушах их рыдания, стояли в глазах их слёзы.

Во избежание больших потерь при бомбёжках и обстрелах, маршрут колонны предусматривал движение в обход больших городов и даже райцентров. Мы шли на восток по степной местности, вблизи небольших рек и озёр, а привалы и ночёвки устраивали, как правило, возле колхозов и совхозов.

Июль стоял в том году жаркий и каждый следующий день казался горячее предыдущего. С каждым днём преодолевать нужное расстояние и заданный ритм движения становилось всё труднее. Николай Иванович, начальник нашего отряда, пытался убедить командира колонны капитана Колесникова сократить длину дневных маршей хотя бы на десять километров, но тот наотрез отказался, ссылаясь на приказ военкома и опасность быть настигнутыми немецкими войсками. Выбор оставался один: либо мы найдём в себе силы уходить в тыл в заданном ритме, либо окажемся на оккупированной территории. Единственное на что согласился капитан, это изменить расписание режима ходьбы и отдыха. Нас теперь подымали в пять часов утра, и мы могли до полуденной жары пройти около тридцати километров, затем мы имели трёхчасовой отдых, а когда солнце начинало садиться, мы шли ещё несколько часов до завершения заданного маршрута.

Вначале казалось, что такой режим лучше, но со временем мы убедились, что и от него радости мало. Трудно было подыматься в пять утра и ещё труднее было продолжать маршрут после обеда.

Всё больше проблем было с питанием. Прокормить тысячу молодых парней - задача не из лёгких. Если молока и овощей можно было раздобыть в колхозах и совхозах, а в хлебе нам не отказывали женщины украинских сёл и деревень, то сваренной пищи и мяса мы почти не видели. Были такие дни, что и хлеба не хватало.

Часто над нами пролетали немецкие самолёты. Слышны были разрывы сброшенных ими поблизости бомб. Бомбили вокзалы, заводы, склады, дороги и просто скопления людей.

Как ни старались мы двигаться скрытно, используя для укрытия леса, лощины и избегая больших дорог, немцы всё-же заметили колонну. Уже на третий день маршрута мы впервые подверглись бомбёжке. Немецкий бомбардировщик, покружив над нами и подобрав мишени, сбросил несколько бомб. Хотя мы и рассредоточились по команде «Воздух» и как могли прижались к земле, оберегаясь от осколков, несколько ребят получили ранения, а двоих, из соседнего отряда пришлось оставить в медпункте ближайшего колхоза для отправки в больницу. Их раны оказались тяжёлыми и оставаться в колонне они не могли.

Когда немецкие истребители безнаказанно пролетали над нами, а в небе мы ещё ни разу не видели советских самолётов, невольно возникал вопрос: где же наши военно-воздушные силы, которые летают выше, дальше и быстрее всех?

После первой бомбёжки, Боря и Женя раздобыли в каком-то колхозе несколько лопат и раздали их нам для окапывания на случай очередных налётов. Хотя мы и обрезаем им черенки, лопаты прибавили вес к нашей амуниции и мы это не могли не почувствовать на марше, но зато высоко оценили их пользу при следующем налёте. Пока самолёты разворачивались, мы успели выкопать себе укрытие, что спасло нас от осколков и пуль при бомбёжке и обстреле.

С каждым днём увеличивались наши потери. Приходилось оставлять раненых и больных у местных жителей, в сельских медпунктах для оказания помощи и отправки в тыл. Больных было больше чем раненых. У некоторых опухли ноги и они не могли дальше двигаться, у других проявились различные заболевания желудка и внутренних органов, а кое-кто и симулировал болезнь, чтобы остаться и избежать изнурительной и опасной дороги в неизвестность.

Нередкими стали и побег. Бежали в намерении вернуться домой, а некоторые убегали в сёла, где рассчитывали на приют у местных жителей. Нужно сказать, что не было ни одного случая бегства среди еврейских ребят. Они понимали, что им некуда бежать. Даже в случаях ранений и болезней, они отказывались оставаться в украинских сёлах и просили оставить их в отряде. Им оказывали возможную помощь, перевязывали раны, кормили таблетками и они двигались дальше, преодолевая боль и страдания.

После первой недели марша в нашем отряде осталось только семьдесят ребят из ста. В других отрядах потери были не меньшими.

Наша семёрка пока сохранилась в прежнем составе. Как и другие, мы страдали от жары, усталости и голода, но преодолевали эти и другие беды как-то легче других. У Жени Ладубо и Миши Гольдштейна были котелки и мы в них кипятили воду, а когда удавалось раздобыть картошку или какую-нибудь крупу, варили на всех обед или ужин. Случалось иногда и рыбу поймать на самодельную удочку и тогда наш стол был просто праздничным. Приспособились варить сахарную свеклу. Она хоть и была ещё неспелой и небольшой по размеру, но казалась нам очень вкусной.

Признанным лидером в нашей группе был, конечно, Боря и его советы и предложения принимались нами, как руководство к действию. Его первым помощником был Женя Ладубо, с мнением которого Боря очень считался. Они заботились о питании и отдыхе всей группы, оберегали нас от опасностей, создавали оптимистический настрой. Несмотря на то, что мы не упускали случая окунуться в любой речушке, спасаясь от жары, Боря устраивал походную баню не реже одного раза в неделю, разогревая воду на костре в ведрах

от молока. Запас мыла ещё сохранился с Немирова. Тогда же устраивались и примитивные постирушки белья.

Каждый из нас старался чем-нибудь помочь Боре и Жене. Нередко по вечерам мы уходили в рейд по копке картошки, свеклы или сбору овощей и фруктов.

Николай Иванович приводил всем в пример нашу группу и наш опыт стали распространять и в нашем и в других отрядах.

Как не уставали мы к вечеру, а перед сном всё-же находили время отвести душу за песней, анекдотом или непринуждённой беседой на разные темы. И тут уже в полной мере проявлялись музыкальные способности Наума и Иосифа, раскрывались талант Миши повеселить компанию острым анекдотом и познания Ромы в истории, общественном знании или диалектическом материализме.

Приходилось и мне не раз рассказывать о событиях в мире, используя сравнительно свежие газеты, которые Женя доставал у местных жителей или в колхозных ленкомнатах. Зная эрудицию Ромы Бройтмана и его способности к проведению диспутов на политическую тематику, я не сразу решился на это, но, когда об этом попросил Женя, я согласился и мои рассказы пришлись по вкусу ребятам. Оказалось, что Рома незаменим в диспутах, когда нужно что-то доказывать или о чём-то поспорить, а проводить беседы не в его вкусе.

Очень меня беспокоила моя астма. Я, конечно, не признался в своей болезни, когда уговаривал с Женей майора в военкомате включить меня в список допризывников, отправляемых в тыл. Я боялся, что простужусь и мой хронический недуг свалит меня, исключив возможность оставаться в отряде. За прошедшие дни уже было несколько случаев, которые раньше вполне могли спровоцировать простуду, а значит и приступ астмы, но, слава Богу, всё обошлось благополучно. Я потом часто удивлялся тому, что даже в худших условиях нашего месячного марша на восток, я не стал более восприимчивым к простуде и моя астма не напоминала о себе.

По дням, проведенным на марше, можно было легко сосчитать, как далеко мы ушли на восток. Для этого следовало умножить количество дней на сорок пять, В среднем мы столько километров в день проходили пешком. Шли мы по правобережью Украины по полям и сёлам Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей, а вслед за нами шли немцы. Вернее, они не шли, а двигались на автомобилях, мотоциклах, танках, самоходных орудиях и других транспортных средствах. Двигались по земле, воздуху и воде. И казалось тогда, что нет такой силы, которая могла бы остановить их движение на восток.

Николай Иванович говорил, что если немцы нас не догонят до Днепра, то можно будет считать, что мы спасены, ибо за Днепр их не пустят. Он всё призывал нас потерпеть ещё немного, ещё несколько дней и найти в себе силы добраться до этой спасительной водной преграды. А сил этих становилось всё меньше. На их восстановление требовался отдых и достаточное питание, а у нас не хватало ни того, ни другого. Мы теперь уже не могли идти со скоростью пять километров в час, а при меньшей скорости необходимо было больше времени быть в пути и меньше часов оставалось для отдыха. С питанием положение тоже не улучшалось. Были дни, когда мы просто голодали.

Когда уже казалось, что мы вот-вот достигнем Днепра, а значит сможем считать, что главная опасность миновала, нас вновь настигли немецкие самолёты. Они, вероятно, приняли нас за воинскую часть, так как бомбили и обстреливали очень усердно и методично. В этой бомбёжке мы в должной мере оценили Борину и Женину заботу о нас. Добытые ими лопаты позволили нам быстро окопаться, что спасло нас от поражения осколками бомб и, возможно, сохранило нам жизнь. Боря и Женя выбрали наиболее безопасные места для устройства укрытий и присматривали за нами во время налёта. Пока самолёты вновь заходили на цель для очередной атаки, они окликали каждого из нас, чтобы убедиться в том, что мы невредимы. Всю важность их заботы мы поняли только после налёта, когда подсчитывали убитых и раненых. Только в нашем отряде двое погибли и пятеро ребят ранило, а всего в десяти отрядах в той бомбёжке погибло двадцать пять ребят. Большинство из них евреи.

По мере того, как нееврейские ребята всё в большем количестве убегали из колонны, возвращаясь домой или оставаясь на оккупированной территории, процент евреев среди нас всё возрастал и уже превышал половину всего состава.

Убитых похоронили в ближайшем селе в присутствии всех наших ребят и местных жителей. Устроили братскую могилу. На похоронах выступил начальник колонны капитан Колесников, командиры отрядов, в том числе Николай Иванович, друзья погибших. Установили деревянный обелиск с именами погибших и годами их рождения и смерти. Они были у всех одинаковые: 1924 - 1941.

По мере приближения к заветной цели - Днепру, воздушные налёты стали более частыми, а наше продвижение на восток более медленным и трудным. Нас теперь бомбили и обстреливали по несколько раз в день. Всё сложнее было находить укрытия и маскироваться. К Днепру двигался сплошной поток беженцев на

машинах, телегах, пешком. Навстречу им шли войска, главным образом пехота. Изредка встречались наши танки.

Под Днепропетровском мы впервые стали свидетелями воздушного боя. Несколько наших истребителей атаковали немецкие бомбардировщики, сопровождаемые «мессершмитами». Радовались, когда увидели первый горящий и падающий истребитель со свастикой на крыльях. Вскоре загорелся и второй немецкий самолёт, но превосходство немцев в количестве и тактике ведения боя чувствовалось, и уже два наших горящих истребителя камнем летели вниз, а армада бомбировщиков продолжила свой путь на Днепропетровск.

Пронзила тревожная мысль о Зюне. Что с ним теперь? В той последней своей открытке он обещал бомбить немцев до полного их уничтожения. Не мог, наверное, он тогда представить себе какая сила двигалась на нас, не понимал, видимо, какое реальное соотношение сил складывалось в начале войны.

Гул немецких самолётов над нами почти не прекращался. Если даже мы их не видели, то чувствовали, что они где-то рядом. Движение колонны к Днепру часто прерывалось командой «Воздух» и поисками хоть какого-нибудь укрытия от бомб и пулёмётных очередей. Почти каждый налёт приносил новые жертвы.

Женя обладал редким чутьём находить для нас убежища и, наверное, ему мы должны быть благодарны, что до сих пор никто из нас не пострадал при налётах. Даже Боря, обладавший не меньшими организаторскими способностями и отличавшийся редкой находчивостью и смекалкой, в этой сфере деятельности отдавал предпочтение Жене и требовал от нас беспрекословного ему подчинения.

Сейчас, когда земля была изрыта воронками от бомб, Женя старался использовать их для укрытия. Он утверждал, что по теории вероятности, бомбы не должны падать в одну и ту же точку. Может быть он был прав, а может это была чистая случайность, что укрываясь в воронках, мы все выходили после налётов невредимыми. По крайней мере, мы были рады, когда находили воронки при налётах и отдавали им предпочтение перед другими наличными возможностями укрыться. Когда же воронок не было, Женя и Боря находили другие способы уберечь нас от пуль и осколков. Использовались рельеф местности, окапывание, различные постройки, деревья и другое. Да мы и сами приобрели некоторый опыт укрытия и старались его максимально использовать.

Ежедневные налёты не позволяли колонне двигаться на восток с заданной скоростью и капитан Колесников решил использовать для движения ночное время. Нас теперь подымали в три часа ночи и до семи утра мы успевали пройти около двадцати километров. Ночью и самолёты, как правило, не летали, солнце не жгло, меньше по пути попадались беженцы и воинские части. Очень трудно было подыматься и идти ночью, но стремление скорее преодолеть самый трудный и опасный участок пути, придавало нам силы, и мы стали вновь двигаться со скоростью сорок пять километров в сутки. Днём отдыхали где-нибудь в лесу, ложине или в поле, а вечером опять шли до девяти-десяти часов, пока не выполняли необходимую норму.

Теперь чаще слышны были залпы наших зенитных орудий, пытающихся преградить путь немецким самолётам. По мере приближения к Днепру, на подступах к Днепропетровску и вдоль реки, тысячи людей рыли противотанковые рвы. В основном работали женщины. Были и подростки и пожилые мужчины. Работали лопатами, под палящим июльским солнцем. У одной такой стройки мы стали свидетелями налёта немецких самолётов. Бомбили и обстреливали беспомощных, безоружных людей, которым и укрыться в чистом поле негде было. Колонна наша залегла в некотором отдалении от рвов и от того налёта мы не пострадали, а среди людей на этой стройке было много жертв. Мы видели, как раненых и убитых погружали в машины скорой помощи и укладывали на телеги для отправки в город.

В этот день, 22-го июля, поздно вечером, мы, наконец, вышли к Днепру севернее Днепропетровска. Как мы вскоре узнали, в этот же день немецкие войска вошли в Немиров - в родной город сотен подростков нашей колонны, которые вот уже две недели совершали свой изнурительный марш, спасаясь от немецкой оккупации, чтобы встать на защиту своей земли и очистить её от фашистских агрессоров. С этого дня Немиров начал отсчёт 960 дней немецкой оккупации, лишившей жизни нескольких тысяч его жителей и в первую очередь всего оставшегося там еврейского населения - родных и близких этих ребят, идущих на восток навстречу новым опасностям и испытаниям.

24

Паром доставил нас на восточный берег Днепра без особых приключений. Глубокой ночью мы высадились в лесном массиве и получили право на суточный отдых. Усталость достигла предела. Мы не думали ни о чём другом, только о возможности лечь и уснуть. Большинство ребят так и свалились наземь, не заботясь ни о каких удобствах.

Боря заметил несколько стожков сена на берегу и наша семёрка соорудила себе удобную постель под кроной огромного дуба, на опушке леса. Была тихая и тёплая ночь, какие нередко бывают здесь в середине лета. Даже гула немецких самолётов не было слышно. Мы проспали беспребудно до полудня. Спали, как когда-то в далёком мирном детстве после футбольных баталий или трудного турпохода. Верно

говорят о «сладком» сне. Таким и был этот сон для нас на безопасном, как нам тогда казалось, восточном берегу Днепра.

Капитан Колесников успел позаботиться о продуктах, которые нам завезли на телеге из ближайшего колхоза. Кроме молока, хлеба и овощей, на этот раз привезли свежей говядины. Растроганный сочувствием председатель пожертвовал молодого бычка. «Хай идят хлопци» - заявил он своему завхозу. Давно не было у нас такого вкусного и сытного обеда.

Во второй половине дня было собрание. Капитан Колесников подвёл итоги первой половины марша. Они были довольно грустными. За Днепром остались могилы погибших при бомбёжках и обстрелах. Многих больных и раненых пришлось оставить в сельских медпунктах и у местных жителей. Все они были названы поимённо. Командир колонны признал факты бегства, имевшие место во всех отрядах, но имён бежавших не назвал. В итоге нас стало вдвое меньше и из десяти отрядов укомплектовали пять. Николай Иванович принял пополнение и в отряде вновь стало сто ребят.

По нашему примеру в отряде образовалось несколько небольших групп, в каждой из которых было до десяти человек, которые держались сообща, вместе готовили еду, шли рядом в походе и вместе отдыхали. Как и у нас, в каждой группе были свои лидеры. Николай Иванович одобрял создание «звеньев дружбы», как он называл неофициальные подразделения отряда.

Это способствовало укреплению дисциплины и порядка, облегчало заготовку продуктов, организацию питания и отдыха, подымало моральный дух ребят.

Наша семёрка, однако, заметно отличалась от других дружин. Наша дружба была более крепкой, тёплой, верной. Положительные особенности наших лидеров Бори и Жени, а также каждого из нас в отдельности как бы суммировались и образовали общий характер коллектива, в котором отсутствовали эгоизм, зависть, жадность. Эти и другие отрицательные качества, которые в большей или меньшей степени обычно присутствуют в каждом из нас, были вытеснены чувством коллективизма, заботой об общем благополучии, уважением друг к другу. Наша дружба была поистине братской.

Нередко вокруг нас собирались другие группы ребят и мы становились центром общения всего отряда.

Вот и сегодня, когда впервые за последние две недели не нужно было отмерять привычные 50-60 тысяч шагов в день, и все 24 часа отданы только отдыху, весь отряд собрался под развесистым дубом и до поздней ночи звучали душевные и мелодичные песни под аккомпанемент нашего неутомимого гитариста Наума Дорфмана и под управлением запевалы и дирижёра Иосифа Богуславского. Звучали песни здорово и на звуки музыки пришли девчата из соседнего села. Откуда-то взялась гармошка, и Наум предстал перед нами в качестве прекрасного гармониста. Закружились пары в ритме вальса, танцевали задорную польку, плясали украинский гопак. И опять пели. Этот импровизированный концерт под открытым летним небом пришёлся всем по душе и чем-то напомнил уже забытые мирные дни. Было далеко за полночь, когда Николай Иванович был вынужден прервать наше веселье. Утром снова в путь...

25

Дорога на Ворошиловоград проходила по Полтавской, Харьковской, Сумской и Ворошиловоградской областям левобережной Украины. Как и раньше, наш путь пролегал по сельской местности. Теперь мы избегали крупных городов, областных и районных центров уже не столько из-за опасности бомбёжек, а главным образом из-за трудностей с обеспечением питания и ночлега. В сельской местности, в колхозах и совхозах всё это решалось проще и лучше.

Проходя, к примеру, по сёлам Полтавщины, мы часто могли пополнить свои продовольственные запасы фруктами и овощами, хлебом и молочными продуктами, а нередко и кусок варёной говядины, свинины или кольцо колбасы предлагались нам.

Дородные селянки-украинки с присущим полтавским акцентом, отличающимся особо твёрдым произношением буквы «Л», предлагали: «Возьми́ть молоко, хлопци!».

С питанием дело здесь обстояло лучше, чем в правобережной Украине. И вообще наш марш по восточным областям проходил легче и намного спокойней. Налёты немецких самолётов на нашу колонну почти полностью прекратились. Несколько раз в Приднепровьи нас ещё бомбили и обстреливали, а когда мы отошли от Днепра на несколько десятков километров, налёты прекратились.

Здесь во всём ещё чувствовался тыл. Состояние войны можно было заметить по идущим навстречу войскам, отсутствию мужского населения на полях и фермах, и часто звучащей по радио песне «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!». В движущихся на запад войсках заметно было большее чем раньше количество танков, артиллерии и автомобилей.

В воздухе по-прежнему хозяйничала немецкая авиация. Многочисленные группы бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями, летели на восток в направлении Харькова, Сталино (ныне Донецк), Ворошиловограда (теперь Луганск) и железнодорожных узлов Донбаса и юго-восточной

Украины. Чувствовалось, что их не беспокоила возможность появления в небе советских самолётов или ожидание заградительного огня зенитной артиллерии.

Ритм нашего движения на восток выдерживался прежний - 45 километров в сутки. Капитан Колесников утверждал, что колонна должна прибыть в установленный срок. Теперь мы такое расстояние преодолевали легче. Может быть потому, что нас больше не бомбили, возможно привыкли, может жара немного спала и наши вещмешки полегчали, но ноги наши уже не распухали, как раньше, меньше возникало болезней и совсем прекратилось бегство из колонны.

На том вечере отдыха на восточном берегу Днепра, девчата, прощаясь с нами, подарили Науму Дорфману гармошку. Он часто теперь наигрывал в пути знакомые марши, под которые легче шагало и сопровождал походным песням, которые запевал Иосиф Богуславский. Всё это создавало оптимистический настрой. Этому также способствовали лучшие, чем раньше, условия питания и отдыха, а также отсутствие прямой опасности погибнуть при очередном налёте немецких самолётов.

Ночевали, как и раньше, на свежем воздухе, а перед сном пели песни, говорили о войне и слушали разные истории. В дождливые ночи устраивались на сене в амбарах, сараях или в пустующих летом школьных классах.

Всех очень беспокоило положение на фронте, но из газет, которые мы ежедневно выпрашивали у местных жителей и по радио, которое обычно слушали перед сном, мало что можно было узнать. Сводки Совинформбюро были по-прежнему сухими и лаконичными. Единственное, что давало какое-то представление о местах главных сражений, были названия направлений ударов немецких войск. Ребята настойчиво просили меня подготовить информацию об основных событиях в нашей стране и в мире. Я тщательно к ней готовился, прочитал газеты за последнюю неделю, прослушал несколько вечерних радиопередач с обзорами радиокомментаторов и журналистов, и сделал получасовую политинформацию.

Мне хотелось хоть чем-то порадовать ребят, измученных многодневным изнурительным маршем, потерявших родных своих, близких и друзей. Я говорил им о том, что планы Гитлера на блицкриг лопнули, что продвижение немецких войск на восток замедлилось, что на пути к Москве немцы встречают всё более сильное сопротивление и несут большие потери. Ребята с интересом и надеждой слушали о героической обороне Брестской крепости, длившейся около месяца, о боях с танками на Буйническом поле под Могилёвом и стойкой защите этого белорусского города, об обороне Одессы, Киева, Ленинграда, Смоленска, о помощи союзников и отгрузках в Советский Союз большого количества американской военной техники и продовольствия.

Беседа подняла настроение у ребят, вселила оптимизм и веру в возможность остановить врага.

День за днём сокращалось расстояние до Ворошиловограда и, наконец, четвёртого августа, к исходу дня, колонна остановилась на последний ночлег у небольшой речушки, в пригородном колхозе, на окраине этого заветного города - конечной цели нашего марша.

Капитан Колесников распорядился привести себя в порядок, искупаться, постирать белье и одежду и быть готовыми к маршу в центр города, где расположен облвоенкомат. Все эти приготовления мы делали в приподнятом настроении, как будто готовились к большому празднику.

Ребята накопили молодой картошки, собрали различных овощей на колхозном огороде, раздобыли ещё тёплого молока вечернего надоя, а женщины-колхозницы и молодые девчата принесли всякой домашней снеди: яиц, мяса, солёных огурцов.

Николай Иванович подал идею собрать сухих веток на опушке соснового леса и разжечь костёр. Все охотно поддержали это предложение. После необычно вкусного ужина у костра зазвучала песня под гармошку и гитару. К мужским голосам приобщились женские и мы только теперь осознали чего не хватало до сих пор нашему хору. Откуда-то появился бубен и закружили пары в танце. Звучали вальсы и танго, плясали польку, гопак и цыганочку. Куда только делась усталость, на которую многие жаловались и от которой изнемогали все. Песням и танцам не было конца и только вмешательство капитана Колесникова заставило к полуночи потушить костёр и распрощаться с девчатами.

Долго ещё мы не могли уснуть в тот вечер, перебирая в своей памяти этапы тысячекилометрового марша по Украине с запада на самый дальний её восток, которому, казалось, не будет конца и до конечного пункта которого дошла только половина его участников.

Вспоминали погибших, оставленных по пути больных и раненых, своих родных и любимых, сражающихся сейчас с жестоким врагом и тех, кто томится теперь на оккупированной фашистами земле.

Мучили мысли о будущем. Что нас ждало теперь?

26

По улицам Ворошиловограда прошли строем. Всё здесь показалось необычным. И шум трамвая на центральных улицах, и очереди у продовольственных магазинов, и обилие городского транспорта, и множество людей, идущих поутру на заводы и фабрики. Город показался нам большим, зелёным и красивым.

Колонна наша большого удивления у жителей не вызвала. Наверное, здесь это было не в редкость, когда по городу куда-то строим вели молодых людей.

Зато, в облвоенкомате, куда мы вскоре прибыли, наше появление вызвало большое оживление. Как только капитан Колесников доложил о нашем прибытии, к нам во двор пришёл полковник в сопровождении целой свиты офицеров. Николай Иванович шепнул нам, что пришёл сам военком.

Полковник обратился ко всем со взволнованной речью, назвав наш тысячекилометровый марш с прифронтовой полосы ратным подвигом, который Родина не забудет. Он поблагодарил нас за мужество, стойкость, выдержку, назвал имена погибших и закончил свою речь словами: «Вечная слава павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками!»

Нам было объявлено, что мы направляемся на несколько дней (до особого распоряжения) в пригородный совхоз «Родина» на отдых и уборку урожая.

Капитан Колесников отдал команду строиться, и колонна, в сопровождении выделенного нам старшего лейтенанта, сотрудника облвоенкомата, отправилась по новому назначению. Это был самый короткий дневной марш за последние четыре недели.

К обеду мы прибыли к административному зданию совхоза, где нас встретил директор - пожилой уже человек, высокого роста с трубкой во рту, которую он, казалось, никогда оттуда и не вынимал. Он предложил устроиться в расположенной напротив школе, где мы сможем привести себя в порядок и отдохнуть до завтра. Кормить нас будут в совхозной столовой, что рядом со школой. В совхозе сейчас горячая пора - сбор урожая.

Устраивались в классах по отрядам. Нашему отвели четыре классные комнаты. Мы вынесли парты и устлали пол свежим сеном. Обедали тоже по отрядам. Впервые за последний месяц ели за сервированными столами. Молодые девчата в белых передничках подали горячий украинский борщ с мясом, гречневую кашу с котлетой и по чашке холодного молока, а на столе был свежий, ещё тёплый, белый хлеб, который можно было есть вволю. Всё это показалось нам роскошным и необыкновенно вкусным.

После обеда погуляли по безлюдному совхозному посёлку. Все его жители были в поле. В совхозном саду набрали спелых вкусных яблок и, по предложению Николая Ивановича, устроили себе послеобеденный отдых. Когда ещё в обозримом будущем нам выпадет такая возможность? Сладко спалось на свежем сене и чистом воздухе после сытного обеда. Не зря говорят, что дневной сон вкуснее ночного. Проснулись к вечеру, когда уже спала дневная жара и садилось солнце.

В столовой нас кормили горячими оладьями со сметаной и молоком. Всего этого можно было есть сколько угодно.

А вечером были песни и танцы во дворе нашей школы. Пришло много девчат не только из совхозного посёлка, но и из соседних сёл. Науму и Иосифу в тот вечер отдыхать не пришлось. В их музыке и песнях была большая потребность. Видно не часто теперь местным женщинам и девушкам представлялась возможность отвести душу за песней и танцами. И они пели и танцевали с охотой под гармошку, бубен и гитару.

Небольшие паузы между танцами умело заполнял Миша Гольдштейн. Его шутки и анекдоты пришлись всем по вкусу, и вокруг него без устали хохотали любители юмора. До позднего вечера длилось веселье, пока наше начальство не объявило отход ко сну.

Давно так сладко не спалось, как в эту ночь, под школьной крышей, с открытыми окнами, на пахучем сене и без тревог и забот о завтрашнем дне.

Поднялись на рассвете и без завтрака отправились в поле. Здесь на уборке урожая работу начинают с восходом солнца и заканчивают, когда начинает темнеть. Хотя и непривычными для большинства из нас были полевые работы, но трудились мы усердно и заслужили похвалу директора совхоза. На поле работали, в основном, женщины и в мужской силе была большая потребность. С обеда нашу семёрку и ещё несколько ребят забрали на скотный двор, где мы убрали навоз и ремонтировали стойла. Поработали от души и к вечеру наработали себе с непривычки мозоли.

Обедали в поле, где были оборудованы длинные столы со скамейками. Из столовой привезли котлы с горячим борщом, кашей и очень вкусной крестьянской колбасой. Запивали холодным хлебным квасом. Всё было очень вкусно на свежем воздухе и после напряжённой работы.

А вечером опять играла музыка и звучали песни. Иосиф был рад возможности проявить свой дирижёрский талант и сводный хор, усиленный звонкими женскими голосами, звучал теперь эмоционально и мощно. В ритме вальса кружились пары, плясали задорные украинские танцы. Хотелось, чтобы время тянулось как можно дольше, но капитан Колесников был, как всегда, начеку...

Буквально на второй - третий день стали создаваться пары, которые не скрывали своих симпатий друг к другу. Они вместе пели, танцевали, гуляли. Ребята провожали девчат по домам.

Процесс знакомства, который в мирное время длится, обычно, довольно долго, теперь заметно сокращался во времени. Все понимали, что наше общение недолговечно и может закончиться в любой следующий день.

Так оно и произошло, когда девятого августа, ровно через месяц после нашего выхода из Немирова, нам объявили об отправке в район Запорожья на строительство оборонительных сооружений вдоль правого берега Днепра.

В этот день мы прощались с полюбившейся нам мирной беззаботной жизнью, с приютившим нас совхозом «Родина», со школой, ставшей нашим домом и кровом, с милыми сельскими девушками. Жаль было со всем этим расставаться, тем более, что все это длилось всего одну неделю.

Завтра поезд умчит нас опять на запад, в прифронтовую полосу, навстречу новым, непредсказуемым ужасам войны.

27

Состав «Ворошиловград-Запорожье», состоящий из десяти крытых товарных вагонов, оборудованных нарами, шёл на запад со скоростью пассажирского поезда. Сопровождавший колонну капитан из облвоенкомата получил задачу обеспечивать продвижение поезда с максимальной скоростью. Если не считать нескольких случаев двух-трёх часовой задержки поезда из-за бомбёжки узловых станций немецкими самолётами, то можно сказать, что капитан свою задачу выполнял чётко. Ему удавалось быстро убеждать железнодорожное начальство по пути следования, что нашему эшелону нужно отдавать предпочтение перед другими товарными и даже пассажирскими составами. В итоге наш поезд прошёл расстояние от восточной окраины Украины до Днепра, которое мы недавно с трудом преодолели в марше за две недели, всего за одни сутки.

На дорогу нам выдали сухой паёк по солдатским нормам, на станциях мы заполняли свои баклажки кипятком и поэтому никаких проблем с питанием не имели. Наш маршрут по всей восточной Украине можно было сравнить с турпоездкой по железной дороге. Отличие было разве только в том, что несколько раз поезд останавливался по причине бомбёжки ближайших станций, часто над нами назойливо гудели немецкие самолёты, плацкарты наши не обеспечивались постельным бельём и не было проводников, которые обычно разносили чай в тонких стаканах с подстаканниками.

Однако, всё, как говорят, познаётся в сравнении. И, если сравнивать этот марш на запад с нашим недавним 25 дневным пешим маршем на восток, то эту поездку иначе как туристической назвать было нельзя. В самом деле, как иначе можно назвать поездку поездом по Украине в начале августа без боя бомб и свиста пуль над головой, когда не нужно заниматься поиском еды и воды, когда ноги не пухнут от непомерной нагрузки, а весь ты не валяешься с ног от смертельной усталости?

Как бы там ни было, но прибыли мы на конечный пункт без проблем и, не заходя в Запорожье, отправились пешей колонной до местечка Гуляй-Поле, вблизи которого и строились оборонительные сооружения на которых нам предстояло трудиться.

Сооружения эти представляли собой противотанковые рвы четырехметровой глубины, предназначенные для защиты от немецких танков, движущихся к Днепру.

С нами провели инструктаж по технике безопасности, а также режиму труда и отдыха. Жить предстояло в молодом лесочке между стройкой и Днепром. Рабочий день не ограничен во времени. Каждый должен за день выкинуть или вывезти из рва шесть кубометров грунта. Инструмент: лопаты и ломы. Транспортные средства - одноколёсные ручные тележки. Кормить нас обещали два раза в день - в восемь утра и в два часа дня. На ужин мы должны были сами раздобыть картофель, овощи и фрукты из колхозного поля, огорода или сада.

На обустройство отвели день прибытия. Этого времени нашей семье только и хватило на сооружение шалаша, копку картошки и сбор арбузов и дынь на колхозной бахче. Из веток, соломы и сена соорудили нары.

Кроме нас, допризывников, на стройке работали тысячи людей из Запорожья и ближайших населённых пунктов. Нам отвели новый участок строительства длиной в несколько километров. Капитан Колесников, который пока оставался руководителем колонны, поделил этот участок между пятью отрядами, каждому из которых предстояло вырыть траншею длиной примерно два километра.

Осмотрев уже готовый к сдаче ров, неподалеку от нашего участка, и изучив опыт работы наших соседей, мы поняли, что выбросить из траншеи шесть кубометров грунта в день - задача не из лёгких. На её выполнение многим восьмичасового дня не хватало и они работали до позднего вечера, стараясь завершить дневное задание.

На состоявшейся после вечернего чая «летучке», Боря высказал свои соображения по организации работы и технике безопасности. В частности, он предложил работать сообща, бригадой, и вместе обеспечивать выполнение нормы на семь человек. Боря утверждал, что 42 кубометра на семерых выбросить легче, чем 6 кубометров на одного. Как потом оказалось, он был абсолютно прав. Я бы никогда не выбросил сам 6 кубометров глинистой массы под палящим летним солнцем. А вместе, при оптимальном распределении работ между членами бригады и надлежащей организации труда, мы, хоть и с трудом, но всё же успевали выполнять свою норму в 8-9 часовой рабочий день.

По предложению Жени мы начинали работу в 5 часов утра и до полуденной жары успевали выполнить основную часть дневного задания. После обеда, когда солнце ещё стояло в зените, мы делали 2-х часовой отдых, а когда солнце садилось, заканчивали работу.

Уже с первых дней нашу группу ставили в пример многим, которые, хоть и старались, но выполнить положенный объём работы не могли.

Хоть Боря и предупреждал нас беречь себя от мозолей и солнечных ожогов, мы всё-же заработали себе волдыри и изрядно подгорели на солнце.

Первая неделя прошла в напряженном ритме и мы очень устали от тяжёлого физического труда и рутинного образа жизни. Выходных дней на стройке не было. Питание было скудным, однообразным и мало калорийным. На завтрак готовили кашу и чай, а на обед - щи и кашу. Хлеба выдавали по 600 граммов в день, что при отсутствии мяса и недостатке жиров было явно мало.

Начиная с 20-го августа, начались налёты немецких самолётов. В начале они были разведочными и бомбёжке мы не подвергались, а затем нас стали обстреливать и бомбить. Налёты чаще случались в дневное время, когда мы, обычно, находились в своём шалаше и поэтому мы от них не страдали. Однако, многие другие от этих налётов пострадали. Ежедневно машины скорой помощи увозили в тыл раненых. Было и несколько смертельных случаев.

В один из дней нас бомбили утром, когда большинство людей, в том числе и наша группа, были в траншее. Хоть и успели мы выскочить на поверхность и мелкими перебежками, прижимаясь к земле, устремились в лес, всё-же были настигнуты пулемётным огнём из немецкого истребителя и наш неунывающий весельчак и юморист Миша Гольдштейн, уже на опушке леса, получил ранение в предплечье.

Рана оказалась не опасной и пуля не задела кость, но несколько дней Миша не выходил на работу, став пациентом полевого медпункта. Ему был обеспечен нужный уход и питание. Кроме овощей с колхозного поля, огорода и бахчи, мы раздобыли в ближайшем селе молока, белого хлеба и даже курятины, из которой Наум Дорфман готовил больному бульоны и супы с различными добавками. Кроме музыкальных, у него проявились и немалые кулинарные способности, и Миша шутил, что нужно ещё подумать о жизненном пути и послевоенной карьере Наума. Вполне возможно, что они должны начинаться не с музучилища и консерватории, в чём мы раньше не сомневались, а с кулинарного техникума. Кто мол знает, где ему светит больший успех. А ещё Миша шутил, что сам Господь-Бог послал ему это ранение, чтобы отдохнуть от трудной, нудной и грязной работы под палящим солнцем и в полной мере воспользоваться заботой и вниманием своих друзей.

Боря и Женя отнеслись к ранению Миши по-иному. Они посчитали, что это должно послужить для нас сигналом к решительным действиям. Как-то, когда Миша почти полностью выздоровел и уже должен был приступить к работе, они изложили нам свою позицию и свой план действий, о котором они договорились раньше и успели уже подробно отработать в деталях.

Женя высказал мнение, что работа по рытью противотанковых рвов вдоль Днепра, на которой, с риском для жизни, самоотверженно трудятся десятки тысяч женщин, подростков и пожилых мужчин, является неоправданной затеей бездарных стратегов. Они лишь пытаются создать видимость активной деятельности по защите Родины и мобилизации народа на борьбу с врагом. Построить вручную за 1-2 месяца оборонительные сооружения протяжённостью в несколько сот километров, которые позволили бы остановить наступление фашистских войск просто невозможно. Немцы ежедневно не только бомбят и обстреливают людей, роющих противотанковые рвы, но и фотографируют строящиеся сооружения. Им ни к чему направлять танки именно в построенные для них рвы. Они могут форсировать Днепр в местах, где нет рвов или навести мосты и переправы и там, где они имеются. В конце-концов от этих траншей и рвов мало что останется после первой серьёзной бомбёжки или артиллерийского обстрела перед запланированным немцами прорывом нашей обороны.

По мере приближения линии фронта к Днепру, оборонительные сооружения будут подвергаться всё более частым бомбёжкам и обстрелам, которые приведут к неизбежной массовой гибели людей, занятых на этой стройке. Кроме того вероятны прорывы немцами фронта на отдельных участках с целью выхода к Днепру, в результате чего мы можем просто оказаться в окружении. О том, как власти организуют эвакуацию гражданского населения из прифронтовой территории, мы уже знаем из примера Немирова. Зачем же мы бежали от немцев через всю Украину, чтобы вновь подвергать себя опасности быть захваченными врагом здесь, в этих отрытых нами рвах, или бесславно погибнуть в них под бомбами и пулями из немецких самолётов.

Такой исход представлялся Боре и Жене неизбежным и нам ни к чему ожидать его здесь. Их же план был в следующем.

В Гуляй-Поле располагается 973-й стрелковый полк 270-ой стрелковой дивизии, призванный оборонять подступы к Днепру на этом участке. На следующий день после ранения Миши, они побывали в расположении этой воинской части и беседовали с командиром полка о возможности приёма всей нашей группы в действующую армию в качестве добровольцев-красноармейцев. Вероятно Боря и Женя произвели

хорошее впечатление на майора и он пообещал посоветоваться с комиссаром, а нам велел явиться в полном составе в воскресенье утром.

Боря предложил подготовиться к уходу до восхода солнца в воскресенье. Мы должны были, как он считал, уложить все наши вещи в рюкзаки и уйти незамеченными, оставив Николаю Ивановичу записку с объяснением, из которого он должен был понять, что наш уход не бегство от трудовой повинности, а стремление к более активной борьбе с фашизмом с оружием в руках.

Кто-то предложил открыто предупредить Николая Ивановича о нашем уходе, но Боря и Женя отвергли это предложение. В этом случае, мы возложили бы вину за наш поступок на начальника отряда, если бы он одобрил наше решение, или сорвали бы наш уход из отряда, если бы он не дал на это своего согласия.

После тщательного обсуждения предложенного Женей плана, он был единодушно нами одобрен, и оставшиеся до воскресения дни, кроме выполнения дневной нормы земляных работ, были отведены лечению Миши и подготовке к уходу. Наш план решено было сохранить в тайне.

В ночь на воскресенье мы ушли из отряда.

28

Майор Кийков, немолодой уже человек, высокого роста, спортивной осанки, с мужественным лицом и пронизывающим взглядом, принял нас в здании школы, где располагался штаб полка.

Окинув всех критическим взглядом, не обещавшим ничего хорошего для нас, он начал допрос с меня. Вопросы сыпались один за другим и требовали чётких ответов.

Из командирской планшетки он вынул блокнот и карандаш, которым делал какие-то записи по ходу нашего собеседования.

Фамилия, имя, отчество, год, месяц и место рождения, национальность, образование, партийность, спортивный разряд и сдача норм ГТО, здоровье, место нахождения родителей, братьев, сестёр... На все эти и другие вопросы ответы не заставили себя ждать. За исключением возраста и состояния здоровья они были правдивыми. Не точным был мой ответ о возрасте, ибо ещё в немировском военкомате я прибавил себе полгода, без чего не попал бы в колонну допризывников и совсем неверным был ответ о здоровье и перенесенных болезнях. Не мог же я сказать майору, что до самой войны страдал бронхиальной астмой, приступы которой сваливали меня в постель чуть ли не при каждом похолодании или резком изменении погоды.

По испытующе-недоверчивому взгляду командира полка мне показалось, что он почувствовал неправду в этих моих ответах, но держался я уверенно и он начал допрашивать Мишу Гольдштейна, внешний вид которого тоже вызывал сомнения в возрасте. Когда наступил черед вопросу о годе и месяце рождения, майор строго предупредил Мишу говорить только правду, на что тот невозмутимо вынул из бумажника свидетельство о рождении, где значился июль 1924-го года.

Таким же образом подтвердили свой возраст Наум и Рома, а Иосифу, Боре и Жене это не понадобилось делать, ибо по виду майора было ясно, что они произвели на него хорошее впечатление и не вызвали никаких сомнений.

В итоге, командир полка заявил нам, что согласен взять только четверых, а мне, Науму и Мише посоветовал обратиться в райвоенкомат для отправки в военное училище.

Боря заявил майору, что не бросит своих друзей на произвол судьбы и что у нас нет выбора. Либо он примет нас всех в полк и даст возможность с оружием в руках сражаться с врагом, либо немцы уничтожат нас, как только придут сюда.

Командир полка оставил нас в кабинете одних и вскоре вернулся с комиссаром - седым уже мужиком невысокого роста, в очках, с одной шпалой в петлицах, который чем-то напомнил мне любимого школьного учителя Мура. Майор коротко изложил ситуацию и спросил комиссара какого он мнения по этому поводу. Нам же он сказал:

- Как решит комиссар, так и будет.

- Пусть воюют, коль душа того просит, - решил комиссар.

По его интонации можно было догадаться о сего еврейском происхождении.

Майор похвалил нас за смелость, настойчивость и дружбу и заявил, что направит нас в пулемётный взвод, который недавно понёс большие потери при отходе из Николаева.

Дежурный сопровождал нас на окраину села, где в здании совхозного гаража располагалось «хозяйство лейтенанта Скибы».

Командир пулемётного взвода, лейтенант Иван Скиба, недавний выпускник пехотного училища, был по возрасту чуть постарше нас, но всем своим видом и поведением старался подчеркнуть своё руководящее положение. Он принял нас в своём кабинете - небольшой комнатке, ещё недавно служившей кладовой для дефицитных автозапчастей и провёл с нами «вводный инструктаж» о порядке службы в «хозяйстве».

Из его рассказа мы поняли, что прибыл он в полк в первые дни войны и пришлось ему начинать практически с нуля. Взвод образовался из немолодых уже людей, мобилизованных в июне военкоматами Одесской области. Знающих пулемётное дело специалистов во взводе почти не было и ему пришлось обучать бывших колхозников этому ремеслу буквально на ходу, в ходе отступления полка на восток. Наука эта далась неопытным красноармейцам нелегко и стоила немалых жертв. В ходе первых же стычек с противником взвод понёс большие потери. При этом погибли или были отправлены в госпитали почему-то наиболее толковые бойцы. Сейчас во взводе меньше половины полагающейся численности и ему очень нужны молодые и способные ребята. Он не скрывал своего удовлетворения от полученного пополнения и обещал лично заняться нашим обучением материальной части и практике ведения современного боя.

В ходе беседы лейтенант постоянно подчёркивал своё положение командира не только по званию, но и по опыту и знаниям. Он предупредил нас о строгом соблюдении воинской дисциплины и порядка во взводе. Говорил он с нами по военному строго, но добродушная улыбка не сходила с его лица на протяжении всего инструктажа.

Лично мне лейтенант очень понравился. Его молодость как бы сглаживала возрастной барьер между нами и остальными, довольно пожилыми, бойцами. Импонировал его довольно приятный внешний вид и манера поведения. Мы с удовлетворением отметили, что наш командир образованный специалист и уже набрался кое-какого опыта жизни на войне и практике ведения боя.

Как потом выяснилось, Иван Скиба пришёлся по душе всем нашим ребятам буквально с первой встречи.

Старшина Мороз, плотный мужичок среднего роста, с четырьмя треугольниками в петлицах, долго возился с нашим вещевым довольствием. Если на Борю, Женю, Иосифа и Рому не составило особого труда подобрать солдатское обмундирование, то со мной, Мишей и Наумом ему пришлось повозиться довольно долго, но какого-нибудь существенного успеха так и не удалось добиться.

Даже самые малые по размеру гимнастёрки и брюки висели на нас мешком. Особые проблемы были с подбором ботинок. Нужных нам размеров, конечно, не оказалось и единственное, что мог сделать старшина, это дать нам ещё по одной паре портянок, чтобы ботинки не падали с ног и не натёрли мозолей. Нам выдали обмотки и показали, как ими следует обвёртывать ноги от ботинок до колен. Из всего перечня полагающегося нам обмундирования, по размеру нам подобрали только пилютки.

Когда мы осмотрели друг друга в этом обмундировании, то отметили, что Боря и Женя имели довольно бравый вид, Иосиф и Роман выглядели сносно, а мне с Мишей и Наумом впору было только клоунами где-то в цирке выступать.

Старшина успокаивал нас тем, что не это главное на войне и пообещал заказать для нас троих обмундирование малого размера на дивизионном складе вещевого довольствия. И ещё он высказал уверенность, что мы вскоре подрастём и тогда все проблемы снимутся.

Выдали нам и по сапёрной лопатке, противогазу, баклажке, котелку и ложке с вилкой.

Отведали мы в этот день свой первый солдатский обед. Щей налили в котелок, а перловую кашу с салом кинули на его крышку. Щи оказались вкусными, а жир в каше был осалившимся от долгого хранения.

После обеда лейтенант Скиба провёл занятия по материальной части станкового пулемёта, демонстрируя поименованные части на реальном образце этого оружия, которое все любовно называли «Максимом». Затем слушатели должны были продемонстрировать, как они владеют сборкой и разборкой, заправкой в магазин пулемётных лент, стрельбой, подготовкой пулемёта к маршу, переноской его на марше.

Всё это было для нас новым. Слушали внимательно, стремясь не пропустить ни одного слова или движения лейтенанта. Мы понимали, что это пригодится в бою.

Вспомнилось, как когда-то в школе, в мирное время, слушали инструктора на занятиях по военному делу. Другое дело здесь, на войне. Всё хочется лучше понять и быстрее освоить.

Командир взвода отметил наше усердие и не удержался от похвалы в наш адрес.

Первый день нашей армейской жизни подходил к концу. Хотя он и не потребовал от нас большой физической нагрузки, как это было на рытье противотанковых рвов или на недавних ежедневных 45 километровых маршах на восток, мы всё же к вечеру почувствовали усталость. Её причиной была, наверное, большая психологическая нагрузка, волнения, вызванные уходом со стройки и сомнениями относительно приёма нас в действующую армию.

Только когда мы улеглись на деревянных нарах солдатской казармы и вдохнули ароматный запах свежего сена, служившего нам постелью, мы поняли, что достигли, наконец, поставленной цели. В тот день мы начали отсчёт суток солдатской жизни в этой великой и самой ужасной войне, которую когда-нибудь знало человечество.

Василий Степанович Хвыля, командир отделения, в которое определили меня, Женю, Наума и Иосифа был немногословен, не любил повторять свои распоряжения и требовал их чёткого выполнения.

Во второй день нашего пребывания в пулемётном взводе мы стали свидетелями случая, когда Хвыля настаивал перед лейтенантом убрать из его отделения нерадивого и недисциплинированного бойца за небрежное выполнение его указания по смазке оружия.

-Заберить його вид мэнэ, - требовал он по украински.

Лейтенант поддержал Хвылю и предупредил солдата, что примет к нему меры по уставу и законам войны при повторном проявлении расхлябанности.

Василий Степанович был мобилизован из под Одессы, где всю свою жизнь работал в колхозе и дослужился до бригадира. Ему было уже далеко за сорок и в висках его поблескивала седина. О себе он рассказывал мало, но из отдельных фраз сложилось представление, что трудился он честно и жизнью своей колхозной был доволен. За успехи в выращивании кукурузы был удостоен медали Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки. О своей жене, Оксане, он говорил уважительно и тепло, но чаще с грустью вспоминал старшего сына, который ещё до войны закончил танковое училище и служил в Белорусском военном округе.

Хвыля любил во всём порядок. Он отличался редким трудолюбием и был всегда при деле. Любую работу выполнял аккуратно. Внешне казалось, что работал он не спеша, но, как рассказывали очевидцы, всегда первым во взводе успевал окопаться и его окоп был обычно глубже и безопаснее других.

Лейтенант Скиба не раз ставил в пример Василия Степановича, когда подчёркивал важность быстрого и эффективного окапывания. При этом он не упускал возможность продемонстрировать сапёрную лопатку Хвыли, лезвие которой было всегда остро заточено, за счёт чего лопатка при свободном падении могла легко рассечь яблоко, картошку или огурец и углубиться в грунт на глубину, позволяющую ей оставаться в неподвижном вертикальном положении. Редко какая другая лопатка могла бы сравниться с лопаткой командира отделения.

- Жить хочешь - не ленись окапываться, - любил повторять наш комвзвода.

Лучше других умел Василий Степанович соорудить блиндаж, землянку или шалаш. Он легко и быстро находил для этого подручные материалы, ловко устанавливал, закапывал и соединял их воедино и завершал работу быстрее других. Его временные походные жилища были удобны, практичны и годились для длительного пользования.

Никто другой так вкусно не готовил борщи или щи в походных условиях, так быстро не разжигал костёр, и так умело не готовил на нём печёную картошку.

Умел он также и постирать солдатскую одежду и залатать её после стирки. При нём всегда были иголки и разные нитки, он охотно помогал другим в мелком ремонте обмундирования. Даже обмотки он обвёртывал быстрее и аккуратнее всех нас.

В общем - золотые руки были у Василия Степановича. Бойцы уважали его за честность, заботу о подчинённых, внимание к ним и прощали ему излишнюю строгость и требовательность.

Не случайно, наверное, потери в его отделении были меньшими, чем в других отделениях нашего взвода. За прошедшие два месяца войны похоронили только одного бойца и двоих отправили в госпиталь, в то время как полк потерял больше половины своего состава.

К нам Василий Степанович относился особенно тепло, уделяя много времени нашему обучению военному делу и армейской жизни, проявляя отеческую заботу о нас.

Кроме учёбы, которую проводил лейтенант со всеми бойцами взвода, он провёл с нами несколько дополнительных занятий по изучению материальной части пулемёта, обращая внимание на отдельные детали и тонкости, известные ему из собственного опыта, дал нам ряд важных советов по стрельбе, устранению неисправностей и уходу за оружием.

Хоть мы и имели немалый опыт окапывания из нашей походной жизни в колонне допризывников, опыт Василия Степановича в этом деле оказался для нас весьма полезным. Он научил нас, как точить лопатки, как подбирать место для окопа и как быстрее и лучше окапываться.

Многому другому мы учились у нашего командира. Женя не раз подчёркивал, что нам здорово повезло с начальством в нашей солдатской жизни. Повезло нам и в том, что полк ещё целую неделю, после нашего прибытия, не участвовал в боях и находился на отдыхе и пополнении личным составом и оружием.

Мы старались на доброе к нам отношение ответить старанием и дисциплиной. Уже к концу первой недели Женю назначили первым номером пулемётного расчета, а я стал у него вторым номером. Нам доверили совсем новенький «Максим» из тех, что взвод получил вместе с пополнением личного состава.

Боре меньше повезло с командиром отделения. Им оказался пожилой уже человек, лет под пятьдесят, который отличался дисциплинированностью и послушанием перед начальством, но не проявлял особой инициативы в организации солдатского быта и учёбы и не обладал способностями Василия Степановича.

Борю тоже назначили первым номером и выдали новый станковый пулемёт, но чувствовал он себя не так уверенно, как Женья.

Вечером, когда мы собирались вместе перед отходом ко сну, Женья подробно рассказывал ребятам чему нас научили за день и даже демонстрировал кое-что на конкретных примерах.

Вторым номером у Бори был Миша Гольдштейн. Рому Бройтмана определили в расчёт опытного пулемётчика Ковальчука. Все очень старались в учении и многое познали за эти несколько дней.

Мы понимали, что дни нашей «мирной» жизни сочтены, что недолго нам осталось набираться умора в Гуляй-Поле, а там, в боях, будет не до учёбы.

Предчувствие нас не обмануло. После очередного разбора итогов учебных занятий лейтенант Скиба объявил нам, что после обеда состоятся ротные политзанятия, на которых выступит комиссар полка Белкин.

Политзанятия во взводе - дело обычное. Ежедневно с нами встречался политрук и вёл беседу о «текущем моменте», о положении на фронте, читал нам материалы из «Красной звезды» и других газет. О ротных политзанятиях мы услышали впервые, да и выступления полкового комиссара слушать ещё не приходилось. Не трудно было догадаться, что ожидается важная информация, связанная с передислокацией полка в район боевых действий.

30

Комиссар полка Леонид Михайлович Белкин пользовался у бойцов большим авторитетом, и они не скрывали своего уважения к нему. Нам часто в эти дни приходилось слышать о комиссаре добрые слова и выражения глубокой признательности. Бойцы приводили примеры храбрости, проявленной им при столкновениях с немцами, заботы о нуждах личного состава, уважительного отношения к людям.

Из этих рассказов запомнился случай спасения комиссаром тяжело раненного в бою молодого бойца. Рискуя собственной жизнью, Леонид Михайлович вынес красноармейца в ближайший лесок, наложил повязку на простреленное бедро и, дождавшись вечера, когда стих миномётный огонь, с трудом доставил бойца в деревню, где стоял полк. Все понимали, что комиссар подвергался двойному риску. В случае, если бы он попал к немцам, они бы не забыли ни его еврейского происхождения, ни его комиссарских петлиц.

До войны Леонид Михайлович работал директором средней школы в Молдавии и преподавал историю в старших классах. Он был мобилизован в первые дни войны, как командир запаса, оставив в городе жену и двух дочерей. Оба его сына - близнецы до войны закончили политехнический институт в Киеве и работали инженерами в Днепропетровске. Их мобилизовали в июне, но от них не было ни одного письма и он о них ничего не знал. Возможно, они написали домой, но город оказался в оккупации уже в конце июня.

Оптимист по натуре, Леонид Михайлович не терял надежды, что семья его бежала и сейчас находится где-то в тылу, а сыновья его воюют и он вскоре узнает о них. Каждый день он с нетерпением ждал почту и надеялся на письма.

Комиссар в то время имел такую же власть в армии, как и командир, но Белкин этой властью мало пользовался, и больше убеждал, чем приказывал. Он редко повышал голос, но все его указания выполнялись так же, как и приказы командира полка, хоть тот был намного строже и требовательнее комиссара.

Леонид Михайлович весь отдавался работе и с утра до позднего вечера мотался по полку, решая многочисленные важные и не очень важные вопросы. Казалось не было дела, к которому комиссар не был бы причастен.

Сейчас ему предстояло сделать важное сообщение о передислокации полка, как и всей 270-ой стрелковой дивизии в район западнее Днепропетровска для участия в обороне этого крупного промышленного и культурного центра Украины и важного узла обороны на подступах к Днепру.

На широкой поляне, в дубовой роще собрался весь личный состав роты. С интересом и тревогой ждали сообщения комиссара.

Белкин говорил не спеша, не очень громко, но ясно и убедительно. Его речь не была похожей на выступление оратора на митинге или собрании, а больше походила на лекцию учителя, объясняющего слушателям важную тему учебной программы.

Комиссар рассказал о положении на фронте, обороне Киева, Одессы, Ленинграда, ожесточённых сражениях на Московском направлении, а затем уже более подробно об участии нашей дивизии в защите Днепропетровска и о создании мощного оборонительного рубежа с целью предотвращения форсирования Днепра немцами. Он аргументировано разъяснил важность операции и призвал бойцов к стойкости и мужеству в предстоящих боях с фашистами.

В этот день были отменены послеобеденные учебно-тренировочные занятия и лейтенант Скиба дал команду о подготовке к маршу.

В нашем отделении всей работой по подготовке личного состава и материальной части к выходу из Гуляй-Поля руководил Василий Степанович. Под его контролем расчёты разбирали пулемёты, упаковывали патроны, проверяли и смазывали личное оружие, готовили обмундирование. Всем был выдан сухой паёк на трое суток и по пачке махорки.

Когда Василий Степанович, тщательно проверив готовность нашего расчёта к походу, признал работу законченной в полном объёме, мы взялись помочь в этом деле ребятам. В первую очередь помогли Боре и Мише. Они хоть и старались, как могли, но всё ещё не достигли нашего уровня, как в изучении материальной части, так и в освоении опыта армейской жизни.

Помогли мы им в разборке и подготовке к ручной переноске пулемёта, упаковке нехитрой солдатской утвари, ремонте и подгонке обмундирования.

Другим нашим ребятам помощь оказалось необходимой в значительно меньшей степени потому, что расчёт Наума и Иосифа курировал всё тот же Василий Степанович, а Роме Бройтману во всём помогал Григорий Ковальчук, прошедший с полком путь от Николаева до Гуляй-Поля и служивший во взводе примером на учебных стрельбищах. До войны Григорий работал механиком на машинно-тракторной станции и потому к нему во взводе многие обращались за помощью при различных неполадках и неисправностях в материальной части военной техники.

По возрасту Григорий годился Роме в отцы и относился он к своему молодому помощнику потечески тепло.

Мы по-прежнему постоянно общались друг с другом в течение дня, а всё свободное время, которого было очень мало, проводили вместе.

Кроме Бори и Иосифа, никто из нас тогда ещё не курил, но, как и все остальные бойцы, мы получали махорку и пользовались перекурами.

На одном из перекуров, в последний день перед уходом из Гуляй-Поля, мы поклялись беречь нашу дружбу в новых условиях и помогать друг другу в любой ситуации.

31

На рассвете 26-го августа полк покинул Гуляй-Поле. Двигались не спеша со скоростью около пяти километров в час. Шли строем по узкой дороге, мощённой булыжником, ведущей к асфальтированному шоссе на Днепропетровск. Ничто не нарушало утренней тишины. День ожидался солнечный, жаркий, какие обычно бывают на юге Украины в это время года, однако утро было довольно прохладным. По дороге пока не встречались ни машины, ни пешеходы. Только в селе, раскинувшемся по обе стороны дороги, можно было заметить и услышать первые приметы пробуждающейся деревенской жизни. Подросток-пастушок выгонял скот на выпас. Лаяли собаки, как бы обмениваясь утренними приветствиями.

Наша семёрка шла в одной шеренге. В ней же был и Василий Степанович. За эти дни мы очень привязались к нему. Хоть командиром он был не для всех из нас, все мы ему беспрекословно подчинялись. Он стал для нас и учителем, и старшим другом. Чувствовалось, что наша тяга к нему была ему по душе и он не только не пытался её ограничивать, а наоборот всем своим видом и поведением способствовал нашему с ним сближению.

Женя заметил, что ритм нашего движения небольшой и, что в нашем пешем марше на Ворошиловград мы двигались быстрее, на что Василий Степанович ответил, что быстрее двигаться нельзя и что эта скорость является предельной при полной солдатской экипировке. Кроме вещмешка с запасом продуктов и личной утварью, шинели, скатанной в рулон, и накинутой через плечо, лопатки, котелка, баклажки и ружья, нам ещё приходилось тащить на себе пулемёт в разобранном на части виде.

Вскоре мы убедились, что командир был прав. Когда прошли первые десять километров и был объявлен привал, мы почувствовали не только предельную усталость, но и ошутимую боль в плечах и суставах, от которой не полностью отошли даже после получасового отдыха.

Ещё труднее было идти днём, когда стало припекать солнце. Хоть мы и имели двухчасовой обеденный отдых у реки, смогли искупаться, поесть концентратной каши, попить чайку и даже подремать в сосновой роще, во второй половине дня мы смогли пройти только десять километров и почувствовали, что это предел наших возможностей. Благо, что это и был финал намеченного дневного маршрута и полк остановился на отдых в лесу, у небольшого озера.

Всего за день мы прошли около тридцати километров, а устали больше, чем после 45 километровых дневных переходов в колонне допризывников.

Под руководством Василия Степановича построили удобный шалаш из веток, развели небольшой костёр, собрали на колхозном поле кукурузы и картошки и соорудили роскошный ужин с зажаренным на огне салом из нашего сухого пайка, печённой картошкой, сваренной в котелках кукурузой и горячим чаем с привкусом дыма.

После ужина Наум играл на гармошке и гитаре, с которыми не расставался всё это время. Пели довоенные русские и мелодичные украинские песни. К нашему костру пришли командир полка и комиссар, которые оказались большими любителями музыки. Майор Кийков обладал прекрасным басом, а у комиссара Белкина был неплохой тенор. Вместе с баритоном Иосифа и нашей негромкой поддержкой, песни звучали очень мило и душевно. Несмотря на усталость, никому не хотелось спать и общение с музыкой продолжалось до позднего вечера, пока не раздалась команда отбоя и отхода ко сну.

Долго ещё, лежа на свежем сене в своём шалаше, говорили мы о войне, о жизни солдатской, оснащении и вооружении нашей армии и ее возможностях противостоять наступающим немецким войскам, вооружённым по последнему слову военной техники.

Теперь, уже на примере нашей дивизии, мы поняли реальное положение в «легендарной и непобедимой» Красной Армии. В то время как солдаты немецких мотострелковых частей были вооружены лёгкими автоматами новейшей конструкции, наши красноармейцы в пехотных частях, в основном, пользовались устаревшей тяжёлой винтовкой со штыком. Если немцы практически не совершали пешеходных маршей, а перемещались на современных транспортных средствах, то наши бойцы и командиры преодолевали многокилометровые переходы пешком, таская на себе полутоннажный груз оружия, боеприпасов, снаряжения, солдатской амуниции и продуктов питания. Тогда как немецкие мотострелковые части имели постоянную поддержку и прикрытие танковыми и авиационными подразделениями, не говоря уже об артиллерийской и миномётной подготовке каждой их операции, наши пехотные полки и дивизии могли рассчитывать, обычно, только на себя и свои собственные небольшие и слабо оснащённые миномётные и пулемётные части, неспособные противостоять танкам и артиллерии противника.

Ни в какое сравнение с немецким было и наше обмундирование. Даже кирзовые сапоги мало кому доставались. Основной обувью были тяжёлые, как кандалы, ботинки и обмотки. Несравнимым было и солдатское питание. Немцы получали калорийные и вкусные концентраты, галеты, мясные и рыбные консервы, сухое молоко и кофе, а наши сухие пайки состояли, в основном, из концентратов перловой или пшённой каши, пожелтевшего сала с прогорклым привкусом от долгого хранения или селёдки не первой свежести.

Вот и сейчас, на передислокацию нашей дивизии на фронт не нашлось автомобилей, и мы должны были пройти несколько сот километров пешком, гружённые, как лошади, оружием, боеприпасами и амуницией.

И вновь кощунственно звучали в ушах слова из той популярной довоенной песни: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы.»

Какое бахвальство?! Какая бессовестная ложь, и как легко мы ей верили!

32

По мере приближения к Днепропетровску чувствовалось, что фронт уже совсем рядом. Немецкие самолёты большими группами почти непрерывно находились в воздухе то ли на пути к объектам бомбёжек, то ли возвращаясь на свои базы. Нередко и одиночные самолёты совершали разведывательные полёты на небольшой высоте с целью поиска объектов бомбёжки.

Полк двигался на северо-запад, соблюдая меры предосторожности и маскировки. Шли просёлочными дорогами, предпочитая лесистую местность, вдоль неубранных ещё посевов кукурузы, используя для маскировки рельеф местности.

И всё же на второй день марша мы подверглись бомбёжке.

Василий Степанович первым услышал характерный звук, появившихся из-за горизонта немецких самолётов и скомандовал бежать в придорожный кустарник. Пока самолёты разворачивались для бомбёжки, мы успели рассредоточиться, укрыться в зарослях и прижаться к земле. Бомбы рвались рядом, но никто из нашего взвода не пострадал. В полку же были убитые и раненые.

Чтобы избежать бомбёжек и обстрелов с воздуха, мы теперь шли, в основном, в тёмное время суток, а отдыхали днём, тщательно маскируясь в зелёных массивах. Но даже такие меры предосторожности не уберегли нас полностью от налётов немецкой авиации. Складывалось впечатление, что немцы постоянно следят за нами и что им сверху видно всё, как бы мы не прятались и не маскировались.

Лейтенант Скиба требовал от нас окапывания на каждом привале, даже при отсутствии немецких самолётов. Отдыхать, даже днём, мы теперь могли только приготовив себе индивидуальный окопчик.

Как мы потом убедились, такая мера оказалась совсем не лишней и сберегла многим из нас жизнь при очередных налётах. Пригодились нам сейчас и учебные занятия в Гуляй-Поле, когда Василий Степанович обучал нас быстрому и надёжному окапыванию. Мы это делали теперь быстрее и лучше других и, может быть, только поэтому в нашем отделении никто пока не пострадал при бомбёжках.

В других же отделениях нашего взвода были жертвы от воздушных налётов. Только по пути к передовой, ещё не участвуя в боях, взвод потерял двух бойцов, а командир отделения, в котором служил Боря - послушный, дисциплинированный «дядя Стёпа», как его прозвали наши ребята, был отправлен в медсанбат с ранением в руку, повредившем кость. Потери в других подразделениях полка были ещё более весомыми.

Командование, опасаясь потерь с воздуха, ещё более замедлило продвижение полка к фронту. Мы двигались теперь на запад только в нелётную погоду и в тёмное время суток. Прошла целая неделя в пути, а

мы прошли менее двухсот километров. Тем не менее близость передовой чувствовалась. Уже долетало эхо артиллерийских батальонов на западе.

На рассвете нас обогнала танковая часть, движущаяся в направлении Киева. Впервые за всё время войны мы увидели наши советские танки в таком количестве. Их было много и двигались они быстро и уверенно.

Днём, когда мы находились на отдыхе в берёзовой роще, прозвучала очередная команда «Воздух!», и мы привычно рассредоточились по своим индивидуальным укрытиям. Каково же было наше удивление, когда над нами появились краснозвёздные бомбардировщики, сопровождаемые истребителями. Они шли на северо-запад, к Киеву.

Радости не было предела. Значит есть всё-таки в нашей армии и танки и самолёты! А мы уже было потеряли всякую веру в это. Оснований для этого было больше чем достаточно. Мы не встретили ни одного нашего танка, прошагав всю Украину с запада на восток, и теперь, двигаясь пешком на запад уже более недели, редко встречали советские танки, самолёты и артиллерию.

-Я говорил вам, а вы не верили! - воскликнул Рома Бройтман, который не переставал всё это время убеждать нас, что вот-вот погонят немцев.

В последнее время, правда, и он несколько приуныл. В его уверенности в скорой победе над фашизмом стало поменьше пыла, но тем не менее он оставался оптимистом в большей мере, чем кто-либо из нас.

На самом деле, как можно было сохранить оптимистический настрой, когда за два с небольшим месяца немцы оккупировали Прибалтийские республики, Белоруссию, Молдавию, половину Украины и находились уже у самой Москвы - у сердца страны.

За это время наша армия ни на одном из участков фронта длиною в несколько тысяч километров не только не перешла в наступление, но даже не отбила у немцев ни одного населённого пункта. Было одно позорное отступление, точнее бегство на запад. А каких жертв стоили эти месяцы войны?! Они исчислялись миллионами бойцов и командиров, не считая десятков миллионов советских граждан, оставшихся на оккупированной немцами территории, в том числе более двух миллионов евреев, обречённых на полное уничтожение. До оптимизма ли было тут?

Рома, пожалуй, был единственным среди нас, кто верил, что наша победа не только неизбежна, но что она придёт скоро, ещё в том страшном 1941-ом году. Он даже называл конкретные сроки, вроде ноябрьских праздников или Нового года, когда декабрьские морозы помогут остановить врага.

А ещё Рома очень верил в помощь союзников. Он считал, что поступающая из Америки в большом количестве военная техника, вот-вот склонит чашу весов в нашу пользу. Часто Рома убеждал нас, что Америка скоро вступит в войну с фашистской Германией и тогда Гитлеру будет «капут». Верил он и в скорое открытие второго фронта, против которого немцы не в силах будут устоять.

В общем, Ромка не переставал верить в скорую победу и всячески пытался свою уверенность внушить нам. Советские танки и самолёты, направляющиеся на помощь защитникам Киева, придали его оптимизму реальное обоснование и он ликовал, как будто перелом на фронте уже наступил, а мы уже одержали пусть небольшую, но победу над врагом.

К сожалению, как показали ближайшие события, для такого оптимизма не было тогда ещё никаких оснований и ликование Ромы было преждевременным.

33

В начале сентября полк прибыл на отведенный ему участок обороны и мы приступили к строительству защитных сооружений. Трудились очень усердно, на протяжении всего светового дня, который к тому времени заметно сократился. Копали траншеи, строили блиндажи, рыли ходы сообщения. Наш взвод занимал центральную позицию в расположении полка. Вероятно, на него возлагались определённые надежды потому, что всё же мы располагали довольно грозной техникой для отражения атак наступающего врага, а может быть и потому, что командир полка очень верил лейтенанту Скибе и его надёжным бойцам и командирам. Наверное, для такой веры были основания из опыта прошедших месяцев войны и учебно-тренировочных занятий в Гуляй-Поле.

Командир взвода, стремясь оправдать доверие командования, старался изо всех сил. Он не только руководил всеми работами по созданию оборонительного рубежа, но и сам трудился в поте лица, показывая пример подчинённым, многократно и тщательно проверял выполнение своих заданий командирами отделений, измерял глубину траншей, устройство пулемётных гнёзд, готовность огневых точек к обороне.

Василий Степанович был больше занят непосредственной работой по устройству пулемётных гнёзд, нежели бойцами. Практически мы, его подчинённые, только помогали ему, выполняя вспомогательные и подсобные работы. Он сам определил точки расположения пулемётов, начертил лопаткой на земле направления ходов сообщения и траншей для личного состава отделения, а нам достались только земляные

работы. Главным помощником Василия Степановича был Женя Ладуба, которому он всецело доверял и способности которого очень ценил.

Когда работа на нашем участке была закончена, принята командиром взвода и получила высокую оценку, Василий Степанович взялся помочь лейтенанту в устройстве его блиндажа. Кроме земляных работ, им, с нашей помощью, были выполнены плотницкие и некоторые столярные работы, на что использовали остатки разрушенного артогнём деревянного сарая. Блиндаж понравился Скибе и он от души поблагодарил нас и в первую очередь Василия Степановича.

Весь следующий день прошел в ожидании атак противника. Однако, немцы до конца дня нас так и не потревожили, если не считать разведывательных полётов нескольких немецких самолётов.

Только на рассвете третьего дня начался интенсивный обстрел наших траншей немецкой артиллерией и миномётами. Вероятно противник пользовался аэрофотосъёмками наших оборонительных позиций, выполненными накануне во время разведывательных полётов, ибо снаряды и мины разрывались довольно близко от окопов и траншей. Когда обстрел окончился, мы высоко оценили важность выполненных нами накануне работ по устройству оборонительных защитных сооружений. В нашем взводе было только трое раненых, которым оказали первую помощь на месте и отправили в медсанбат полка. Из нашей семёрки никто не пострадал. Были потери и в соседних с нами подразделениях в результате этой артподготовки, в том числе и убитыми.

Вскоре немцы большими силами предприняли первую атаку на наши позиции. Короткими перебежками, под прикрытием непрерывного огня из автоматов, они вплотную подошли к линии обороны полка, занимавшего пятисотметровый участок за противотанковыми рвами. Перед ними размещались противотанковые ежи - сваренные крест-накрест металлические рельсы, преграждавшие путь танкам и другой бронетехнике. Поле под ними было заминировано нашими сапёрами. Всё это не позволило немцам использовать танки для прорыва линии нашей обороны.

Лейтенант Скиба внимательно следил за продвижением немецких автоматчиков и предупредил без приказа огонь из пулемётов не открывать. Бойцы вели прицельный огонь только из винтовок и автоматов.

Должен признаться, что когда немцы подошли совсем близко к нашему расчёту, ведя интенсивный огонь из автоматов, меня охватило чувство страха и незащищённости. Мы фактически даже не отстреливались и можно было ожидать, что в любую минуту фашисты ворвутся в нашу траншею.

Однако, выдержка и внешнее спокойствие Василия Степановича, других опытных бойцов, особенно Жени, который был рядом, действовали успокаивающе. Я прижался к земле в ожидании команды «Огонь!», стараясь ни о чём больше не думать.

Нужно сказать, что в том первом бою я в полной мере познал чувство боевого коллективизма, когда ты и все вокруг тебя представляют одну семью, подчинённую одной цели и управляемую одним мозговым центром. В такой семье ты в ответе за всех, но все отвечают и за тебя. Здесь нет понятия «Я», а есть только общее - «МЫ». И в этом сила боевого коллектива.

Когда немцы, находясь в двадцати метрах от нашего переднего края, предприняли очередную попытку ворваться в наши траншеи, прозвучала, наконец, команда: «Огонь!». Полтора десятка «Максимов» одновременно накрыли наступающие ряды противника таким шквалом огня, который исключал всякую возможность оторваться от земли. Немцы залегли и больше не пытались прорваться на нашем участке.

Мужественно держали оборону и соседние с нами подразделения полка. Там в ход пошли ручные гранаты, а в отдельных случаях и штыками воспользоваться пришлось.

К полудню наступление немцев захлебнулось и на других участках обороны дивизии, и они были вынуждены отойти на исходные позиции, оставив перед нашей линией обороны много трупов своих солдат, оружие и боеприпасы.

Лейтенант Скиба приказал собрать трофеи перед линией нашей обороны. Нам досталось полтора десятка немецких автоматов и большое количество патронов к ним. Старшина добыл несколько пар добротных немецких сапог и раздал их бойцам вместо обмоток. Пришлись в пору сапоги некоторым нашим ребятам, в том числе Боре и Жене. На меня, Мишу и Наума сапог по размеру не нашлось, зато мы получили шоколад и галеты, изъятые из вещмешков убитых.

По случаю первого нашего боевого крещения к обеду всем налили по пятьдесят граммов чистого спирта и выдали по куску полукопчённой колбасы. Из сухого пайка достали селёдки, сварили на костре пшённую кашу из концентратов, а на закуску пили чай в прикуску с сахаром-рафинадом и немецкими галетами.

Командир полка и комиссар прошли по траншеям, поздравили всех с успехом в первом сражении и поблагодарили за службу. Они же и предупредили, что немцы на этом не успокоятся и нам следует ждать новых атак. Было приятно сознавать, что мы выстояли в том первом бою, что с немцами можно воевать на равных.

Лейтенант Скиба после первого боя проникся к нам той особой дружбой, которая нередко связывает мальчишек в юношеском возрасте. Такая дружба отличается искренностью, честностью и готовностью прийти на помощь другу всегда и везде, не считаясь ни с чем, даже с опасностью для собственной жизни.

Юношеская дружба обычно крепнет в беде, в испытаниях и опасностях, требующих полной самоотдачи в борьбе за достижение поставленной цели.

Именно так возникли и закалялись взаимоотношения нашей Немировской семёрки. Мы чувствовали, что наши отношения были по душе лейтенанту с первых дней нашей службы в его взводе, но он своих чувств раньше открыто не проявлял, сохраняя ту дистанцию в отношениях с нами, которая диктовалась армейской дисциплиной и его положением командира-единоначальника.

Может быть его сдержанность в отношениях с нами определялась сомнениями в нашей готовности стать настоящими солдатами и смотреть смерти в глаза в том неравном противостоянии с фашизмом, которым отличалось начало Великой Отечественной войны.

Возможно сыграла свою роль и национальная принадлежность большинства из нас. В то время бытовало мнение, что евреи «воюют» только в Ташкенте, спекулируя на рынках и наживаясь на горе народном. Рассказывали разные истории и анекдоты, как евреи симулируют разные болезни и как откупаются от призыва в армию.

Наш добровольный и преждевременный уход в действующую армию, рвение при обучении военному делу в Гуляй-Поле, а главное - активность и мужество в первом бою с немцами растопили в командире недоверие и сомнения и проявили чувства дружбы и уважения ко всем нам. Он больше не скрывал их и им больше не могли помешать ни разница в служебном положении и звании, ни боязнь, что дружеское к нам отношение сможет отрицательно сказаться на воинской дисциплине и его командирском авторитете.

Особенно близкими стали его отношения с Борей и Женей, которых он теперь считал своими помощниками и консультантами во всех сложных ситуациях фронтовой жизни.

Наше поведение в бою не осталось незамеченным Василием Степановичем, а также другими командирами отделений и бойцами уже смотревшими смерти в глаза. Они не раз возвращались ко вчерашнему бою, отмечая всё новые подробности и примеры проявленной нами храбрости, мужества и умения в отражении атаки противника.

Мы теперь и сами стали удивляться своему бесстрашию в бою. Что касается меня, то я это в свою заслугу не ставил. Я во всём полагался на Женю и только старался чётко выполнять все его указания, поручения и советы, а также следовать во всём его примеру. Если же говорить о героизме и мужестве, то они в первую очередь относились к нему. Я и сам в ходе боя поражался его внешнему спокойствию и выдержке, а главное его прицельному огню по противнику. Он управлял пулемётом так, будто это уже стало привычным для него делом, а навыки стрельбы вырабатывались им в течении долгого времени. Казалось, он всё выполняет автоматически, подобно тому, как опытные машинистки управляют, почти не глядя, с пишущей машинкой.

В мою задачу входило быть рядом с ним и обеспечивать его запасом пулемётных лент. А ещё он требовал от меня не высовываться. Всё это я старался чётко выполнять и Женя неоднократно хвалил меня за это. О чёмнибудь другом я пытался не думать. Сказать по правде, нужно было хорошо стараться, чтобы ни о чём не думать во время того боя. А думать было о чём. Особенно в те трагические минуты, когда немецкие автоматчики были в нескольких шагах от нашей траншеи, а в траншее соседнего с нами взвода шёл рукопашный бой. Трудно себе представить, что было бы, если бы мне пришлось участвовать в рукопашной схватке при моём росте в 160 сантиметров и весе в 50 килограмм. А что было бы, если бы немцы овладели нашей траншеей и я попал бы к ним в плен? Многие другие мысли овладевали мною в том первом бою. Трудно было не думать и о том, что этот день и бой могли стать последними в моей жизни, которой ещё фактически не было.

Кроме Жени, я, как и все другие рядом со мной, слушал и выполнял приказы, указания и советы лейтенанта Скибы и Василия Степановича, которые, в свою очередь, делали то, что приказывали им делать командир роты и полка. Во всём чувствовалась гармония и общее стремление выстоять и не пропустить врага.

В то время это ещё не часто удавалось частям, охваченной паникой отступающей Красной Армии. Ещё силен был тогда миф о непобедимости немцев, для чего имелись веские основания. Все они были хорошо известны нашим бойцам и командирам, особенно тем из них, кто провёл уже несколько месяцев в паническом бегстве на восток.

И тем важней и радостней был для нас наш первый успех в том первом сражении на оборонительных рубежах под Днепропетровском.

Мы ждали новых атак немцев и старательно готовились к ним. Были отремонтированы все траншеи, хода сообщения между ними, пулемётные гнёзда, заваленные и развороченные артиллерийским и пулемётным огнём. При этом большинство воронок между ними были сохранены. Женя продолжал утверждать, что воронки являются наиболее надёжным укрытием, ибо по «теории вероятности» бомба или снаряд в одно и то же место дважды попасть не могут. Эту свою убежденность он передал лейтенанту Скибе и Василию Степановичу, и те поверили в эту «теорию».

Теперь наши позиции, которые ещё недавно были похожими на аккуратный скверик, разделенный линиями траншей на фигуры правильной формы, представляли собой хаотически изрытый и обезображенный кусок земли, казавшийся внешне безжизненным.

Из тыла снабженцы привезли запасы боеприпасов, продуктов и воды. Мы подготовились к отражению атаки.

Но немцы в атаку не пошли. То ли вчерашние потери охладили накал их боевой страсти, то ли они задумали новый тактический маневр. Скорее всего имели место обе причины. Возможно они, как и мы, пришли к выводу, что в бою без танков у них нет существенных преимуществ перед нами.

Вместо наземных атак, передний край нашей обороны, включая противотанковые рвы и металлические ежи, подверглись массированным ударам с воздуха, продолжавшимся, с небольшими перерывами, несколько часов. Такой продолжительной и интенсивной бомбёжки мы подверглись впервые.

С целью сокращения потерь от прямых попаданий бомб, лейтенант Скиба приказал рассредоточиться по воронкам и индивидуальным окопам. Василий Степанович вывел своё отделение из траншеи и разместил бойцов попарно на некотором расстоянии друг от друга. То же сделали командиры отделений, в которых служили Боря с Мишей и Рома. Окопы Бори и Миши были недалеко от наших и мы могли видеть друг друга и общаться. Воронка, служившая укрытием для Ромы, была на некотором расстоянии от нас, рядом с окопом Ковальчука, первого номера в их расчёте.

Во время бомбёжки все, прижавшись к земле, находились в окопах или воронках. Когда наступало затишье, мы выходили из укрытий, чтобы размяться и пообщаться друг с другом. В таком общении мы теперь чувствовали ещё большую необходимость, чем раньше. Здесь мы обменивались мнениями, советами, шутками, что подымало настроение.

Теперь, находясь в постоянной опасности, мы ещё больше тянулись друг к другу. В общении мы искали защиту от, казалось, неминуемой гибели. И то, что пока все выжили и никто из нас серьёзно не пострадал при бомбёжках и обстрелах (случай лёгкого ранения Миши в расчёт не принимался), мы полностью относили на счёт нашей дружбы.

Когда бомбили и я лежал, прижавшись к земле на дне окопа, меня охватывал страх и ужас, которые я чувствовал физически в виде боли в напряжённых мышцах, в пальцах, сжатых со всей силой в кулак, в голове, перегруженной мыслями о возможных последствиях бомбёжки. Больше всего пугала даже не сама смерть, а вероятность стать беспомощным калекой. Перебирая в мыслях возможные варианты последствий ранения или контузии, я всё больше склонялся к выводу, что в таком случае единственным для меня выходом могло бы стать только самоубийство, ибо какая же это может быть жизнь не в радость себе и в тягость другим.

Об этом я никогда не делился ни с кем, даже с Женей. Не знаю испытывал ли он и другие наши ребята подобное, но потому, как мы тянулись к общению в короткие передышки между бомбёжками, я догадывался, что нас одолевают схожие мысли.

Как-то в перерыве между бомбёжками Рома пошутил, что он должник перед Женей за спасительную плацкарту, которую он себе отобрал по его совету. Он утверждал, что находясь в своём убежище, спокойно переносит вой и разрывы падающих рядом бомб, так как абсолютно уверен, что ни одна из них по «теории вероятности» не должна попасть в центр его воронки.

Женя на это, тоже шутя, ответил, что дорого не возьмёт, и что Рома может легко откупиться, уступив ему «боевые сто грамм», которые мы теперь регулярно получали у старшины.

Шутки эти оказались зловещими. Когда немецкие самолёты в последний за этот день раз отбомбили наши позиции и скрылись за горизонтом, а мы собрались в привычном месте, среди нас не оказалось Ромы. Вместо него пришёл Ковальчук, ставший в последнее время его близким другом. Он принёс нам страшную весть о прямом попадании бомбы в воронку, служившую убежищем для Ромы.

Когда мы прибежали к окопу Ковальчука, что был в нескольких метрах от Роминой снарядной воронки, то вместо неё увидели огромную яму. Бомба большого калибра, вопреки «теории вероятности», попала в центр последнего убежища Ромы.

Мы с трудом откопали тело. Лицо Ромы было чистым и невредимым. Вьющиеся рыжие волосы сохранили следы причёски, голубые глаза раскрыты и в них застыло удивление. Наверное, он и в последние мгновения жизни не верил в возможность смерти. Среди нас Рома был самым большим оптимистом. Верил в победу социализма и его идеалы, в Сталина, а главное - в торжество жизни. Накануне, он раскрыл нам

некоторые секреты о своих жизненных планах. Мы впервые узнали от него о любимой девушке Соне, что училась с ним в одном классе и о которой он даже родителям своим рассказать стеснялся. Когда они прощались в Немирове, то поклялись никогда больше, после войны, не расставаться. Они собирались поступать в университет, на исторический факультет.

В левом кармане гимнастёрки лежал комсомольский билет, выданный Немировским райкомом ЛКСМУ в июне 1940-го года, а в маленьком кармашке брюк нашли медальон с немировским адресом Ромы.

От той бомбёжки полк понёс большие потери, в основном, убитыми. Окопы и воронки предохраняли от осколков, а от прямого попадания бомб спасения не было. Только в нашем взводе погибли, кроме Ромы, три бойца, а двух отправили в медсанбат с тяжёлыми ранениями. А всего в тот день полк похоронил тридцать бойцов и командиров. Так немцы отомстили нам за своё поражение в первом сражении, когда их потери были намного больше.

Василий Степанович, с нашим участием, изготовил Роме последнее и вечное убежище - гроб из строганных сосновых досок. Мы разыскали их в соседнем селе, которое временно покинули все жители.

Хоронили погибших на сельском кладбище в общей братской могиле. Рому мы схоронили отдельно, а на могиле установили деревянный памятник со звездой и надписью:

Красноармеец Роман Бройтман. 1924 - 1941гг.

На траурном митинге выступил комиссар полка Белкин, командир нашего взвода Иван Скиба и Боря Зильберштейн.

С трудом сдерживая слёзы, Боря просил у Ромы прощения, за то, что мы, шестеро его друзей, не сумели сберечь его. Он заверил друга, что пока мы живы, он будет всегда в памяти нашей и в сердце нашем. И ещё Боря говорил о том, как презирал Рома фашизм, как любил жизнь и как верил в победу. Мы стояли у открытой ещё могилы и по щекам катились слёзы.

Теперь нас осталось шестеро.

Грянул оружейный залп - последняя воинская почётность погибшим.

36

Наши ожидания немедленной новой атаки немцев после их последней ожесточённой бомбёжки не оправдались. Весь следующий день длилось затишье. Даже артиллерийские и миномётные обстрелы, ставшие привычными в последние дни, прекратились. Было видно, что немцы, по достоинству оценив силу нашего сопротивления, более тщательно готовятся к решительному наступлению.

Утром по траншеям прошли командир полка Кийков и комиссар Белкин. Они поблагодарили лейтенанта Скибу за состояние наших позиций, которые мы успели тщательно подремонтировать после бомбёжки, отметили выдержку, мужество и дисциплину личного состава взвода и велели готовиться к новому наступлению немцев с участием танков. По данным разведки танковое подразделение противника прибыло накануне и разместилось на опушке леса, что в нескольких километрах от нас.

Командир и комиссар полка выразили уверенность, что мы не дрогнем. Они поставили перед взводом задачу мощным пулемётным огнём отсечь немецкую пехоту от танков. Сопровождавшему их, командиру роты - старшему лейтенанту Горобцу, был отдан приказ обеспечить нас запасом гранат и бутылок с зажигательной смесью.

Комиссар Белкин убеждал, что не следует бояться танков. Без пехоты, считал он, танки бессильны. Если даже им и удастся пройти через наши траншеи, то они далеко не уйдут и будут уничтожены.

Весь день мы продолжали всё глубже зарываться в землю, готовили запасы патронов, гранат и бутылок с горючей жидкостью.

В конце дня лейтенант Скиба собрал весь личный состав взвода у своего блиндажа. Поблагодарив нас за усердие в работе, он предупредил, что отступать не будем и велел забыть даже мысль об этом. Мы должны выстоять и не пропустить врага, говорил он. Свою беседу он закончил словами: «Ни шагу назад, ребята!»

Когда наступили ранние осенние сумерки, вновь пришёл комиссар Белкин в сопровождении политрука роты Зверева. В блиндаж Скибы созвали коммунистов и комсомольцев. Членов партии оказалось немного. Кроме командира взвода Скибы, ещё трое, в том числе командир отделения Василий Степанович, а комсомольцев было семь. Кроме нас, шестерых, прибавился Ковальчук - первый номер из расчёта погибшего накануне Ромы Бройтмана.

Комиссар призвал нас служить примером для беспартийных в бою. Коммунисты и комсомольцы, утверждал он, могут либо побеждать врага, либо погибнуть на поле боя. Третьего пути для них нет. И ещё Белкин велел политруку Звереву собрать у желающих заявления о вступлении в партию. Он пообещал рассмотреть их на внеочередном партийном собрании после предстоящего боя.

На рассвете, десятого сентября, немцы начали мощную артиллерийскую подготовку. Было ясно, что после неё они пойдут в наступление. Чувствовалось, что предыдущие обстрелы позволили им сориентировать нужные координаты и снаряды ложились всё ближе к цели. С наших постов, расположенных у противотанковых рвов, сообщили, что одновременно с артобстрелом, под прикрытием темноты, немцы производят разминирование проходов для танков и пехоты, убирают противотанковые ежи, а сапёры наводят временные мосты для прохода танков.

Наши миномёты открыли огонь по немецким сапёрам, но пока шла пристрелка, они успели многое сделать.

Уже рассвело, когда на горизонте появились первые танки. Они двигались строем, в несколько рядов по разминированным проходам.

Лейтенант Скиба следил за продвижением танков в бинокль и вскоре предупредил, что видит за танками автоматчиков. Когда первые танки, по подготовленным для них мостикам, прошли через противотанковые рвы, слева и справа от нас заговорили противотанковые ружья. Огонь немецкой артиллерии прекратился, а вместо этого, немцы начали стрельбу из танков. По мере их приближения шквал огня всё нарастал, и нельзя было поднять голову над траншеей. Стала видна и идущая за танками пехота, которую вполне можно было бы достать пулемётным и автоматным огнём, но лейтенант Скиба команду стрелять не давал.

Впереди по фронту застрял немецкий танк, попавший под прицельный огонь противотанковых ружей. Слева и справа от нас загорелись ещё два танка от связок гранат и бутылок с горючей смесью.

Когда немцы приблизились к нашим траншеям на несколько десятков метров и открыли огонь из автоматов и танковых пулемётов, раздалась, наконец, команда: «Огонь!» и все наши пулемёты заработали одновременно. Автоматчики залегли, а танки продолжали свой путь на наши позиции. Несколько танков загорелись у самой кромки траншей, но за ними шли другие и выжидала момента для последнего рывка пехота.

Был момент, когда казалось, что сделано всё возможное, что больше ничего предпринять нельзя и остался выбор: либо погибнуть под гусеницами танков, косящим автоматным или пушечным огнём, либо угодить в плен к немцам, или попытаться бежать. И в этот момент, когда нервы у многих сдали, а некоторые уже стали выбираться из траншей для бегства из этого кромешного ада, лейтенант Скиба поднялся во весь рост с пистолетом в руке и закричал: «Ни шагу назад! Расстреляю! Танки пропустить! Пехоту отсечь!»

Команда действовала отрезвляюще и бойцы вернулись в траншеи. Бой продолжался на всём протяжении линии обороны полка, которая отчётливо вырисовывалась силуэтами подбитых немецких танков. Некоторые из них продолжали огонь из пушек и пулемётов и под его прикрытием немецкие автоматчики отчаянно рвались к нашим траншеям. Плотный пулемётный огонь нашего взвода не позволял пехоте приблизиться, но танки безудержно шли вперёд и не было больше сил их сдержать.

Два танка двигались прямо на наше отделение и Василий Степанович приказал убрать пулемёты в траншею и залечь. Как только мы с Женей выполнили эту команду, машина танка прошла рядом с нашим гнездом, окутав нас грохотом, гарью и жаром пылающего двигателя.

Воспользовавшись паузой в огне, немцы поднялись во весь рост и бросились к нашей траншее. Оружейный и автоматный огонь соседей по обороне был слабее пулемётного и они, хоть и несли значительные потери, вплотную подошли к нам. В последнюю минуту заговорили два наших пулемёта, но предотвратить проникновение немцев в траншею было уже невозможно. Они стреляли в упор из автоматов и многие из нас стали для них беззащитной мишенью. Уже казалось, что это конец и сопротивление бессмысленно. Раньше всех опомнился Иван Скиба. Уложив нескольких немецких автоматчиков из своего пистолета, он с криком «Бей фрицев! Ребята, в рукопашную!» бросился сзади на здорового немца, который хладнокровно расстреливал наших бойцов из своего автомата. Ударом сапёрной лопатки по голове он свалил верзилу и бросился к другому, чей автомат уже был нацелен на Наума Дорфмана. Лопатка врезалась в шею рыжего немца, рухнувшего наземь, но его предсмертную автоматную очередь Скиба отвести не успел. И она поразила не только Наума, но и его неразлучного друга и защитника Иосифа Богуславского. В этой и в предыдущей атаке Иосиф не отходил от Наума ни на шаг, ограждая его от всех опасностей. Вот и в этой схватке он защищал Наума от рук и пуль фашистов, не щадя себя. Только уложив ударом автомата по голове высоченного немца, намерившегося выпустить автоматную очередь в Наума, он заметил того рыжего фашиста, который взял их на мушку. Одним прыжком Иосиф оказался рядом с Наумом, пытаясь прикрыть его своим телом. Он не успел помочь другу и самого его сразила автоматная очередь. Так и остались они лежать рядом в последнем уже безжизненном объятии.

Мы с Женей находились в нескольких метрах от них и стали свидетелями этой страшной трагедии. Когда немцы ворвались в нашу траншею, мы находились в пулемётном гнезде, на развилке траншей. Женя отдал мне свой автомат и велел держать под обстрелом левую траншею. Сам же он воспользовался автоматом убитого мною немца, пытавшегося атаковать наше убежище, и держал под обстрелом правую

траншею. Стальной щиток нашего пулемёта и стенки пулемётного гнезда защищали нас от автоматных очередей. Эта удобная позиция позволила нам эффективно отстреливаться и уложить из наших автоматов добрую дюжину фашистов по обе стороны от нашего окопа.

Разгорячённые боем, мы не заметили, как два дюжих немца спрыгнули сверху в траншею и оказались в двух метрах от нас. Ствол автомата одного из них был направлен в мою сторону и автоматная очередь ударила по стальному щитку пулемёта. Одним прыжком немец оказался около меня и вновь направил на меня автомат. Не трудно догадаться, чем бы закончился этот поединок рослого и здорового немца со слабым, малым и щупленьким пацаном, если бы Женья со всего маху лопаткой не выбил автомат из рук фашиста, а затем добил его автоматной очередью. При этом он упустил из виду второго здорового молодого немца, который свалил его наземь и занёс над его головой кинжал. Не знаю откуда у меня взялись силы, но в решающую минуту я успел нанести удар лезвием сапёрной лопатки по голове фашиста, а Женья сумел отвести его ослабевшую руку, всё ещё держащую кинжал, от своей шеи. Вдвоём мы справились с немцем, и не остались друг перед другом в долгу по спасению один другому жизни. Конечно, речь здесь идет только об одном боевом эпизоде. Перед Женей я так и остался в вечном неоплатном долгу, так как мою жизнь он спасал не одиножды, а на моём счету это был первый и, как потом оказалось, последний случай.

А схватка с немцами продолжалась и постепенно в ней стало проявляться наше преимущество перед ними в рукопашной борьбе. Обида за свою беспомощность и бессилие перед вражескими танками, придавала нам смелость и силу в борьбе на равных в мужской драке, в тесных траншеях наших оборонительных рубежей.

Василий Степанович дрался, как заправский боксёр. Его удары по голове и ниже пояса сбивали с ног противника, а павших он безжалостно добивал штыком и лопатой. Вокруг него уже скопилось несколько вражеских тел.

Лейтенант Скиба орудовал больше пистолетом и автоматом, а раненных добивал ударами по голове.

Боря на протяжении всего боя был рядом с Мишей Гольдштейном, прикрывая его от вражеских ударов и пуль. Миша больше отстреливался из автомата, а Боря чаще пользовался штыком и лопатой. На их счету уже было около десятка вражеских трупов. Бой уже подходил к концу и, казалось, что они выйдут из него невредимыми, но сражённый очередью из Мишиного автомата немец, собрав последние силы, выпустил в Мишу свою обойму. От этого Боря не смог уберечь своего друга. Бой завершился без их участия.

Боря отнёс Мишу в безопасное место и оказал ему первую помощь. Ранение оказалось тяжёлым. Судя по сильной боли в правой ноге, выше колена, и непрекращающемся кровотечении, пуля повредила бедренную кость и Миша нуждался в срочной медицинской помощи.

В последние минуты боя, когда уже наша победа не вызывала сомнения, мы услышали шум приближающихся немецких танков. Это прорвавшиеся через траншеи танки, поняв бессмысленность своего продвижения в наш тыл без отрезанной от них пехоты, повернули назад, стремясь вернуться на свои исходные позиции. Их было около десятка и они открыли интенсивный пушечный и пулемётный огонь.

От снарядов и пуль пострадали и наши бойцы, и немцы. В пылу рукопашного боя мало заботились о защите от обстрела, что вызвало большие потери.

Осколками разорвавшегося в траншее снаряда ранило и меня. Я почувствовал сильный удар в левое предплечье и живот. Женья был рядом и видел, как меня качнуло и свалило наземь. Убедившись, что я не теряю сознание, он велел мне лежать в углу траншеи, а сам занялся очнувшимся рядом немцем, стреляющим из автомата. Только когда тот безжизненно выпустил из рук автомат и больше не представлял для нас опасности, Женья занялся мною и оказал мне необходимую помощь. Он наложил повязки на раны, дал глотнуть спирту из баклажки и велел лежать до конца боя.

Поняв бессмысленность дальнейшей борьбы, немцы стали выбираться из траншей и, отстреливаясь, начали отходить. Большинство из них так и не вернулись на свои исходные позиции, сраженные огнём наших пулемётов и автоматов.

Когда немецкие танки приблизились к нашим траншеям они были встречены дружным огнём противотанковых ружей и забросаны связками гранат и бутылками с зажигательной смесью. На тыльной стороне наших траншей безжизненно застыли три немецких танка, а ещё два из них были подбиты с обратной стороны.

Всего в том бою на участке обороны полка, немцы потеряли 12 танков и более 300 солдат и офицеров. Сколько раненых ушло или было вынесено с поля боя неизвестно. В траншеях нашего взвода немцы оставили тридцать солдат и двух офицеров.

Большими были и наши потери. Только убитыми наш взвод потерял 15 бойцов. В медсанбат было отправлено 8 человек. Большинство раненых, в том числе и наш друг Миша Гольдштейн, были отправлены затем в тыл, в эвакогоспиталь для лечения. Моё ранение, к счастью, оказалось не тяжёлым. Женья помог мне добраться до медсанбата, где мне обработали раны, остановили кровотечение и наложили повязки. Осколки не повредили кость и врач, по просьбе Жени, разрешил мне вернуться в часть под обещание ежедневно являться на перевязки.

Итак, из нашей семёрки в строю осталось только трое - Боря, Женя и я.

Трудным было наше прощание с Наумом и Иосифом. Как и Рому Бройтмана, мы похоронили их не в братской могиле, как хоронили всех погибших в том бою, а отдельно, под высокой ивой, на краю сельского кладбища, рядом с Ромой.

Были прощальные речи комиссара Белкина, командира взвода Ивана Скибы и, прерываемые спазмами в горле и слезами, слова прощания троих оставшихся в живых друзей погибших юношей.

Трудно было себе представить, что никогда больше мы не увидим этих добрых, скромных и преданных ребят, ставших нам за эти два месяца войны такими родными и близкими. Трудно было поверить, что никогда больше не услышим полуболившихся нам музыки Наума и песен Иосифа. Не было сомнения в том, что мы хоронили сегодня двух очень талантливых ребят. Они не дожили до своего признания, не доучились до своей славы, не допели, не доиграли, не долюбили.

В могилу Наума уложили гитару, а в могилу Иосифа - гармошку.

Были отданы все полагающиеся героям воинские почести. Установили памятники со звездой и табличкой, где значились их фамилии, имена и те же, что и у Ромы, даты рождения и смерти: 1924-1941.

В тот же день отправляли в госпиталь Мишу Гольдштейна. Мы понимали, что вряд ли когда-нибудь встретимся, вряд ли услышим ещё его милые шутки и весёлые анекдоты. Миша потерял много крови и очень изменился за прошедшие сутки. Он выглядел бледным и слабым. Преодолевая боль, он улыбался и обещал писать нам из госпиталя, а после выздоровления вернуться в наш полк.

Мы договорились, что если будем живы, то после войны обязательно встретимся в Немирове, где начиналась наша дружба.

38

Боря и Женя ухаживали за мной, как за больным ребёнком. Они соорудили мне удобную постель, которую называли «лежачий плацкарт», по часам кормили таблетками, которые назначил врач из медсанбата, и даже умудрялись в условиях нашей траншеи, обстреливаемой из артиллерии и миномётов, кормить меня горячими супами из концентратов и поить чаем. Этим они тоже выполняли советы врача.

Как не убеждал я их, что в таком уходе нет необходимости, что я чувствую себя хорошо и почти не ощущаю боли в ранах, изменить что-нибудь в их поведении мне не удавалось, пока врач при очередном осмотре и перевязке не подтвердил, что раны заживают хорошо, опасность миновала и меня можно переводить на «ходячий режим» при условии максимального соблюдения требований санитарии и гигиены.

И эти условия мои заботливые друзья старались обеспечить. Меня снабдили достаточным количеством воды для мытья рук, добыли новый портяночный материал, который заменял салфетки и полотенца, в чистоте содержалась солдатская посуда.

Всё это, а также ежедневные перевязки, позволило избежать инфекции и способствовало быстрому заживанию ран и полному моему выздоровлению.

Этому помогло и затишье в боях. После последней ожесточённой атаки немцы вот уже несколько дней не предпринимали более новых попыток сломить нашу оборону и ограничивались только обстрелом позиций из пушек и миномётов.

Трудно сказать, как бы мы теперь смогли удержать наши рубежи, если бы немцы предприняли новые атаки.

Во взводе осталось в строю всего десять бойцов, командир нашего отделения Василий Степанович и лейтенант Скиба. При такой численности отпала необходимость деления взвода на отделения и Василий Степанович стал заместителем командира взвода.

Подобное положение было и в других подразделениях полка. В строю осталось меньше половины личного состава.

Правда, вооружения у нас заметно прибавилось. Теперь, все мы сменили свои винтовки со штыками на удобные немецкие автоматы, на каждого в нашем взводе хватало по станковому пулемёту. Собрали много гранат и патронов.

Всем досталась добротная немецкая обувь и никто больше не пользовался обмотками. Полакомились мы и галетами, консервами, вкусными концентратами и даже шоколадом.

Однако, если говорить о боеспособности полка, то она вызвала серьёзные опасения, ибо прежняя линия обороны должна была удерживаться меньшей в несколько раз численностью бойцов.

Командир и комиссар полка несколько раз в день обходили траншеи, отдавая нужные распоряжения и подбадривая приунывших бойцов. Они обещали всех оставшихся в живых представить к правительственным наградам за проявленные в прошедших боях отвагу, стойкость и мужество. Особенно восхищались они массовым героизмом, проявленным бойцами и командирами нашего взвода в рукопашной схватке с превосходящим по численности и вооружению противником. Комиссар сказал, что напишет в армейскую газету о последнем бое и особенно об отражении танковой атаки немцев.

И всё же, несмотря на похвалы начальства, настроение у бойцов было грустным.

Перед глазами всё ещё стояли ужасы недавнего боя. Не забывалась и цена достигнутого успеха. Для большинства участников минувшего сражения оно стало последним. Они либо навсегда ушли из жизни, или стали калеками. Мы понимали, что если и предстоящие бои будут такими же, всех нас ожидает та же участь.

Не было никаких оснований ожидать в скором времени каких-нибудь серьёзных изменений в ходе войны, особенно в уровне вооружения нашей армии и в первую очередь в её оснащённости танками, самолётами и артиллерией, которые, в конечном счёте, определяют положение на фронте.

Особенно грустным было настроение у Бори и Жени. В течение десяти дней боёв наша семёрка, чудом сохранившаяся в полном составе при многочисленных обстрелах и бомбёжках первых двух месяцев войны, потеряла более половины своего состава, притом трое покинули нас навсегда. А к тому ещё моё ранение, которое могло иметь и более тяжкие последствия.

Не лучшим было настроение у меня. Как и Боре и Жене, мне было невыносимо тяжело от мысли, что нет более милых моему сердцу Ромы, Наума и Иосифа, а разлука с Мишей может тоже оказаться вечной. Мне было грустно и потому, что после рукопашной схватки я отчётливо понимал свою неполноценность, как солдат, свою беспомощность, когда нужны сила, рост и вес взрослого мужчины.

Вспоминая отдельные эпизоды боя, я отдавал себе отчёт в том, что уцелел только благодаря заботам Жени, который оберегал меня, как своего брата. В голову назойливо лезли мысли о риске, которому он себя подвергал, защищая меня. Было трудно себе представить, что ждёт меня в случае потери Жени и Бори. Они, после боя, стали мне ещё ближе и родней.

39

Продолжавшееся почти неделю затишье удивляло и волновало. Все, начиная от командира полка и комиссара, и кончая нами, рядовыми бойцами, понимали, что немцы не могли смириться с поражениями в последних боях и не сомневались в том, что они вскоре начнут очередную наступательную операцию на этом участке фронта.

Комиссар Белкин, отвечая на наши вопросы при очередном обходе позиций, высказал предположение, что возможно противник оттянул силы на Киевское направление, где тогда готовилось крупное наступление немецких войск. Там тогда были сосредоточены основные воинские части и боевая техника Киевского военного округа - одного из ведущих в Красной Армии.

Однако, более вероятным он считал худший для нас вариант - осуществление немцами плана окружения нашей дивизии и выход к Днепру севернее и южнее наших оборонительных рубежей.

Такую тактику немцы нередко применяли в первые месяцы войны. Успеху их маневров способствовали преимущества в вооружении и транспортных средствах, что обеспечивало маневренность, быстрое продвижение на флангах и последующее уничтожение или пленение попавших в окружение частей Красной Армии.

Как потом выяснилось, это предположение комиссара подтвердилось. Немцы крупными силами прошли севернее и южнее нас, где легко преодолели менее стойкое опротивление наших войск, и намеревались окружить части нашей дивизии, находящиеся уже в полукольце.

Что же касается второго предположения комиссара о возможной передислокации немцев на Киевское направление, то, как стало вскоре известно, в этом отпала необходимость, ибо, к тому времени, войска Киевского военного округа уже находились в плотном кольце окружения и в середине сентября были вынуждены капитулировать. 19-го сентября немцы, практически без боя, вошли в столицу Украины, город Киев.

Известие о пленении отборных частей Красной Армии под Киевом оказало пагубное влияние на моральный дух наших бойцов. Царивший ещё вчера подъём, вызванный отражением атак противника на нашем участке, возникший огонёк надежды на возможный перелом в ходе военных действий на юго-западном фронте быстро угасли и мы вновь впали в уныние и пессимизм в отношении наших возможностей остановить немцев на правом берегу Днепра.

Догадываясь о нашем настроении, а может быть и разделяя его, комиссар Белкин собрал нас в блиндаже командира взвода Скибы и повёл откровенный разговор о положении на фронте. После объективного анализа соотношения сил он сделал вывод, что нам не следует ждать чудес. Немцы, говорил он, очень сильны, на них работает половина Европы, но положение постепенно меняется и нам нужно выиграть время. Он призвал нас не падать духом, набраться терпения и не терять веры в нашу, пусть не скорую, но обязательную победу над фашизмом.

А ещё он поведал о решении командования оставить занимаемые нами позиции и отойти в тыл, пока вокруг нас не сомкнулось кольцо окружения.

40

Командир полка Кийков приказал быть готовыми к отходу на рассвете. Нашему взводу выделили в помощь несколько бойцов для выноса разобранных на части пулемётов и запаса боеприпасов. К вечеру

упаковали в рюкзаки солдатскую амуницию и сухой паёк на три дня, подготовили автоматы, запас патронов, ручных гранат и улеглись на отдых.

Не спалось. Было жаль покидать обжитые траншеи, где две недели стояли насмерть и не пропустили врага. Сюда полк пришел укомплектованный полной штатной численностью, а уходит отсюда только третья часть его бойцов и командиров. Здесь мы, семёрка немировских семнадцатилетних ребят, похоронили трёх своих боевых друзей - Романа, Иосифа и Наума и отправили в госпиталь тяжело раненного Мишу Гольдштейна. Нас осталось трое и мы всегда вместе. Даже постель наша в тесной траншее общая. Рядом с нами Василий Степанович - наш командир, учитель и старший друг. Нависшая над нами смертельная опасность сблизила нас с ним. Он часто называл нас сынками, а мы его батькой. Рядом с ним мы чувствовали себя более уверенно. Перед сном он внимательно проверил наше обмундирование и обувь, выдал новые портянки и укрыл вторыми шинелями. Ночи стали уже холодными.

Сон был недолгим и тревожным. Лейтенант Скиба поднял нас задолго до общей команды. Он тщательно проверил готовность каждого из нас и велел быть предельно осторожными и внимательными на марше. Немцы могут подстергать нас в любом месте. Он назвал конечный пункт маршрута - совхоз имени Ленина, под Днепропетровском.

Перед выходом по траншеям прошёл комиссар Белкин. Он выразил уверенность, что новую задачу «пробриться к своим» мы решим так же, как выполнили приказ «не пропустить врага».

Тронулись тихо, не спеша и скрытно. Судя по тому, что обычный утренний артобстрел наших траншей мы услышали уже в пути, не вызывало сомнений, что немцы не догадывались о нашем уходе.

Когда сентябрьское солнце уже рассеяло утренний туман и согрело воздух, полк остановился на привал в густой ложине на берегу небольшого озера.

Слева от нас были слышны далёкие раскаты артиллерийской канонады. Там, наверное, сейчас шли бои с немцами, рвущимися к Днепру.

После небольшого перекуса и короткого отдыха двинулись дальше. Все понимали, как важно побыстрее пройти опасную зону. В первые сутки прошли не более 25 километров и заночевали в свободном от скота колхозном волоннике.

Под утро раздалась стрельба справа от нас. Как оказалось, немецкие танки вошли в село, расположенное в нескольких километрах от нашей стоянки. Дальше двигались быстрее и за вторые сутки прошли более тридцати километров. Впереди колонны и на флангах двигались дозоры, призванные предупреждать об опасности. Опасались налётов немецкой авиации, но самолёты летели на восток, к Днепропетровску и к переправам через Днепр и нас ни разу не подвергли бомбёжке. Вероятно, рядом с нами были немецкие части и была опасность сбросить бомбы на своих. К исходу третьего дня полк благополучно добрался до конечной цели марша и разместился в просторном здании школы пригородного совхоза имени Ленина.

Нашему взводу досталась большая классная комната, что, с учётом неполной нашей штатной численности, нас вполне устраивало. Первую ночь спали, как обычно, на сене, а утром приступили к сооружению постоянных нар. Комиссар говорил, что здесь мы будем ждать пополнения личного состава.

41

Наш взвод укомплектовали пожилыми уже людьми, призванными военкоматами Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей. Это были, в основном, сельские жители, бывшие колхозники и рабочие совхозов, шофера и электрики, трактористы и слесари, бригады и счетоводы. Военным специальностям большинство из них не были обучены и лейтенанту Скибе пришлось вновь начинать учёбу личного состава пулемётному делу, стрельбе из винтовки и автомата, технике безопасности при пользовании бутылками с горючей смесью и метании гранат.

Теперь уже и мы, «старички», могли ему быть полезными, и мы охотно передавали свой опыт новичкам. Мне и Жене оставили наш «Максим», а Боре дали новый. Его помощником стал немолодой уже боец - бывший тракторист.

Учебные занятия отнимали много времени. Никто не знал, как долго полк будет находиться на переформировке, и поэтому командир полка и комиссар стремились наиболее полно использовать имевшееся время.

Нам сменили пришедшее в негодность обмундирование, выдали новые шинели, а новичкам вместо обмоток дали кирзовые сапоги.

Кормили нас намного лучше, чем на передовой. Теперь мы три раза в день получали горячую пищу из полевой кухни. Появилось новое блюдо - каша с яичным порошком. Особенно всем нравилась пшённая каша с такой добавкой.

Комиссар объяснил, что яичный порошок мы получаем из Америки. И ещё оттуда стали поступать различные консервы. Больше других понравилась свиная тушёнка, залитая жиром. Она была вкусной и

сытной. Солдатский рацион теперь стал более разнообразным. Нас стали кормить картофелем и овощами, которые полковые интенданты добывали в соседних колхозах и совхозах. Нередко потчевали и фруктами.

Лейтенант Скиба не забывал о науке окапывания. Лучшим инструктором в этом деле, как и раньше, был Василий Степанович. Несмотря на то, что теперь вновь были восстановлены все прежние отделения взвода, и он опять стал командиром нашего отделения, комвзвода и сейчас считал его своим заместителем, часто давал ему поручения, относящиеся ко всему взводу. Вот и теперь он обучал окапыванию бойцов всех отделений взвода.

Боря теперь был в нашем отделении. Он, как и Женя, в совершенстве знал пулемёт и мастерски владел им. Своего помощника, назначенного к нему в расчёт вторым номером - дядю Матвея, как мы его любовно называли, Боря обучил выполнению не только вспомогательных работ, но и технике стрельбы, сборке и разборке пулемёта и уходу за ним. Всему этому обучил Женя и меня. Боевой опыт подсказывал необходимость взаимозамены в непредвиденных ситуациях.

Дружеские отношения между оставшимися в живых бойцами и командирами нашего взвода оказывали положительное влияние на новое пополнение. Все новички были дружны с нами и между собой. Такие отношения способствовали также твёрдой воинской дисциплине и беспрекословному исполнению приказов командиров.

В одной из бесед комиссар Белкин рассказал новичкам об истории нашего полка, образованного в июне 1941-го года и о его боевых традициях. Особенно подробно он говорил о недавних сражениях на дальних подступах к Днепропетровску, о том, как не дрогнули бойцы и командиры в танковой атаке и рукопашных схватках с врагом. Он поимённо назвал героев, павших в жестоких боях, в том числе и наших друзей: Романа Бройтмана, Наума Дорфмана и Иосифа Богуславского.

В напряжённом ритме шли дни. В конце сентября, после того, что наши войска оставили Киев и ряд других промышленных центров правобережной Украины, немцы усилили наступательные действия, стремясь до холодов форсировать Днепр. Чувствовалось, однако, что и у них резервов не хватает. Основные их силы были направлены тогда на Москву. Ожесточённые танковые сражения шли в те дни под Смоленском и Вязьмой. В них одновременно участвовало по несколько тысяч танков с обеих сторон. Там и были сосредоточены главные немецкие резервы. Туда же и направлялись основные силы Красной Армии, в том числе поступающая военная техника из Америки и продукция оборонных заводов Сибири и Урала.

Немцы понимали, что затяжная война и приближающаяся зима - не их союзники.

42

Лейтенант Скиба имел обыкновение собирать в конце дня личный состав взвода для подведения итогов и постановки задач. Этот порядок нарушался только тогда, когда взвод вёл бой с противником или, когда немцы обстреливали наши позиции и было не до собраний.

В этот день полк находился ещё на отдыхе в пригородном совхозе и ничто не могло нарушить установившуюся традицию. Был тихий и сравнительно тёплый октябрьский вечер. Солнце садилось в чистый горизонт, что обещало ночные заморозки.

Ясная солнечная погода, сменившая нескончаемые холодные дожди конца сентября, тёплые казармы, разместившиеся в просторном школьном здании и сытая кормёжка создавали оптимистический настрой. Вновь появлялась надежда на положительные изменения на фронте.

Собрали нас в большой классной комнате, усадили за парты, а за учительским столом сидели командир взвода и политрук роты. Присутствие политрука и какое-то необычно суровое выражение лица лейтенанта предвещали неординарный характер предстоящего разговора.

Иван Скиба рассказал о завершении пополнения полка личным составом и техникой, о готовности к выполнению новых задач. Он сказал несколько добрых слов в адрес новичков, составляющих среди нас большинство. Затем комвзвода сообщил о том, что наш полк, отличившийся в июле в подавлении вражеских десантов, а в сентябре при отражении ожесточённых атак противника на дальних подступах к Днепропетровску, направляется на уничтожение немецкого десанта, внезапно овладевшего городом Красноградом, Харьковской области, находящегося далеко от линии фронта.

Мы узнали почти неправдоподобную историю высадки этого десанта. На одной из прифронтовых станций немцы сформировали «санитарный поезд» из четырёхосных товарных вагонов (теплушек) с красными крестами на стенах и крышах, усадили в эти вагоны вооружённых до зубов солдат, погрузили в них пулемёты, миномёты, пушки и даже лёгкие танки, и в сопровождении команды бывших советских врачей - предателей во главе с «начальником госпиталя» в форме подполковника медицинской службы, отправили за линию фронта. Об отправке эшелона с «эвакогоспиталем» сообщалось по маршруту его следования, и поезд на всех станциях пропускали в тыл в первую очередь, как это принято было в то время. Все документы у «начальника госпиталя» были, конечно, в «полном порядке». При том хаосе, которым в то время отличались прифронтовые железные дороги, это оказалось возможным.

На небольшой станции Красноград ворота теплушек одновременно раскрылись, немецкие солдаты практически без всякого сопротивления овладели вокзалом, а затем с помощью артиллерии, миномётов и танков быстро подавили сопротивление небольшого гарнизона этого города.

Десанту удалось быстро закрепиться, оборудовать и приспособить оборонительные сооружения и превратить этот небольшой городок в военную крепость. Этому способствовало выгодное расположение города на возвышенности, окруженной болотами и небольшой речушкой, за которой в некотором отдалении были редкие кустарники и молодая роща.

После столь подробного объяснения обстоятельств овладения городом и ландшафта местности, командир взвода и политрук довели до нашего сведения, что наш полк в составе частей 270-ой стрелковой дивизии должен срочно передислоцироваться в район предстоящей операции и принять участие в подавлении подготовленного к длительной обороне и осаде десанта.

Наверное, немцы рассчитывали удержать плацдарм до прихода регулярных частей своей армии, наступающей по всему фронту.

Нам давалась одна ночь на подготовку материальной части и отдых. Вопросов никто не задавал. Было ясно, что сражение будет трудным.

Легли рано. Тяжкие думы не давали уснуть. Перед глазами проносились незабываемые страшные картины прошедших месяцев войны. Вспомнил я город детства Красилор и оставленных там в немецкой оккупации родных и близких, Немиров и бегущую за строем малолетнюю сестрёнку Полечку, умоляющую не оставлять её одну, прощание со старшим братом Сёмой, заменившим нам так рано ушедших обоих родителей, последнюю июньскую открытку брата Зюни, призванного в авиацию в первые дни войны. Что с ними теперь? Живы ли ещё?

Возникли в памяти воспоминания о трудном переходе через всю Украину колонны подростков-допризывников и о незабываемых ужасах на строительстве оборонительных сооружений.

Память приносит картины недавних жестоких сражений, унесших из жизни каждого второго солдата и милых друзей - Романа, Наума, Иосифа, и искалечивших каждого третьего и среди них весёлого и доброго друга Мишу Гольдштейна.

Теперь рядом со мной спят только двое из нашей семьи - Боря и Женя. Что будет с ними и со мной завтра в этом трудном сражении за Красноград?

С этими мыслями я и уснул перед завтрашним боем.

43

Проснулись до общего подъёма из-за шума множества автомобилей, заполнивших школьный двор и прилегающую площадь. За все месяцы войны мне впервые приходилось видеть такое множество автомобилей. До сих пор все переходы, передислокации и маршруты полка, в том числе и на довольно большие расстояния, мы совершали пешим маршем, а тут такая техника! Мы даже уже потеряли веру в то, что в нашей армии есть такое множество автомобилей.

Мы их раньше почти не видели, а танки советские нам встретились только раз, когда они колонной шли к Киеву. В нашей дивизии танков вообще не было и предыдущие военные операции осуществлялись без их участия. Как нам сказали, их не будет и в предстоящей операции по освобождению Краснограда.

А вот автомобили нам сегодня подали и мы разместились в них довольно удобно. В семь утра колонна тронулась. Боря и Женя были рядом. Наш пулемётный взвод с материальной частью, станковыми пулемётами и запасом боеприпасов разместился на двух больших автомобилях.

Настроение у всех было боевое. В новом чистом обмундировании, с подготовленными к бою винтовками и автоматами, бойцы сидели стройными рядами и выглядели довольно браво. Хотя мы втроём были самыми молодыми во взводе и многим по возрасту в дети годились, но зато были уже обстреляны и имели какой-то опыт, чего не было у большинства пожилых солдат из нового пополнения.

Дорога шла в тыл, погода была пасмурной, что ограничивало действия авиации противника, и мы благополучно, без приключений, к исходу светового дня прибыли к месту разгрузки, небольшому селу, расположенному на окраине берёзовой рощи, в нескольких километрах от Краснограда.

Уже темнело, когда мы разгрузились и в пешем порядке двинулись на исходные позиции. Навстречу нам, по дороге к селу двигались раненые из частей, которые уже пытались освободить город. Некоторые шли сами, других несли на носилках. Слышна была артиллерийская перестрелка, вой мин и автоматные очереди.

Мы заняли позицию на краю лощины, у открытого поля, отделяющего нас от окраины города. К вечеру похолодало, ожидалась заморозки. Получили команду окапываться. Хотя земля была мокрой и глинистой, мы быстро справились с этой задачей и вырыли себе три удобных окопа рядом и гнездо для пулемёта. Поблизости от Бори окопался его второй номер - дядя Матвей.

Когда трельба прекратилась, мы получили право на несколько часов отдыха. Задолго до рассвета объявили подъём, и полк двинулся по мёрзлому полю к городу. Вода в лужах замёрзла и мы старались не

ступать на лёд, чтобы не вызвать шума. Скрытно подобрались к окраине города и залегли. Было тихо, немцы, вероятно, не заметили нас. Лейтенант предупредил, что атака начнётся по сигналу ракеты.

И вот сигнал получен, и мы с шумом, криками «ура», под аккомпанемент пулемётных и автоматных очередей ворвались в город.

Немцы, казалось, были застигнуты врасплох и, отстреливаясь, стали отходить к центру. Видны были фигуры бегущих солдат и по ним можно было вести прицельный огонь. На нашем пути уже встречались убитые и раненые немцы, а мы, воодушевлённые успехом атаки, рвались вперёд. Казалось, ничто не сможет спасти фашистов от поражения.

Однако, по мере нашего продвижения к центру сопротивление противника всё усиливалось, и мы попали под заградительный автоматный, пулемётный и миномётный огонь. Слышны были стоны раненых, зовущих на помощь. Лейтенант Скиба командовал занять оборону, и мы быстро разобрались на местности, используя для укрытия дома, сараи, заборы. Подсчитали первые потери: двое раненых и один убитый. Все из нового пополнения.

Во время атаки и сейчас я, как обычно, держался рядом с Борей и Женей. Заняли пустой сарай и подготовились к возможной контратаке противника. Стало светло и мы установили, что здорово потеснили немцев и дошли почти до центра города. На какое-то время огонь стих и они не проявляли активности. Успех операции уже не вызывал сомнения и, казалось, что ещё одной нашей атаки будет достаточно для освобождения города от десанта. Кто-то пошутил, что обедать завтра будем в ресторане. Настроение было приподнятое. Не часто доводилось видеть бегущих немцев в начале войны.

Боря организовал завтрак сухим пайком и стали ждать команды к очередной атаке. И тут мы услышали шум моторов. Это были немецкие танки, движущиеся со стороны поля, прилегающего к городу, того же поля, с которого на рассвете началась наша атака.

Одновременно немцы открыли шквальный огонь по нашим позициям из миномётов, из центра города. И хотя танки были лёгкими и их было немного, этого оказалось достаточно для паники. Немцы начали контратаку под прикрытием града огня из всех видов оружия, включая пушечный обстрел из танков. Первыми дрогнули и побежали новички. Мы видели, как двинулись в обратную сторону и части других подразделений, участвовавших в штурме города.

Лейтенант Скиба дал команду отходить. Короткими перебежками, под прикрытием домов, дворовых построек и заборов, отстреливаясь, мы двинулись к полю, примыкающему к городу. Я старался не отрываться от Бори и Жени, которым пришлось тащить ещё и станковый пулемёт. Они определяли маршрут движения, время и длительность передышек, и старательно обходили движущиеся по улицам танки противника. Оказалось, что в городе с танками бороться не легче, чем на открытой местности.

Старались двигаться по тем же улицам, переулкам и дворам, по которым мы утром наступали к центру города. Удачно маневрируя, мы благополучно вышли на окраину и укрылись в одном из дворов, дожидаясь подхода отступающих бойцов нашего взвода. Разместившись в сарае и заправив свежую ленту в «Максим», подготовились к возможной атаке немцев.

Двигаться через открытое поле нельзя было, так как оно простреливалось из миномётов и стрелкового оружия. Боря обследовал ближайшие дворы и в одном из них разыскал лейтенанта Скибу, Василия Степановича и нескольких бойцов из нашего взвода. Комвзвода приказал дожидаться сумерек, а затем добираться до лощины, где ждать дальнейших указаний.

Хоть дни в октябре и короткие, но время тянулось долго. К тому же немцы продолжали беспорядочный огонь по окраине города из миномётов, а затем начали прочёсывать дворы с участием мотоциклистов-автоматчиков.

Четыре автоматчика на двух мотоциклах появились и в нашем дворе. Опасаясь быть обнаруженными, мы открыли огонь первыми. После нескольких пулемётных очередей и короткой перестрелки мы стали владельцами немецких автоматов, а четыре трупа солдат и два мотоцикла остались в этом дворе.

Под покровом вечерних сумерек двинулись к лощине. Короткими перебежками под беспорядочным миномётным и оружейным огнём, нам удалось преодолеть открытое поле, но когда мы достигли её и казалось, что всё самое страшное позади, немцы открыли по лощине ожесточённый миномётный огонь. Думаю, что этим огнём кто-то довольно точно управлял, так как мины разрывались именно там, где скапливались группы отступающих бойцов.

К вечеру похолодало, и вода по обе стороны дорожки, ведущей к селу, покрылась тонким слоем льда. Кустарники были низкими и редкими, укрыться, практически, было негде. Боря крикнул нам сойти с дорожки, где мины ложились чаще, а мы стали для них открытой мишенью. Он велел рассредоточиться и двигаться через кустарники в направлении села. Я свернул с дорожки вправо, а Женя влево. Боря продолжал с перерывами свою перебежку по дорожке, наблюдая за нами по обе стороны от себя. Быстро двигаться мы не могли из-за большого веса амуниции и разобранных станковых пулемётов.

Со всех сторон рвались мины, многие из которых попадали в цель, унося жизни наших солдат. Когда я пробежал половину пути и уже просматривалось поле, отделяющее лошину от села, услышал вой мины, летящей, как мне казалось, прямо на меня. Успел прижаться к земле, но это не помогло. Я услышал разрыв большой силы и меня куда-то унесло...

Очнулся от холода и желания пить. Вокруг было темно. Я лежал в воде, покрытой тонкой коркой льда. Попытался прильнуть губами к жиже, в которой лежал. Из левого глаза хлынула кровь и я почувствовал острую боль в левом коленном суставе. Нельзя было оставаться лежать в ледяной воде и я, опираясь на руки, стал двигаться к стожку сена, находящемуся поблизости. Когда мне это, наконец, удалось и я устроился в сухом, приятно пахнущем сене, вдруг услышал невдалеке немецкую речь. С трудом присмотревшись через щелочку в сене, я увидел на дорожке, идущей к селу, машину и несколько немецких солдат с автоматами. Они направлялись в сторону моего укрытия, осматривая по пути трупы наших солдат и подбирая кое-что из оружия. Чувствуя себя в полной безопасности, они громко разговаривали, шутили и посмеивались. Один из них возился с трупом, лежащим рядом со стожком сена, укрывшем меня, и стал своим тяжёлым солдатским ботинком на палец моей руки. Хотя между пальцем и ботинком был какой-то слой сена, боль была невыносимой. Немец поднял лежащий рядом автомат, порывшись в вещмешке и карманах убитого и всё продолжал стоять, сжимая мой палец. Он подозвал другого солдата, передал ему трофеи и тщательно осмотрел участок вокруг моего укрытия, пользуясь фонариком. Силы покидали меня из-за сильной боли в пальце, ранений в ногу и голову, а больше из боязни быть обнаруженным немцами. Любой мой звук или движение неминуемо бы привели к этому.

К счастью всё обошлось. Немцы закончили осмотр и уехали в направлении Краснограда.

Кругом было тихо. Рассвело. Я мог уже видеть, как много однополчан полегло в этой лошине. Было ясно, что полк ушёл в направлении села, а немцы вернулись в город. Нужно было что-то делать, ибо здесь меня поджидала смерть от потери крови, голода, холода и жажды.

Я попытался что-либо поест из остатков сухого пайка и обнаружил, что кроме уже известных мне ранений, один из осколков мины пробил щеку и выбил несколько зубов, что вызывало сильную боль при попытке жевать пищу. Единственное, что мне удалось, это проглотить несколько кусочков размокшего в моём вещмешке сахара, что вызвало ещё большую жажду, утолить которую было нечем.

Взошло солнце. Потеплело. Нужно было покидать своё тёплое убежище и искать спасения. Я отчётливо понимал, что вторую ночь мне здесь не выжить. Дождаться помощи своих было опасно, ибо лошина обстреливалась немцами и находилась под их контролем. Скорее можно было дожидаться второго прихода сюда немцев.

Попытался подняться, но невыносимая боль в ноге и головокружение свалили меня. Я подобрал лежащую невдалеке палку и, опираясь на неё, стал медленно передвигаться к дорожке, ведущей в село. Каждое движение отдавалось сильной болью в колене, из-за которой я не чувствовал боли от нескольких других ран, которые я успел обнаружить, если не считать того, что совсем не видел левым глазом.

Было тихо. Только изредка слышны были одиночные выстрелы и короткие автоматные очереди. Я так ослабел, что приходилось отдыхать через каждые 10-15 минут. И всё же, к полудню мне удалось добраться до поля. Были видны белые хаты на краю села и слышен лай деревенских собак.

Двигаться в село через открытое поле днём было опасно, так как я стал бы живой мишенью. Решил дожидаться сумерек и уж тогда рискнуть добраться до села. Уверенности в том, что там ещё находятся наши части не было. Я отполз от дорожки и устроился на сухом месте под кустарником. Мучила жажда. Чувствовал, что появился жар. Невдалеке паслась корова, и одолевала мысль подползти к ней и попытаться надоить молока. Но силы покидали меня и я то ли уснул, то ли потерял сознание. Очнулся, когда начало темнеть, от услышанной поблизости русской речи. Собрав последние силы, я позвал на помощь. Подбежали два солдата. По наличию у них сумок с изображением красного креста, я догадался, что это наши санитары. Они напоили меня водой, дали несколько глотков спирта и, соорудив самодельные носилки, потащили к селу. Двигались ползком, так как поле простреливалось. Добрались благополучно и довольно быстро. Меня занесли в чистую комнату, посреди которой стоял стол, покрытый белой скатертью, уставленный фруктами, овощами, творогом и приятно пахнущей колбасой. Вероятно это была хата медсанчасти полка. Санитары пытались меня накормить, но, кроме молока, я ничего не мог есть. Одного из санитаров звали Васей и он был рыжим, почти красным. Его доброе отзывчивое лицо я помню до сих пор. Вася сказал, что из села все ушли, нужно уходить и нам. Он измерил мою температуру и заторопился. Меня раздели, сняли сапоги, наскоро перевязали раны и уложили на телегу, стоящую в хлеве. Запрягли лошадь, и мы покатали к какой-то небольшой железнодорожной станции.

По дороге я несколько раз терял сознание. Боль в ноге всё усиливалась. На станции дождался санитарного поезда, следовавшего на станцию Лозовая. Мест в поезде не было и меня уложили в проходе. Пришёл врач, бегло осмотрел мои раны, пощупал пульс и велел сделать несколько уколов.

В сознание пришёл в госпитале. Как мне стало известно позднее, он находился на станции Лозовая. Я лежал в небольшой палате, где, кроме меня, было ещё несколько тяжелораненых. В палате было тепло,

чисто и тихо. Изредка слышались стоны. Подошла сестричка и предупредила, что меня вскоре повезут на операцию. Не было сил даже что-либо ответить ей. Пробежали только мысли о последнем бое с немецким десантом, о страхе и бессилии перед вражескими танками, о друзьях-товарищах Боре и Жене, о лейтенанте Скибе и Василии Степановиче. Что с ними теперь? Взяли ли Красноград?

Подкатили стол на колёсах. Два санитаря легко перенесли меня с кровати и покатали в операционную. Было очень больно от любого толчка или прикосновения. Операцию делали под наркозом. Я проснулся ночью и понял, что наложили гипс, лишивший меня возможности даже сидеть. Оказывается было ещё ранение в поясницу. Я мог лежать только в одном положении на спине. Меня напоили из чайника каким-то бульоном. Боль утихла и мне стало немного легче.

Через несколько дней в палату привезли тяжелораненого молодого бойца, которому тут-же ампутировали ногу. Когда он, после операции, пришёл в сознание, то рассказал, что участвовал в повторном штурме Краснограда. Кроме нашей дивизии в нём участвовали другие воинские части, оснащённые артиллерией и танками. Много наших солдат полегло в том штурме, но город освободили.

Стало как-то легче на душе от того, что не зря пострадал я в том, последнем для меня, сражении большой войны, которая только по настоящему ещё начиналась.

Я вступал в новую битву за собственную жизнь, в которой никто не мог предсказать, кто окажется победителем.

44

Эвакогоспиталь размещался в здании средней школы и об этом можно было догадаться, даже не выходя за пределы палаты. На стенах висели портреты классиков украинской литературы Тараса Шевченко и Ивана Франко, а со стены даже не сняли классную доску. Чувствовалось что переоборудование школы под госпиталь проходило в спешном порядке и многое, что было необходимо для стационарного лечения и ухода за ранеными ещё не успели, не смогли, а возможно и не собирались сделать. Всё в госпитале было временным.

Главное, о чём позаботились организаторы госпиталя, было завезти и разместить максимальное количество кроватей. В этом они преуспели: койки стояли почти вплоты одна к другой, и узкий проход для обслуживающего персонала был оставлен только с одной стороны. Даже в школьных коридорах размещались кровати.

Не доставало в госпитале и медицинского оборудования, инвентаря, медикаментов, перевязочных материалов и обслуживающего персонала.

Главной его задачей было оказать первую врачебную помощь, сделать срочные хирургические операции, наложить гипс и поскорее отправить раненых в тыл. Для этого здесь самоотвержено трудились врачи и медсёстры, повара и посудомойки, санитары и нянечки, интенданты и шофера.

Раненых сюда завозили днём и ночью, не дожидаясь наличия свободных мест. Круглосуточно работали перевязочные и операционные, и непрерывно доставлялись на вокзал, получившие помощь и подготовленные к дальнейшей транспортировке больные. Врачи и медсёстры порой работали сутками, попеременно отдыхая по паре часов в примитивно оборудованных для этого комнатах.

По мере приближения фронта, поток раненых всё нарастал.

Днём, а иногда и ночью, когда сирены объявляли воздушную тревогу, всех ходячих больных отправляли в бомбоубежище, которое размещалось здесь же, в подвале. Об этом сообщалось также по радиорепродукторам, висевшим в каждой палате.

Чаше самолёты только пролетали над городом и тогда вскоре звучал сигнал отбоя, но нередко город подвергался бомбёжке, от которой больше страдал железнодорожный узел. При одном из налётов несколько бомб разорвалось поблизости от нашего госпиталя. Как нам потом рассказали нянечки, одна из бомб упала в соседний с госпиталем двор. Были убитые и раненые, в том числе дети.

Несмотря на то, что мы оставались во время воздушных налётов в палатах и не в состоянии были принять какие-то меры самозащиты, я про себя отметил, что не испытывал страха подобно тому, как это было при бомбёжках на маршах, строительстве оборонительных сооружений или в недавних боях под Днепропетровском.

Врачи и медсёстры при налётах обычно не уходили в убежище, а расходились по палатам, где вместе с нами ждали отбоя. Если сигналы тревоги раздавались во время операций, они не покидали операционную, пока раненого не уносили в палату. Женщины-врачи трудились также самоотвержено и мужественно, как и мужчины.

Я порой сравнивал труд медиков в нашем эвакогоспитале с трудом на оборонительных сооружениях, где мне недавно приходилось работать и приходил к выводу, что здесь он ни чуть не легче и не менее опасен.

Ежедневно были обходы врачей по палатам. Они проводились в быстром темпе, назначения - однообразны: перевязка, антибиотики, диетпитание. Часто раздавалась команда главврача: «На отправку!»

Возле моей кровати врачи, обычно, задерживались. Лечащий врач докладывал главному о слабости, болях в загипсованной ноге, отсутствии аппетита, высокой температуре. Мне назначалась усиленная доза порошков, индивидуальное питание, внимательный уход.

Назначения эти выполнялись. Я получал обезболивающие и противовоспалительные лекарства, меня поили из чайника бульонами и соками, выполняли все мои просьбы, но состояние моё не только не улучшалось, а даже ухудшалось. Боли в колене не прекращались. Каждый шаг, проходящих мимо моей кровати сестёр или нянечек, отдавался сильной болью в ноге, и они, заходя в палату, обувались в мягкие тапочки. Из-за боли в челюсти я, по-прежнему, не мог жевать. Да и не было никакого желания есть. Боли вытеснили все чувства, в том числе и чувство голода.

Госпиталь выполнял, в основном, только хирургические операции на конечностях и моими ранениями в голову здесь не занимались, если не считать перевязки. Я чувствовал, что силы всё более покидают меня.

Каждый день кого-нибудь из моих соседей по палате отправляли в тыл и их места занимали новички. Как правило, лечение давало хорошие результаты и раненые, обычно, уезжали с заметным улучшением.

При очередном обходе главврач задержался у моей кровати дольше обычного. Вероятно, опасаясь за мою жизнь, он дал указание об отправке меня в тыл. Возможно такое решение им было принято и с учётом форсирования немцами Днепра и быстрым их продвижением на восток в направлении Харькова.

На следующий же день санитарный автобус доставил меня на вокзал, где уже загружались вагоны эвакопоезда, уходящего в тыл.

45

В Ворошиловград прибыли ночью. Здесь во всём ещё чувствовался порядок, дисциплина, стабильность. Разгрузка санитарных вагонов эвакопоезда производилась быстро, чётко и организованно. Принимавшие в этом участие женщины были внимательны и участливы. Автомобили скорой помощи расположились ровными рядами на привокзальной площади в ожидании приёма раненых. Молодая женщина-врач в форме капитана медицинской службы руководила распределением больных по машинам и отправкой их в госпиталь. Несмотря на ночной час и требования светомаскировки, на привокзальной площади и улицах города было достаточно светло от ламп синего света и такого же света фар автомобилей.

Нас доставили в стационарный военный госпиталь, где везде, начиная от приёмного отделения до больничных палат, был порядок, чистота и уют, характерные для медицинских учреждений высокого класса.

Всё здесь заметно отличалось от госпиталя в Лозовой, который больше походил на прифронтовую медсанчасть воинского подразделения. В приёмном отделении лежали ковры и было много цветов.

После врачебного осмотра меня доставили в палату, где было всего четыре кровати, тумбочки и стол, покрытый белой салфеткой. Сестричка уложила меня в удобную кровать, напоила чаем и велела спать до врачебного обхода.

Из-за высокой температуры и сильной боли в колене уснуть не смог. Стонали от боли и мои соседи. Вероятно, это была палата для тяжелораненых. Только утром поел несколько ложек жидкой манной каши и выпил из чайника кофе.

Врачи при обходе долго обговаривали план лечения и пришли к выводу о необходимости повторной операции, как только спадёт температура и я немного окрепну. Назначили медикаменты, витамины и диету. Поили жидкими супами, бульонами, соками, какао и чаем. А ещё давали к обеду вино, а вечером кефир.

Палатным врачом был опытный, немолодой уже майор медслужбы, а медсёстрами - две, посменно меняющиеся, молоденькие девушки, недавние школьницы, окончившие краткосрочные курсы. Врач навещал нашу палату по несколько раз в день, а медсёстры почти не уходили из неё, и были очень добры и внимательны.

Лечение, уход и забота положительно сказались на моём состоянии и настроении. Появилась, хоть и слабая, надежда на выздоровление, какой-то интерес к жизни и к происходящим в стране и мире событиям.

В палате висел репродуктор, который выключался, как правило, только на ночь и на послеобеденный сон. Радиопрограммы из Москвы начинались в восемь часов утра песней, слова которой запомнились на всю жизнь:

«Вставай, страна огромная,
Вставай, на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой».

После этого передавались последние известия. С интересом и волнением ждали мы утренних новостей. В эти октябрьские дни решалась судьба Москвы. Немцы бросили сюда отборные моторизованные дивизии, огромное количество танков, самолётов, артиллерии. Гитлер провозгласил на весь мир, что к концу октября его войска войдут в столицу Советского государства, а 7-го ноября на Красной Площади состоится

не традиционная праздничная демонстрация в честь очередной годовщины Октябрьской революции, а парад войск немецкой армии в ознаменование её победы под Москвой.

Хоть сводки Совинформбюро, как всегда, были лаконичными и не позволяли получать объективное представление о происходящих на фронте событиях, но даже из них было ясно, что положение складывается трудное и уверенности в том, что немцев в Москву не пустят, не было.

Более того, мы заметили, что под указами Президиума Верховного Совета, которые публиковались в газетах и оглашались по радио, исчезли привычные слова: «Москва, Кремль», а указывалась только дата.

Из этого не трудно было догадаться, что из Москвы эвакуировали Правительственные организации и учреждения, в том числе и Президиум Верховного Совета СССР. Как потом стало известно, на самом деле столицу покинули все министерства и ведомства, были вывезены художественные, исторические и культурные ценности, эвакуированы многие заводы и фабрики. Столицей СССР фактически стал город Куйбышев, где находились ЦК КПСС, Советское Правительство, посольства иностранных государств.

Нужно отдать должное Сталину, который в эти тревожные дни оставался в Кремле. Его присутствие там сохраняло у народа и армии надежду и веру в возможность остановить наступление немецко-фашистских войск под Москвой.

Моим соседом по палате был политрук Иван Михайлович Зайцев, которому недавно ампутировали правую руку. Он страдал не столько от болей в плохо заживающей ране, сколько от сознания того, что вряд ли сможет работать после войны по специальности. Он закончил исторический факультет Ростовского университета, был школьным учителем и являлся внештатным корреспондентом областной газеты. Ему было около тридцати лет, и в Ростове его ждала невеста, о которой он мог рассказывать часами. Но ещё больше он любил говорить о политике. Газеты он прочитывал от корки до корки и очень злился, когда кто-нибудь из тяжело больных просил выключить радио. В палате он был единственным ходячим больным и до восьми часов утра, когда включали радио, успевал побриться, помыться и усаживался у репродуктора в ожидании радиопередачи из Москвы.

Своей убежденностью в скорую победу над фашизмом Иван Михайлович чем-то напоминал моего погибшего друга Рому Бройтмана. Как и Рома, он фанатично верил в партию, в Сталина, в идеалы коммунизма. Он часто читал нам вслух газеты и пытался втянуть нас в дискуссии по различным вопросам истории, философии, литературы и особенно международного положения.

Два красноармейца с тяжёлыми ранениями ног были неразговорчивы и в споры с ним не вступали. Мне иногда хотелось высказать свои возражения по некоторым вопросам, но из-за непрекращающихся болей в ноге, в дискуссии вступал очень редко.

Однажды, во второй половине октября, я высказал опасение, услышим ли мы завтра утром привычное: «Говорит Москва!», что вызвало недовольство и возмущение Ивана Михайловича. Он теперь утром включал радио на полную громкость и, когда диктор начинал передачу теми же словами и той же песней «Вставай, страна огромная!», Иван Михайлович торжествующе восклицал: «Ну, что? Слышал?».

И всё же ничего хорошего мы в те дни не могли услышать по радио или прочитать в газетах.

Никто из нас, конечно, не желал падения Москвы, и все мы, не меньше Ивана Михайловича, рады были бы малейшей приятной весточки с фронта, однако, мы, повидав столько поражений Красной Армии за прошедшие месяцы войны, чувствовали меньшую, чем он, уверенность в том, что немцев в столицу не пустят.

Иван Михайлович собирал материалы из газет о героической обороне Одессы и Севастополя, о мужестве защитников блокадного Ленинграда, о героях Панфиловцах, преградивших немцам путь на Москву.

Мало только в этих газетных репортажах говорилось какой ценой сдерживалось наступление немцев на этих и других участках фронта. Фактические потери Красной Армии на протяжении всех лет войны не предавались гласности. Секретными были и сведения о жертвах среди мирного населения в блокадном Ленинграде и Одессе, об умерших от голода и болезней в тылу, о погибших в гетто и лагерях смерти евреев, оставшихся на оккупированной территории.

И всё же мы очень ждали свежие газеты в надежде прочесть добрые весточки с фронта. К сожалению, их пока не было.

20-го октября радио сообщило о том, что после тяжелых семидесятидневных боёв наши войска оставили Одессу. Немцы форсировали Днепр и развернули широкое наступление на левобережной Украине. В тылу остались Днепропетровск, Запорожье, Харьков и другие крупные промышленные центры.

Фронт всё более приближался к Ворошиловграду. Город почти ежедневно подвергался бомбёжке, а воздушные тревоги объявлялись несколько раз в день.

22-го октября началась срочная эвакуация госпиталя. Назначенная мне операция, на которую я возлагал большие надежды, так и не состоялась.

Тяжелораненых вывозили в первую очередь, и я оказался среди них. Глубокой ночью меня поместили в вагон санитарного поезда, который держал курс на Сталинград.

Госпиталь находился в самом центре города. Здесь до войны была одна из лучших гостиниц этого крупного промышленного и культурного центра на Волге. Палатами стали недавние двухместные и одноместные гостиничные номера с высокими потолками, паркетными полами, санитарными узлами с туалетом, душем и ванной.

В палате остались даже две гостиничные кровати. Они разительно отличались от трёх штампованных металлических коек, дополнительно установленных здесь. На стенах остались также картины, принадлежавшие гостинице.

При первом же обходе врачи решили, что главное, что может спасти мою жизнь, это калорийное полноценное питание, а поскольку оно не может быть обеспечено без ремонта зубов, то с этого и следует начинать.

Может быть они были по своему правы, но я чувствовал, что не это главное, ибо у меня не было никакого желания есть. Мой организм не воспринимал пищу, и даже те жидкие бульоны и супы, которые не требовали зубов и которые мне постоянно навязывали, я пил через силу. Они нередко вызывали рвоту.

Я пытался объяснить врачам, что дело не в зубах и челюсти, а в болях в коленном суставе, которая затмила моё сознание и лишила всяких других чувств, в том числе и желания принимать пищу.

Тем не менее, на следующий после обхода день мне была сделана операция. Подшили челюсть и удалили несколько зубов.

Когда через пару дней мне принесли, приготовленные по индивидуальному заказу, шницель с жаренной картошкой, врачи убедились, что я был прав. Этот спецзаказ вызвал аппетит у моих соседей по палате, а я, с трудом проглотив несколько картошин, отказался от еды.

Мне сделали переливание крови и продолжали буквально насильно поить бульонами.

Необходимости в повторной операции на коленном суставе врачи здесь не видели. Приглашённый на консультацию профессор, осмотрев рану и рентгеновские снимки, сделал заключение, что раздробленная коленная чашечка будет вызывать сильные боли до тех пор, пока не срастётся кость, а на это требуется время, сократить которое в условиях госпиталя невозможно. А так как силы всё больше покидали меня и появилась реальная опасность для жизни - истощение, профессор посоветовал срочно эвакуировать меня в госпиталь санаторного типа, к примеру, на Кавказские Минеральные Воды, где специальные методы лечения и благодатный климат могут способствовать моему выздоровлению.

Мою эвакуацию в тыл, наверное, ускорили ещё и частые бомбёжки города, начавшиеся в конце октября.

Курорты Кавказа тогда ещё считались глубоким тылом и ещё не подвергались налётам немецкой авиации. Никто тогда не мог ещё и предполагать, что положение в знаменитой Кавказской здравнице изменится так резко и так быстро. Как бы там ни было, но с первым же санитарным поездом, следовавшим на Минеральные Воды, я был доставлен во всемирно известный город-курорт Кисловодск.

Ещё проезжая города-курорты Ессентуки и Пятигорск, я почувствовал благодатные особенности Кавказа. В отличие от Сталинграда, где при отъезде падал мокрый снег, завывал холодный ветер и люди уже носили зимнюю одежду, здесь было ещё довольно тепло, светило яркое солнце и всё кругом было голубым и зелёным. Через стёкла вагонных окон были видны прогуливающиеся на перронах отдыхающие в летней одежде.

На привокзальной площади Кисловодска всё выглядело, как в далёкое мирное время. Красивые цветочные клумбы, аккуратно подстриженный зелёный кустарник, дорожки, покрытые толчённым красным кирпичом. Ничего не напоминало о войне, если не считать преобладающее женское население. Женщины и девушки несли носилки с ранеными, грузили их в санитарные машины и даже водителем в нашем автобусе была женщина.

По сильной боли в ноге я догадался, что путь нашего автобуса проходит по горной местности, когда приходится часто переключать скорости, замедляя и ускоряя движение. Дорога к госпиталю оказалась длинной и, превозмогая боль, я с нетерпением ожидал её конца.

Но вот автобус остановился на асфальтированной площади перед большим и красивым зданием санатория. На фасаде ещё висела красочно оформленная вывеска: «Санаторий имени Серго Орджоникидзе».

Санаторий находился на высоком плато, откуда виден был весь город, окружённый горами и утопающий в зелени. Вдали просматривалась снежная вершина Эльбруса. От площади, примыкающей к главному корпусу санатория, уходили красного цвета дорожки, с обеих сторон которых тянулся зелёный кустарник. Напротив корпуса располагался скверик с фонтаном, цветочными клумбами и удобными садовыми скамейками.

По широкой кольцевой парадной лестнице меня понесли на второй этаж и поместили в довольно просторную палату, в которой было только две широкие санаторные кровати. К прихожей примыкала ванная комната со всеми удобствами. Кроме столиков-тумбочек, в палате был стол, два кресла, гардеробный шкаф. На паркетном полу лежал ковёр.

Таких шикарных условий в госпиталях или санаториях, где мне приходилось бывать раньше, я ещё не видел и не предполагал, что они вообще могут быть.

Когда меня несли по коридорам, я заметил красивые ковровые дорожки, невысокие столики с креслами по бокам, много цветов и роскошные занавеси на окнах.

Как мне потом рассказывали, санаторий был построен в 1935-ом году по указанию народного комиссара тяжёлой промышленности Орджоникидзе и находился под его непосредственной опекой. Он был предназначен для металлургов, но после того, как наркома, как и многих других видных руководителей партии и правительства не угодных Сталину, отправили на тот свет, в санатории, как правило, отдыхала партийная знать и важные правительственные чиновники.

Из окна нашей палаты был виден памятник Серго с доброй улыбкой на лице и взглядом в горные дали Кавказа.

На второй кровати, что была отделена от моей тумбочкой, лежал тяжелораненый танкист Николай Павлович Серёгин. Ему было уже за тридцать и он недавно перенёс тяжёлую операцию по ампутации ноги, гангрена которой угрожала его жизни. Он был абсолютно слепым, постоянно носил тёмные очки и уклонялся от разговоров со мной. Врачам и сёстрам Николай Павлович отвечал короткими фразами, отдельными словами или жестами. Возле его кровати стояли костыли и он пользовался ими только при необходимости сесть за стол для приёма пищи, посидеть в кресле или пройти в ванную. В коридор он не выходил и редко с кем общался.

Николай Павлович был очень чистоплотным и по утрам долго задерживался в ванной, где тщательно чистил зубы и ежедневно принимал душ. Когда он подымался хоть на короткое время с кровати, то обязательно заправлял её.

Сосед мой был очень подавлен своей беспомощностью, особенно потерей зрения. Этим, вероятно, и объяснялась его неразговорчивость. В палату часто заходил его земляк - лейтенант Вася Голубец, тоже танкист. Их познакомила медсестра, узнавшая из истории болезни, что Вася, как и Николай Павлович, киевлянин и тоже танкист. Ей хотелось использовать некоторую общность в их биографии, чтобы хоть как-то развеять грусть и уныние Серёгина и облегчить его страдания.

Вася был намного моложе Николая Павловича. Он перед войной закончил танковое училище и участвовал в боях с первых дней войны в чине лейтенанта. Был ранен осколком мины под Киевом, когда оставил подбитый танк и выбирался ползком с поля боя к своим. Ему ампутировали левую руку, на правой кисти удалили три пальца и он почти полностью потерял зрение на один глаз.

Кроме общей военной специальности и места рождения, между ними ничего более общего не было и им не о чём было говорить.

Вася обычно рассказывал какая на улице погода и какие новые процедуры назначил ему врач. После очередной такой информации Васи, я предложил Николаю Павловичу прочесть ему статью Ильи Эренбурга во вчерашней газете, которая произвела на меня большое впечатление. Он согласился и я потом часто читал ему свежие газеты и обсуждал с ним наиболее важные события в нашей стране и за рубежом.

Как-то он сам рассказал мне об истории его ранения и возникших в связи с этим жизненных проблемах. Он чудом выполз из горящего танка и от сильных ожогов потерял зрение. Кроме того, он был тяжело ранен в ногу и врачи были вынуждены ампутировать её. Будучи совершенно беспомощным, он решил никогда больше не возвращаться домой после освобождения Киева и не сообщать жене о своём увечье, чтобы не быть для неё обузой. Они поженились за год до начала войны и у них в мае 1941-го года родился мальчик, которого он ни разу не видел.

Я проникся уважением к этому мужественному человеку и старался, как мог, проявлять к нему внимание. На многое, конечно, я был не способен, ибо сам стал беспомощным, страдал от сильных болей и слабости, но поговорить с ним и почитать ему газету я всё же мог. Казалось, от этого нам обоим морально становилось легче.

К сожалению, состояние моё не улучшалось. Мой лечащий врач, Марк Михайлович Фрумкин, старался изо всех сил облегчить мои страдания. Он по несколько раз в день приходил в нашу палату, менял назначения, уговаривал меня чего-нибудь поесть и убеждал, что моё выздоровление теперь больше зависит от меня, моего психологического состояния, от моей веры в успех. Мой добрый, умный врач умолял меня настроиться на оптимистический лад и заверял, что в таком случае дело обязательно пойдёт на лад.

А дела мои на лад не шли, а наоборот, медленно, но верно ухудшались.

Время тогда было очень голодное. Служащие в нашем госпитале получали только 400 граммов хлеба в день. На рынке цены были очень высокими и продукты для большинства жителей города были недоступны. Люди жили впроголодь. Мне же назначили спецпитание и я мог заказывать, практически,

любые блюда. Я не раз наблюдал, как нянечки жадно глядели на подаваемые мне вкусные кушанья и ждали возможности доесть их после меня. Вернее, мою еду можно было не доедать, а просто съесть, ибо я почти не дотрагивался к ней.

Так шли дни за днями, и, казалось, ничего уже не сможет отвести неминуемую гибель. Я был в полном сознании и тяжело переживал свою безысходность и надвигающийся фатальный финал.

Помню, как всё в те дни вызывало раздражение и обиду. Совершенно обычные действия, которые в нормальных житейских условиях остаются незамеченными, вызывали во мне чувство зависти.

Так, например, когда Николай Павлович выходил из ванной после принятого душа и, фыркая от удовольствия, вытирался банным полотенцем, я завидовал ему и злился, что не могу не только душ принять, а даже не в состоянии помыться по людски. Я должен был ждать, когда нянечка принесёт миску с водой и влажной салфеткой протрёт мне лицо в области глаз и губ.

Мне вдруг стало ясно, что обычное отправление естественных потребностей, доставляет человеку определённые положительные эмоции, но для меня они теперь в тягость, и вызывали только горечь и обиду.

К стыду моему, я даже порой завидовал Николаю Павловичу, когда он ел за столом, сидел в кресле или шёл в туалет.

Всё это, вместе со страданиями от дикой боли, ослабляло защитные реакции организма, усиливало пессимистический настрой и сокращало остатки и без того малых жизненных сил. Я тогда почти уже не сомневался в том, что этот госпиталь станет последним моим пристанищем.

Меня реже стали отвозить в перевязочную и ограничивались только заменой тампонов на месте, в палате. При обходах врачи теперь меньше задерживались у моей кровати и ограничивались привычными назначениями: пенициллин, перевязка, витамины, кефир.

Всё это я расценивал, как признак того, что они потеряли веру в возможность помочь мне и оставили организм один на один с болезнью.

Марк Михайлович, мой милый доктор, теперь подолгу сидел у моей кровати, уповая на мои собственные иммунные силы. Он еще надеялся, что, как только срастётся кость, наступит перелом. Он обещал, что, после снятия гипса, мне назначат чудодейственные мацестинские ванны, которые ускорят выздоровление.

Казалось, что он этому и сам уже не верит, и говорит обо всём только из жалости ко мне, желая облегчить мои страдания.

По вечерам к нам приходили дружинницы - школьницы десятых классов, которые помогали медсёстрам по уходу за ранеными. Они читали нам заранее подготовленные вырезки из газет и журналов, рассказывали новости местной жизни, водили ходячих больных в актовыв зал на концерты или в кино. В нашу палату приходили две дружинницы - Катя и Сима. Они были моего возраста и я с интересом слушал их рассказы о школьных делах. Они уделяли мне много внимания и обещали, как только мне станет лучше, заняться моей учёбой по программе десятого класса. Всё это отвлекало от более и грустных мыслей.

Как-то, в начале ноября, Сима рассказала, что её тётя и дядя с детьми эвакуировались из Москвы, как и многие другие евреи, когда немцы находились уже в двадцати километрах от столицы и постоянно обстреливали и бомбили город.

Из газет и радио мы знали о тяжёлых боях под Москвой, но не представляли себе, что враг находится уже на её окраинах.

А ещё Катя и Сима рассказали, что немцы прорвали линию обороны на Кавказе и ведут наступление на Моздок, Грозный и Минеральные Воды. Об этом им в школе сегодня говорила их классный руководитель.

В сводках Совинформбюро такой информации не было.

На следующий день, утром, в палату зашли начальник госпиталя и комиссар. Они поведали нам о том, что немцы подошли к Минеральным Водам, и есть опасность, что Кисловодск, находящийся в тупике железнодорожной ветки, идущей от Минвод, окажется отрезанным от Ордженикидзеvской железной дороги. И ещё они сообщили, что, в связи с внезапностью прорыва, госпиталь не может быть полностью эвакуирован. Выделено несколько вагонов для транспортабельных больных и части персонала. Из-за опасности бомбёжек, обстрелов и отсутствия уверенности в возможности выезда из Минвод, тяжелобольные и часть персонала останутся в госпитале. Была объявлена немедленная посадка в автобусы строго по спискам.

Николая Павловича и Васю Голубца предупредили о подготовке к отъезду, а меня в списках, конечно, не было.

Марк Михайлович и дежурная сестра сделали мне перевязку и велели не волноваться. Они обещали продолжать уход и лечение тяжелобольных, так как их оставляли в госпитале.

Несмотря на то, что я чувствовал, что близится трагическая развязка и я, пожалуй, уже был готов к ней, когда стала просматриваться реальная перспектива остаться в городе, который вскоре может быть оккупирован немцами, я всеми оставшимися силами воспротивился этому и попросил Марка Михайловича отправить меня с эшелоном. Уговаривать мне его не пришлось. Ему, еврею, было понятно, что для меня

лучше погибнуть в попытке вырваться из города, чем оставаться здесь в ожидании прихода немцев. Однако, включить меня в список он не мог и пообещал только, что не помешает моей отправке, если кто-нибудь согласится погрузить меня в автобус, отходящий на вокзал.

Николай Павлович и Вася уложили в узелок содержимое моей тумбочки и пообещали, что одного меня здесь не оставят.

Слышно было, как идёт погрузка автомашин и автобусов у подъезда, как грохочут тележки с госпитальным имуществом, движущиеся по коридору к лифтам, а за больными с нашего этажа никто не приходил. Напряжение достигло предела и нервы сжались в комок.

После обеда в палату пришли наши дружинницы Катя и Сима и сказали, что нам нельзя больше ждать, так как погрузка идёт к концу и в спешке о нас могут забыть. Да и автобусов у подъезда осталось всего несколько.

Они принесли носилки, легко подняли меня с кровати и понесли к выходу. Вася подал костыли Николаю Павловичу, взял его под руку и они пошли следом. У подъезда находился Марк Михайлович со списками в руках. Когда водитель автобуса спросил у него значимся ли мы в списках, он одобрительно кивнул головой и нас пропустили в автобус уже до предела загруженный больными. Мои носилки еле втиснули в проход и автобус отъехал. Вслед побежали девушки-дружинницы, произнося какие-то слова, смысл которых нельзя было понять из-за шума мотора и стонов раненых.

Я удивлялся отсутствию боли по пути в автобус. Обычно любой толчок или прикосновение вызывали жуткую боль в суставе, а тут никакой боли не чувствовалось, как будто меня подвергли анестезии. Не почувствовал я боли и когда автобус помчался по улицам города, совершая подъёмы и спуски по извилистому серпантину дороги, когда носилки наспех вынесли из машины и погрузили в товарный вагон отходящего поезда.

Вася стоял в дверном проёме и называл полустанки и станции, которые поезд проходил без остановок. В Пятигорске и Ессентуках остановки были кратковременные и, когда мы уже были близки к Минводам, поезд подвергся бомбёжке и обстрелу. Немецкий самолёт летал над крышами вагонов, на которых были нарисованы красные кресты, и методично поливал нас градом пуль из пулемёта. По крикам и стонам раненых можно было догадаться, что обстрел вёлся по рядам, с одного конца вагона ко второму. С другого самолёта было сброшено несколько бомб, которые разорвались вблизи железнодорожного полотна.

А поезд продолжал свой путь. Израсходовав боеприпасы, самолёты улетели, оставив в вагонах много убитых и раненых.

Неизвестно было успеем ли мы проскочить Минводский железнодорожный узел до захвата его немцами. Сохранялась опасность попасть немцам в руки на станции, куда мы с такой скоростью мчались. Сознавая такую возможность, я был готов к смерти от пули или бомбы, что казалось мне лучшим исходом.

Когда прибыли в Минводы, со всех сторон была слышна перестрелка, однако движением ещё кто-то управлял и стрелки переводились в нужном направлении, освобождая этот крупный узел от скопившихся железнодорожных составов. Почти без остановки наш поезд, часто меняя направления и грохоча по стрелкам, вырвался всё же из сплетения рельс и взял курс на Прохладную. Здесь мы подверглись второму интенсивному обстрелу из самолётов. Как и в первом случае, под Минводами, стрельба велась с небольшой высоты и не было никакого сомнения в том, что немцы видели красные кресты на вагонах и знали кого обстреливают.

В Прохладной, крупной железнодорожной станции на Ордженикидзевской железной дороге, наш состав загнали в тупик, чтобы оказать помощь раненым и выгрузить убитых.

К нам в вагон пришла группа женщин в повязках с красными крестами и сумками скорой помощи. Они вынесли трупы убитых и перевязали раненых. Женщины принесли молоко, творог, сметану, хлеб и покормили людей. Я от еды отказался и только выпил несколько глотков воды.

Сменили паровоз и поезд двинулся дальше. С нами в вагоне остались две женщины. Они представились, как члены Женсовета Прохладненского железнодорожного узла. Одна из них, Лидия Смыкова, была председателем Женсовета. Они согласились сопровождать нас до Баку, где намечалась разгрузка эшелона.

Ко мне, Николаю Павловичу и Васе Лида была особенно внимательна и старалась нам во всём помочь. Ей было за тридцать и она была хороша собой. Светлые волосы, голубые глаза, стройная спортивная фигура делали её моложе своих лет. Она работала в политотделе отделения дороги, а Женсоветом руководила на общественных началах.

Лида возмущалась и негодовала жестокостью и наглостью фашистов, расстреливающих из самолётов совсем беззащитных людей в санитарном поезде. Только из нашего вагона она со своими подругами вынесла двенадцать трупов.

Дважды ещё, не доезжая до Дербента, мы подверглись бомбёжке и обстрелу, что стоило жизни ещё шести больным. В Дербенте была краткая остановка. Вынесли убитых, перевязали раненых. Больше нас не

бомбили и не обстреливали, и мы проносились сквозь встречные станции на большой скорости, почти без остановок.

В Баку прибыли ночью. Здесь был глубокий тыл и окна домов не имели бумажных наклеек от вибрации при бомбёжках. Сюда немецкие самолёты не долетали, однако правила светомаскировки соблюдались. Вокзал и улицы освещались синим светом.

Нас быстро выгрузили из вагонов и автобусами доставили на окраину города к пятиэтажному зданию средней школы. При нас из классов выгружали парты и вместо них устанавливали кровати. На наших глазах школьные комнаты превращались в госпитальные палаты с рядами коек, устланных новыми простынями.

Уже под утро в палату вошла девушка-азербайджанка в белом халате с подносом, на котором были гранёные стаканы с каким-то напитком белого цвета.

-Мацони будете? - спросила она с акцентом.

Я не знал, что такое мацони и никогда не слышал о таком напитке, но почему-то захотелось его попробовать. Мацони был очень холодным и имел какой-то незнакомый кисловатый вкус. Я выпил его с удовольствием, которое давно не испытывал от еды или питья.

-А ещё можно? - спросил я у девушки.

-Можно, пейте на здоровье! - ответила сестричка, улыбаясь.

Я выпил второй стакан мацони и уснул.

48

В госпитале во многом чувствовалась вчерашняя школа. Даже парты со двора не были вывезены, а на школьной спортивной площадке, что была видна из окна палаты, не смолкали голоса детей, играющих в различные игры. Нельзя было не заметить и следы спешки, в которой на базе школы образовали госпиталь. В палаты внесли кровати, которые занимали почти всю площадь бывших классных комнат. Не успели даже укомплектовать штаты медицинского, технического и вспомогательного персонала. Обязанности нянечек в основном выполняли дружинницы и ученицы старших классов соседней школы. Они же во многом помогали медсёстрам, которых не доставало.

Лида Смыкова и её подруга Таня Власенко, сопровождавшие нас со станции Прохладная, несмотря на смертельную усталость, вызванную круглосуточной нелегкой работой по уходу за ранеными в течении двух последних суток, подключились помочь малочисленному персоналу госпиталя, не гнушаясь никакой грязной и трудной работы. Только на третьи сутки, когда к работе приступили вновь принятые сёстры и няни, они стали собираться домой, где их ждали работа и семьи. Все эти дни они ухаживали за Николаем Павловичем, Васей и мной, с желанием и готовностью выполняли все наши просьбы.

Когда пришла пора прощаться с этими милыми и добрыми женщинами, мы не могли сдержать слёз. То были слёзы благодарности за их доброту, чуткость и внимание, за их бескорыстную помощь и заботу о нас. Искрились слёзы и в их глазах. Они обещали писать нам и приглашали в Прохладную после выздоровления, заверив нас, что будем обеспечены всем необходимым.

Лида и Таня не раз рассказывали нам о Кабардино-Балкарии - благодатном крае на Северном Кавказе, о его мягком тёплом климате, обилии фруктов и овощей, богатых урожаях пшеницы, кукурузы и картофеля, о добрых и отзывчивых людях в их уютном и чистом городе.

Не вызывало сомнения, что приглашали нас искренно, от чистого сердца. Они оставили нам свои адреса и просили писать. Мы очень привязались к ним и трудно было себе представить, что завтра их уже не будет с нами.

На первом же врачебном обходе мне назначили необходимые процедуры, анализы, рентгеновские снимки, диету, консультации специалистов - окулиста и стоматолога. Как я понял, стратегический план врачей по моему возвращению к жизни сводился к восстановлению в максимально короткий срок физических сил и направлению на стационарное лечение в специализированные госпитали, которых в Баку было огромное множество.

На следующий после обхода день, утром, до завтрака в палату зашла миловидная девушка, которая представилась лаборанткой и тут же приступила к сбору крови на анализы. Свою работу она выполняла не спеша, но очень чётко и аккуратно. К моей кровати она подошла в последнюю очередь. Ещё не приступив к работе, она спросила правда ли, что я отказываюсь от еды, как записано в истории моей болезни. Я сослался на сильные боли в ноге, которые лишили меня аппетита, но сказал при этом, что вчера, впервые за долгое время, с желанием поел кусок баранины и выпил несколько стаканов мацони. Лаборантка взяла кровь на анализ и велела мне не приступать к завтраку до её возвращения.

Вскоре она пришла с тарелкой овощей и селёдочницей, в которой были аккуратно нарезанные кусочки селёдки с луком и уксусом. Всё это выглядело как-то по домашнему и вызывало аппетит. Она предложила мне съесть это перед завтраком и взялась меня покормить. Не знаю, что подействовало больше, то ли аппетитный вид приготовленного ею блюда, то ли удивительная красота и обаяние девушки, которой

было от силы 18 лет, но я умял всю селёдку с гарниром, а когда принесли горячий шницель с картошкой, то и от них почти ничего не осталось.

Девушка-лаборантка стала приходить каждое утро, перед завтраком, и приносила какие-то закуски. Это были шпроты или сардины, бутерброд с икрой или кусочек копчёной рыбы. Всё это имело красивый внешний вид, заметно отличалось от госпитальной пищи и было удивительно вкусно.

Лаборантку звали Аней. Все в нашей палате звали её Аннушкой. Фамилия у неё была чисто еврейская - Гутник. Аннушка Гутник. Она была невысокого роста и очень красива. Чёрные, как смола, волосы были заплетены в толстую косу. Такого же цвета глаза и полукруглые брови, небольшой прямой носик и беленькое круглое личико с постоянной приятной улыбкой казались уже знакомыми из какой-то известной картины. Она была неразговорчивой и краснела не только от ласкового слова или шутки, а даже от мужского взгляда.

В нашей палате было двенадцать больных разного возраста. Большинство из них имели тяжелые ранения и были, как и я, прикованы к кровати. Но было и трое молодых ребят студенческого возраста. Двое из них были уже «ходячими» и передвигались на костылях. Аннушка с первого дня понравилась им и они оказывали ей постоянные знаки внимания.

Как мне тогда казалось, равнодушными к молодой лаборантке были практически все, в том числе и пожилые и тяжелораненные мужчины. Она же оставалась равнодушной ко всем и приходила в палату только для ухода за мной, что она не только не скрывала, но даже всячески подчеркивала.

Несмотря на сильные боли, лишившие меня, казалось, всех человеческих чувств, отношение ко мне Аннушки не оставило меня равнодушным. Мне были приятны её внимание и забота, нежные и ласковые слова, милая улыбка. Я с нетерпением ждал её появления по утрам и мне казалось, что каждый её приход приносит новые жизненные силы, снимает боль и укрепляет надежду на выздоровление. Когда она садилась рядом с кроватью и кормила меня с ложечки, я с благодарностью смотрел в её добрые и ласковые глаза, и поедая всё, что она приносила. Мало того, я стал понемногу съедать и то, что приносили мне затем нянечки из госпитальной столовой, и почувствовал, что с каждым днём ко мне возвращаются силы, улучшается настроение, повышается интерес к окружающей жизни. Вновь стал слушать радио и читать газеты. Я читал их даже вслух для Николая Павловича и Васи, которые лежали по соседству со мной, и обсуждал с ними наиболее важные события на фронте и в тылу.

А самым важным и тревожным в те дни было положение в столице. Шли ожесточённые бои на подступах к Москве. Немцы подтягивали всё новые, как тогда казалось, неисчерпаемые резервы, а защитники Москвы стояли насмерть и оказывали всё большее сопротивление. Этому в большой мере способствовала военная техника, всё в большем количестве поступающая из Америки и из набирающих мощь военных заводов Урала и Сибири, усиленных кадрами и оборудованием, прибывающими из Москвы, Ленинграда и других промышленных центров западных районов страны.

7-го ноября, в день празднования 24-ой годовщины Октябрьской революции, в Москве состоялся военный парад, прибывающих с востока резервных частей Красной Армии. С трибуны мавзолея Ленина со взволнованной и обнадёживающей речью, призывающей солдат к мужеству и стойкости в борьбе с врагом, выступил Сталин. В этой речи, впервые за все месяцы войны, прозвучала твёрдая уверенность вождя в скорый перелом на советско-германском фронте и в неизбежную победу над фашизмом. Сталин предсказывал, что пройдёт небольшое время и фашистская Германия начнёт рушиться под тяжестью своих преступлений.

Как показал дальнейший ход событий эти предсказания Сталина сбылись. Уже в ноябре линия фронта застыла под Москвой, попытка немцев обойти столицу со стороны Тулы провалилась и всё отчётливее стал намечаться перелом на Центральном фронте.

Все это не замедлило сказаться на настроении людей, не только на фронте, но и в глубоком тылу. Местные газеты «Бакинский рабочий» и «Вышка» публиковали материалы о массовом трудовом героизме, проявляемом тружениками заводов, фабрик, нефтяных промыслов, колхозов и совхозов Азербайджана. Несмотря на нужду и лишения, люди работали по 10-12 часов в день, а порой, когда была особая необходимость, добровольно оставались работать во вторую смену.

В конце 1941-го года в Баку, как и в других регионах страны, сложилось тяжёлое положение с продовольствием. Основные продукты питания отпускались по карточкам. Дневная норма хлеба колебалась от 400 до 800 граммов на человека в зависимости от категории и тяжести выполняемой работы. Сахару и масла отпускалось по 400 граммов на месяц, а мясо можно было себе позволить только один раз в неделю. Фрукты, овощи и картошка по карточкам не отпускались, а на рынке на них, как и на другие продукты, цены были очень высокими.

О положении в городе с продуктами питания часто рассказывали нам нянечки. По их рассказам мы могли сделать вывод, что люди переживали голод и постоянно не доедали.

Понимая, чего стоила Аннушке та еда, которую она мне готовила по утрам, я запретил ей приносить мне продукты и предупредил, что есть ее закуски больше не буду. Обосновал я это тем, что аппетит у меня появился и я теперь с удовольствием ем госпитальную еду, которой мне хватает.

Нужно сказать, что несмотря на серьёзные проблемы с продовольствием, что отражались не только на снабжении мирного населения, но даже на солдатских пайках, госпитали обеспечивались продуктами питания по довоенным нормам, которые были вполне достаточными.

Если до прибытия в Баку, я испытывал отвращение к еде, что стало причиной моего прогрессирующего истощения, то здесь всё резко изменилось. До сих пор я не могу определённо сказать почему произошли такие перемены. Врачи госпиталя объясняли это нервным стрессом, перенесенным во время эвакуации из Кисловодска в Баку. Наверное, в таком объяснении есть определённый резон, ибо с первых же дней пребывания в Баку я стал понемногу принимать пищу, но мне лично казалось, что к этому имела отношение и Аннушка. Само её появление, отношение ко мне, а может быть и те вкусные блюда, которыми она меня кормила с ложечки, вызывали желание есть и придали моей борьбе за жизнь новые силы. Скажу более: я был просто не в силах отказывать Аннушке в приёме приготовленной ею еды.

Трудно сейчас выразить своё отношение и чувства к Аннушке. Я никогда не высказывал их ни ей, ни, тем более, никому другому. Даже самому себе я боялся признаться в своих чувствах. Для меня она была тем ангелом чистой красоты, о котором я как-то писал сочинение по русской литературе.

Я понимал, что её отношение ко мне было вызвано не только чувством жалости и сострадания, но ещё чем-то другим, более важным. Я не мог не видеть это по её глазам, улыбке и по какому-то потоку энергии, которую излучало это милое существо.

Иногда я сравнивал моё отношение и чувства к Аннушке со своими чувствами к Гене Фишберг - мечте моей юности, и приходил к выводу, что они не были не только тождественными, но даже подобными. Может быть причиной тому была разница в возрасте, а может быть в характере отношений Аннушки ко мне, проявляемых ею чувствах. Возможно в этом была моя благодарность за её чуткость, доброту и внимание. И всё же скорее всего причина была в том, что понемногу отступала болезнь, восстанавливались все нормальные чувства, присущие юноше - я был влюблён в Аннушку...

Правда меня одолевали сомнения: может ли такая девушка, как Аннушка, полюбить слабого, больного, искалеченного и совсем не привлекательного парня, каким был я в то время. Для этого у меня были все основания, и я хранил свои чувства в абсолютной тайне, не признаваясь в них не только Аннушке, но и своим друзьям по несчастью - Николаю Павловичу и Васе, которые не раз склоняли меня к откровенному разговору на сей счёт.

Несмотря на мои запреты, Аннушка продолжала баловать меня всякими лакомствами. Теперь она уже не носила мне закусок по утрам, а приносила только те фрукты и овощи, которыми нас здесь не баловали. Аннушка убеждала меня в том, что это необходимо для моего скорейшего выздоровления, а ей всё достаётся почти даром. То апельсины, мандарины или лимоны принесёт, то кислым огурчиком, квашенной капустой или головкой чеснока пресную госпитальную пищу дополнит. А ещё она приносила мне книги и я теперь много читал.

Когда Аннушка не приходила в госпиталь, я очень скучал и ждал её прихода. В палате уже привыкли к её ежедневным посещениям, и теперь больше никто не подтрунивал и не посмеивался над нашими отношениями, как это было раньше. Она стала подолгу задерживаться у моей кровати, рассказывала о своих родителях и младшем брате, который учился в седьмом классе, о своих подругах, о многом другом. Её отца, школьного учителя, мобилизовали в первые дни войны. Он воевал в Белоруссии и на Центральном фронте. Последнее его письмо было из под Смоленска. Вот уже два месяца от него не было никаких вестей. Из её рассказов я узнал, что она была отличницей в школе, которую окончила в июне, и что мечтала в этом году поступить на литфак университета. Вместо этого закончила трёхмесячные курсы лаборанток и вот уже два месяца работает в этом госпитале. Аннушка призналась, что пробует писать стихи, а когда я попросил её показать их мне, она густо покраснела и сказала, что не может, ибо в них все её секреты. Мне было приятно её слушать и я заметил, что не чувствовал болей, когда она сидела рядом.

После ноябрьских праздников, согласно заключению консультанта, меня, Николая Павловича и Васю решили отправить в специализированный хирургический госпиталь, в центр города. Мой лечащий врач объяснил мне, что есть опасность сращения костей сустава и в этом случае нога не будет сгибаться в колене. Он утверждал, что нас направляют в самый лучший госпиталь, который оснащен новейшей медицинской техникой и обслуживается ведущими хирургами города.

Когда наступило время погрузки в автобус, прибежала Аннушка. Она принесла новую, очень удобную сумку, помогла собрать моё имущество и обещала, что мы скоро встретимся.

Было очень грустно покидать этот госпиталь, который вернул меня к жизни, где я встретил Аннушку.

Палатой моего нового госпиталя служил спортзал, из которого не успели убрать баскетбольные корзины и снять сетки, прикрывающие стёкла огромных окон. В палате размещалось более семидесяти коек, между которыми были небольшие тумбочки. Николая Павловича и Васю поместили рядом со мной и мы имели возможность общаться.

Госпиталь находился на Коммунистической улице, в самом центре Баку, в красивом большом здании, которое ещё недавно было главным корпусом Азербайджанского Госуниверситета. Когда меня на носилках вносили в госпиталь, я успел заметить полукруглый фасад огромного дома, просторный вестибюль с мраморными колоннами и красивой парадной лестницей, широкие длинные коридоры, уходящие в противоположные стороны от вестибюля. По сравнению со школой, в которой размещался наш предыдущий госпиталь, всё здесь выглядело внушительно и капитально. Мне ещё не приходилось бывать в таких зданиях и оно мне показалось подобным дворцам, которые приходилось видеть только в кино.

И всё же мне не по душе был наш новый госпиталь. Всё здесь было каким-то казённым и не уютным. Я сравнивал его с прежним госпиталем и всё там, казалось, было лучше. И обслуживание, и лечение, и питание, и отношение к больным. Когда я спросил у Николая Павловича и у Васи не сложилось ли у них такого же впечатления, они ответили отрицательно. Им, наоборот, всё здесь нравилось, особенно лечение. Они были очень довольны электропроцедурами, массажем и лечебной физкультурой, чего в прежнем госпитале не было. Был здесь и прекрасный актовый зал, где ежедневно бывали концерты или показывали кинофильмы. В общем они были другого, чем я, мнения о новом госпитале.

Наверное, всё дело было в том, что сюда не приходила Аннушка, которую я постоянно ждал и без которой очень скучал. Каждый вечер я не отрывал глаз от входных дверей, а её всё не было. Мои сомнения по этому поводу полностью рассеялись, когда в один из ноябрьских вечеров в палату, наконец, вошла Аннушка с пакетом мандаринов и просидела у моей кровати несколько часов. Она извинилась, что долго не приходила и объяснила это болезнью мамы, которая все эти дни нуждалась в её уходе. Я получил её заверения, что сейчас, когда мама чувствует себя значительно лучше, она будет приходить чаще.

Своё обещание Аннушка выполнила и затем приходила ко мне почти ежедневно. Однажды, она пришла с матерью, ещё довольно молодой и красивой женщиной, черты лица которой были удивительно схожими с Аннушкиными. Её звали Фаиной Абрамовной и она была учительницей. Из её рассказа я понял, что она очень любит свой предмет - историю, и хорошо его знает. Мама Аннушки мне очень понравилась, но в душе я почему-то не рад был её приходу и принял её визит, как смотрины.

Однако, позднее, когда мама стала довольно часто приходить ко мне с Аннушкой, я убедился, что у неё благородные мысли и добрые намерения. Она, наверное, смирилась с тем, что судьбою начертано было её дочери, красавице Аннушке, встретить своего принца - калеку.

К такому выводу я пришёл, когда мать, прощаясь со мной после очередного визита, велела мне не беспокоиться о квартире после выписки из госпиталя. Она сказала, что для меня уже подготовлена отдельная комната в их трёхкомнатной квартире. Аннушка при этом густо покраснела и одобрительно кивнула головой.

В ту ночь я не мог уснуть до утра. Раньше я как-то серьёзно не думал о будущем. Мне просто было хорошо с Аннушкой. Я постоянно ждал её, скучал без нее, любовался ею при встречах и мечтал скорее увидеть её вновь, когда её не было рядом. Только теперь, когда мать предложила мне поселиться у них после выписки из госпиталя, я реально оценил сложившуюся ситуацию. Это значило, что она согласилась с Аннушкиным выбором и благословляет нас на совместную жизнь. Я отчётливо понимал, что стоило матери решиться отдать свою единственную дочь, умницу и красавицу, надежду семьи, за мальчишку без ремесла и образования, голого и босого, без средств к существованию, без родных и близких, да к тому ещё инвалида. Я не сомневался в том, что она смирилась с такой судьбой для своей дочери только под её давлением и по её слёзным просьбам.

Я лежал в холодном поту и перебирал возможные варианты в сложившейся обстановке. У меня не было никаких сомнений в серьёзности и искренности своих чувств к Аннушке. Лучшего друга жизни я себе тогда представить не мог. Я сознавал, что теперь отношения Аннушки ко мне давно уже перестали быть чисто дружескими и что ею владеют уже другие, более зрелые девичьи чувства, присущие возрасту и её пылкой и чистой натуре. Казалось, что может быть лучше взаимной, искренней любви в таком возрасте?!

С другой стороны, я представил себя - изуродованного инвалида, без глаза, с исковерканным лицом, с негнушейся в колене ногой, рядом с красивой, стройной и нежной девушкой, которая не в порыве жалости ухаживает за калекой, а вступила с ним в брачный союз на всю жизнь. Быть в таком положении было выше моих сил. И в то же время не было сил отказаться от своей любви к Аннушке.

К утру я пришёл к выводу отдать всё на суд времени. Если врачи восстановят моё раздробленное колено и хоть немного приведут в человеческий вид изуродованное лицо, я не стану отказываться от своего счастья.

Я не мог оказывать Аннушке знаки внимания подобные тем, что постоянно оказывала она мне, но моё отношение к ней становилось всё теплее. Прощаясь с ней после ежедневных свиданий, я шептал ей нежные слова, далеко не в полной мере отражающие мои чувства к ней.

В это время я был более всего озабочен отсутствием движения в коленном суставе. Нога до сих пор находилась в гипсе и его нельзя было снять из-за сильных болей и до полного сращения кости.

После очередного рентгеновского снимка врачи были обеспокоены стойкими изменениями в суставе, угрожающими полному анкилозу и, хотя кости еще не полностью срослись, всё же приняли решение снять гипс. Боли в ноге восстановились с прежней силой, но я мужественно их переносил, надеясь сохранить функцию коленного сустава.

Более того, когда лечащий врач предложил мне механическую разработку колена на аппарате, который насильственно сгибает ногу в колене на определённый, заранее заданный угол, я без колебаний дал на это согласие, несмотря на предупреждение о болезненности этой процедуры.

Несколько сеансов такой насильственной механической разработки позволили добиться небольшого результата, но боль при этом была такой, что я терял сознание и врачи были вынуждены приостанавливать эти занятия. Мало того, теперь возобновилась сильная боль не только во время сеансов механической разработки колена, но и в положении покоя или даже во время сна. Когда нога сгибалась на несколько градусов, боль становилась невыносимой и я был вынужден возвращать её в прежнее положение и фиксировать его с помощью подушек.

На консультации у профессора было решено прекратить разработку и дать ноге покой. Это значило, что анкилоз неизбежен. Мне выдали костыли и я стал учиться ходить с их помощью. После нескольких неудачных попыток, вызвавших падения от потери равновесия, я всё же освоил этот метод передвижения и, вскоре, довольно проворно двигался на костылях не только по палате и коридорам, но и по лестницам, перепрыгивая даже через две ступеньки.

Я мог уже ходить самостоятельно в столовую, клуб, библиотеку и с удовольствием пользовался этой возможностью. Больше всех этому радовался Николай Павлович. Мы ходили с ним в кино и я рассказывал ему, что происходит на экране. Это вызывало у него большой интерес и он не пропускал теперь ни одного фильма. Мне понятна была его радость, ибо сам получал от этого удовольствие. Я наслаждался также возможностью помыться под душем, пообедать за столом, сходить в туалет. Мы теперь стали пользоваться библиотекой, где брали книги, журналы, газеты, которые я читал вслух Николаю Павловичу и другим тяжелобольным в нашей палате.

6-го декабря Аннушка пришла опять с матерью. Они тепло поздравили меня с днём рождения и вручили подарок - авторучку и большую общую тетрадь. Я был очень тронут и рад подарку. Впервые в жизни я заимел собственную авторучку, да ещё и с золотым пером. Как потом мне призналась Аннушка, этой ручкой перед самой войной премировали её папу, как лучшего школьного учителя, а он ею так ни разу и не воспользовался. Этой ручкой я написал ей стихи, в которых робко признавался в своих чувствах.

А ещё вечером того дня мы получили общий бесценный подарок, которого с таким нетерпением ждали все эти страшные месяцы войны. Радио сообщило о начале крупного контрнаступления наших войск под Москвой. Это была первая серьёзная победа над коварным и, казалось, всемогущим врагом. Немцы отступали, бросая мощную технику и тысячи трупов своих солдат и офицеров. Это был сокрушительный финал их плана молниеносной войны.

С гордостью и волнением слушали мы знакомый голос диктора Левитана, который торжественно и возвышенно читал по радио важное сообщение Совинформбюро.

После ужина я проводил в вестибюль своих дорогих гостей и Аннушка впервые при матери, не стесняясь множества людей, поцеловала меня. В эти минуты я не сомневался в том, что это был самый лучший мой день рождения за 17 лет.

Возвращаясь в палату, я остановился у большого зеркала, что стояло в углу, в коридоре. Впервые, после ранения, я увидел себя в зеркале во весь рост и в миг исчезли чувства радости и счастья, которые только-что владели мною. Предо мной стоял низкого роста изуродованный калека, на костылях, с повязкой и многочисленными шрамами на лице.

На следующий день мне и моим друзьям по несчастью, Николаю Павловичу и Васе, объявили об отправке в специализированный глазной госпиталь. Нас туда направляли вместе не только потому, что у всех троих были глазные ранения, но и потому, что знали нашу привязанность друг к другу и старались уменьшить этим наши страдания.

Вечером, как обычно, пришла Аннушка и я поделился с ней этой новостью. Она заметила грусть и уныние на моём лице от сознания моей обречённости остаться навсегда инвалидом. Мой перевод в глазной госпиталь означал, что врачи признали своё бессилие в попытке восстановить подвижность в моём коленном суставе.

Аннушка успокаивала меня тем, что это означает скорый конец моему долгому и мучительному лечению, и окончательную победу жизни над смертью, а также приближает день, когда мы навсегда будем

вместе. Она обещала приезжать в новый госпиталь так же часто, как теперь, несмотря на то, что до него нужно будет долго добираться пригородным поездом.

Не знала ещё тогда моя милая и добрая Аннушка, что прошлой бессонной ночью я принял очень трудное, но твёрдое решение о поиске пути и предлога для разрыва наших отношений.

50

Посёлок Забрат находился в часе езды от Баку. Сюда шли пригородные электропоезда. Для специализированного глазного госпиталя здесь отвели Дом культуры нефтяников, расположенный рядом с благоустроенным парком. Как и у любого другого клуба, основную площадь здания занимал просторный зрительный зал с креслами на несколько сот человек, сценой и экраном для демонстрации кинофильмов. Подобные заведения для нефтяников тогда отличались оснащённостью новейшей аппаратурой, роскошной мебелью и богатым убранством помещений.

В Доме культуры было просторное фойе с паркетным полом, библиотека и комплекс помещений для буфета, которые ничем не уступали таковым в приличном ресторане. На втором этаже этого большого здания были комнаты для кружковой работы, которые теперь использовались, как госпитальные палаты.

Основателем, руководителем и главным специалистом госпиталя был профессор Орлов, возглавлявший до войны глазную клинику в Ростове и сумевший вывезти из прифронтового города в столицу Азербайджана большую часть оборудования, медтехники и инвентаря, а также группу учёных и врачей. Среди них была и дочь профессора Вера - кандидат медицинских наук и оперирующий врач-офтальмолог.

Здесь, в Забрате, в госпитале профессора Орлова, был образован Центр лечения глазных болезней, вызванных огнестрельными ранениями и ожогами. Благодаря знаниям, опыту и трудолюбию врачей-окулистов тысячам солдат и офицеров за годы войны было возвращено зрение.

Всего в госпитале было немногим более трёхсот коек и мест постоянно не хватало. Многие ждали возможности попасть в госпиталь профессора Орлова по несколько месяцев.

Несмотря на настойчивые просьбы Николая Павловича поместить его в одной палате со мной, мы на этот раз оказались в разных палатах, так как у нас были разные лечащие врачи. Однако, я по-прежнему проводил большую часть времени с ним и Васей. Вместе мы ходили после ужина в кино, где я восполнял своим рассказом то, что не мог видеть на экране Николай Павлович. Как и раньше, я читал им газеты и комментировал прочитанное.

Всем нам были назначены и проведены операции и определён курс лечения. Эффективным оно оказалось только для Васи, у которого после операции зрение было почти полностью восстановлено. Николаю Павловичу и мне были сделаны несколько операций, позволившие нам пользоваться протезами. Ему - на оба глаза, а мне на одном. Всё это заняло много времени. Прошла зима, наступила весна, а мы всё ещё оставались в госпитале.

Когда я ещё находился в хирургическом госпитале, я отправил несколько запросов в различные адреса по поводу своих братьев. К сожалению, в полученных мною ответах не было ничего утешительного или обнадеживающего, но я продолжал писать. Уже из Забратского глазного госпиталя я отправил более двадцати писем, но ничего определенного в ответ не получил.

Почта приходила в библиотеку и там раскладывалась в ячейки специального ящика по алфавиту. Ходячие больные сами забирали письма из этих ячеек, а тяжелобольным их приносили в палату. Опасаясь пропажи писем, я приходил в библиотеку ежедневно задолго до прихода почтальона и сам тщательно проверял всю поступающую корреспонденцию.

Как-то военком госпиталя Абдулаев, заметив моё пристрастие к почте, спросил не согласился бы я взять на себя функции получения и раздачи почты на общественных началах. Я дал согласие и стал разносить по палатам не только письма, но и газеты и журналы. Теперь я больше не сомневался в сохранности поступающих в госпиталь писем.

Моя волонтерская работа пришлась по душе больным. Я не только своевременно доставлял им письма, но многим из них, и в первую очередь незрячим, читал их вслух, а нередко писал и ответы под диктовку.

Военком был очень доволен моей работой и вскоре, с моего согласия, возложил на меня и ряд функций клубной работы. Штатного клубного работника в госпитале не было и мне была поручена организация лекций и бесед, подготовка и проведение киносеансов и концертов, оповещение о планируемых мероприятиях и другое. Эта работа нравилась мне и я был доволен, что могу приносить какую-то пользу.

Однажды, в конце марта, перебирая поступившую почту, мне в глаза бросился треугольник со знакомым почерком Сёмы, который я не мог спутать ни с каким другим. На лицевой стороне письма дважды значилась моя фамилия: в верхней части треугольника, где был адрес получателя и в нижней части, где указывается адрес отправителя. Одинаковыми были и отчества только имена были разными. Марки тогда на воинских письмах не требовалось, вместо неё стоял отчётливый штамп с номером полевой почты - 972.

Дрожащими руками я развернул письмо, из которого узнал, что Сёма находится сейчас в том месте, куда приковано внимание всего человечества и где решается судьба войны. Не нужно было быть очень догадливым чтобы понять, что он находился тогда в Сталинграде, в городе, на который после поражения под Москвой немцы бросили отборные танковые и моторизованные дивизии, главные резервы своей авиации и артиллерии. Во главе их войск были самые прославленные немецкие генералы, включая не знавшего ещё серьёзных поражений, генерал-фельдмаршала Паулюса.

Сёма просил немедленно ему ответить по указанному в письме адресу, после чего он отправит мне денежный перевод и окажет другую необходимую помощь. Из письма я также узнал, что после сдачи архива и материальных ценностей Винницкому военкомату в последние дни июня, он пытался вернуться в Красилон, но это оказалось невозможным, так как там уже были немцы. Он с трудом пробрался в Проскуров, где сдал машину-полторку в горвоенкомат, откуда и был направлен в воинскую часть, покидающую город. О судьбе оставшихся в Красилоне, Староконстантинове, Немирове и Славуте родственников ему ничего не было известно, так как все они остались на оккупированной территории.

В тот же день я написал Сёме подробное письмо, в котором сообщил о себе, о последних днях пребывания в Немирове, о Полечке, оставленной у тёти Анюты.

Примерно через месяц, когда я уже готовился к выписке из госпиталя, я получил Сёмин ответ и денежный перевод на тысячу рублей. В своём письме Сёма писал, что гордится моим добровольным уходом в Армию, что не только молодые, но и пожилые бойцы его части восхищены моим патриотическим поступком. Сёма указал мне адрес в городе Куйбышеве, куда мне следует написать, а после выписки из госпиталя поехать. Там живёт его фронтовой друг - Токарев Георгий Васильевич, семья которого с радостью примет меня и создаст необходимые условия для жизни и учёбы. Он обещал посылать туда деньги или оформить на меня денежный аттестат, по которому я смогу ежемесячно получать назначенную им часть его денежного довольствия. Я до сих пор помню адрес на ярмарочном спуске в Куйбышеве, где жила Токарева Мария Васильевна - жена Сёминоного друга, которая обещала меня принять и содержать до Сёминоного приезда. В этом письме брат писал, что мечтает вернуться в Красилон, в наш родительский дом, как только закончится война.

Своей радостью я, поделился с Аннушкой и её матерью, которые по-прежнему навещали меня по выходным дням. Они искренне были рады, что, наконец, нашёлся мой чудо-брат, заменивший мне отца, о котором они были наслышаны по моим рассказам. Что же касается моей поездки в Куйбышев, то они категорически исключали такую возможность, ибо давно решили, что жить я буду только с ними и ни о каких других вариантах и слушать не желали. Я же никак не мог набраться мужества сказать Аннушке о своём решении освободить её от обузы пожизненного ухода за мной.

Мне было трудно это сделать, ибо в моей нелегкой и беспросветной жизни Аннушка была единственной радостью и надеждой. Мне трудно было даже представить себе жизнь без неё, без возможности видеть, слышать её, сознавая, что она где-то рядом думает обо мне. В то же время я отчётливо понимал, что не должен связывать её навсегда с собой, что она заслуживает лучшей судьбы и имеет на это все основания. Сознавая, что злоупотребляю её юношескими чувствами преданности и самопожертвования, ещё детской наивностью, которые могут лишить её настоящего счастья, я всё откладывал трудный разговор с Аннушкой и продолжал наслаждаться каждым часом свидания с ней. Единственное, чего смог заставить себя сделать, это проявлять больше сдержанности в общении с ней. Я старался скрыть свои чувства, не произносил тех тёплых, нежных и ласковых слов, которые были на уме и рвались наружу.

Это не осталось незамеченным ею, она стала грустной и подозрительной при встречах со мной. Моё поведение вызывало её недоумение и обиду. Мне было жаль Аннушку и мы оба страдали.

51

Лида Смыкова сдержала своё обещание и поддерживала с нами постоянную связь письмами. Она интересовалась ходом лечения, настроением и в каждом письме повторяла приглашение приехать к ней в Прохладную, на постоянное жительство после выписки из госпиталя.

Особо тёплыми были её обращения к Николаю Павловичу. Мы заметили ещё в пути следования в Баку и в дни пребывания Лиды в госпитале, что к нему она относилась особенно внимательно и нежно. В этом, вроде, и не было ничего удивительного. Он больше всех нуждался в таком отношении и того заслуживал.

Лида писала, что приготовила для Николая Павловича отдельную комнату и обещала сделать всё что потребуется для его спокойной и вполне обеспеченной жизни в её доме. Её подруга, Таня Власенко, ожидала приезда Васи, а меня приглашала Надежда Васильевна Терехова, которая жила одна по соседству с Лидой. Она потеряла на фронте мужа и восемнадцатилетнего сына Толю и обещала мне материнское отношение. Я написал Лиде тёплое письмо и поблагодарил её и ее подруг за внимание и приглашение в Прохладную.

Моё лечение подходило к концу. Врачи сделали всё, что было в их силах, а на большее тогда у них не было ни времени, ни возможности. Шла война и места в госпитале были в дефиците.

Николай Павлович и Вася ещё оставались в госпитале. Им предстояло ещё по одной операции и послеоперационное лечение. За долгие месяцы совместного пребывания в госпиталях мы очень привязались друг к другу и мои друзья просили меня дождаться их выписки и вместе поехать в Прохладную.

Как-то меня вызвал к себе военком Абдулаев и предложил после выписки остаться в госпитале на должности библиотекаря и в качестве его помощника по организации клубной работы. Он обещал мне небольшую комнатку в клубе, питание в госпитальной столовой и возможность пользоваться бытовыми помещениями госпиталя. Военком советовал мне также поступить на заочное отделение Бакинского Госуниверситета и рекомендовал исторический факультет, который он в своё время закончил.

Предо мной был выбор: то ли ехать в Куйбышев, как советовал мне Сёма, то ли принять приглашение Аннушки и её матери и поселиться у них, то ли остаться пока в госпитале помощником Абдулаева и ждать выписки своих друзей, чтобы вместе уехать в Прохладную. После долгих и мучительных раздумий я остановился на последнем варианте, о чём сообщил военкому.

21-го апреля 1942-го года, после семимесячного лечения, вырвавшего меня из смертельных объятий тяжёлых ранений, врачебная комиссия эвакогоспиталя 3676 признала меня негодным к несению военной службы с исключением с воинского учёта.

Начинался новый трудный этап гражданской жизни.

52

Свои служебные обязанности в библиотеке, на почте и в клубе я освоил быстро и выполнял с удовольствием. Комиссар неоднократно отмечал моё усердие и был очень внимателен ко мне. В маленькой комнатке при клубе мне поставили кровать с постельными принадлежностями, столик, пару стульев и шкафчик. Незаметно пробегали дни. У меня совсем не было свободного времени. Работа начиналась в восемь утра и заканчивалась после вечерних мероприятий в клубе с перерывами на завтрак, обед и ужин. В столовую мы, обычно, ходили вместе с комиссаром и нас очень вкусно кормили.

Сёме я писал почти ежедневно и подробно рассказывал ему в письмах о своей жизни. Довольно часто я получал и его письма, в которых он высказывал беспокойство о Шуре, Полечке и Андрее а также о родственниках в Красилове и Славуте. Он прислал мне несколько денежных переводов и я теперь мог позволить себе купить кое-что из гражданской одежды и обуви.

Аннушка по-прежнему приезжала по воскресным дням и мы с ней подолгу прогуливались по госпитальному парку. В последний, перед Первомайскими праздниками, выходной день она пришла раньше обычного и была очень возбуждена. На ней было лёгкое летнее платье, подчёркивающее её красивую фигуру, и модные туфли на высоком каблучке. В туфлях она казалась выше ростом и более взрослой. Аннушка сообщила, что они с мамой решили пригласить меня к себе домой на праздничный обед. Она предложила встретиться на Бакинском вокзале утром 1-го мая, до начала Первомайской демонстрации.

Я не мог отказаться от этого приглашения, так как это обидело бы Аннушку, чего я не мог допустить. Я был в вечном долгу перед ней и готов был выполнить любое её желание. Единственно, чем я обусловил своё согласие, было возвращение в госпиталь в тот же день вечером, из-за необходимости организации праздничного утренника в госпитальном клубе 2-го мая.

Перед праздником я купил в местном магазине летние светлые брюки, тенниску и модные мужские туфли, на что истратил почти все полученные от Сёмы деньги. И ещё я купил в том же магазине флакончик духов фабрики «Красная Заря» в красивой упаковке.

Утром 1-го мая по радио звучала праздничная музыка, знакомые марши и песни, провозглашались Первомайские лозунги. День был тёплый и солнечный. Впервые, с августа 1941-го года, я одел гражданскую одежду и посмотрел на себя в большое напольное зеркало, что стояло в вестибюле клуба. На меня смотрел тот же изуродованный мальчишка, опирающийся на костыли. Новые брюки, тенниска и модные туфли мало что могли изменить.

Ещё было раннее утро, когда я сел в вагон электрички, следующей в Баку. По дороге были видны нефтяные вышки, насосы, качающие нефть, и небольшие пригородные посёлки. На перроне городского вокзала меня встретила Аннушка. Я купил букетик гвоздик на привокзальной площади и вскоре мы оказались в полупустом вагоне трамвая, который доставил нас на городскую окраину. Там находилась школа, ставшая нашим первым бакинским госпиталем, а неподалеку от неё стоял и пятиэтажный дом, где жила Аннушка. Лифт поднял нас на 4-й этаж, в 3-х комнатную квартиру Гутников. Дверь открыла Фаина Абрамовна, которой я и вручил цветы. Она тепло поздравила меня с праздником, поцеловала, и взялась показывать квартиру. Спальню занимала хозяйка с дочерью, а тринадцатилетний сын спал в гостиной, на кушетке. Кабинет отца с кожаным диваном пустовал и предназначался для меня.

Из гостиной можно было выйти на балкон, откуда открывалась панорама города с множеством флагов и транспарантов на зданиях.

Празднично сервированный стол был уставлен разнообразными закусками, фруктами и вином. Позднее подали утку с яблоками, как когда-то в далёкое мирное время. Аннушка включила патефон и мы долго наслаждались музыкой. Затем рассматривали довоенные семейные фотографии. С большим удовольствием провёл я несколько часов в этом уютном доме, где о войне напоминали только многочисленные фотографии отсутствующего главы семейства.

Уже начинались вечерние сумерки, когда я попрощался с гостеприимной хозяйкой и её сыном Борей. Аннушка проводила меня до вокзала, откуда я добрался в свой госпиталь.

На всю жизнь сохранились тёплые воспоминания об этом замечательном первомайском празднике. Это был первый и последний мой визит в дом Аннушки.

53

В мае Николая Павловича и Васю выписали из госпиталя. Лидия Смыкова приехала накануне из Прохладного для сопровождения незрячего танкиста и его однорукого друга на их новое постоянное место жительства.

Я же, несмотря на предварительное согласие поехать с ними, к тому времени пересмотрел своё решение и пообещал военкому Абдулаеву остаться в госпитале в качестве штатного библиотекаря, а фактически его помощника по клубной работе.

Мне были приятны предельная занятость служебными делами, доброе отношение персонала госпиталя и больных, сознание полезности моей работы. Я был вполне доволен бытовыми условиями, которые мне были созданы, благодаря стараниям военкома. Кроме того, я очень дорожил налаженной перепиской с Сёмой, от которого получал частые письма и денежные переводы. Перемена места жительства при нестабильном положении на фронте могла стать причиной потери писем и других почтовых отправлений.

Но всё же главной причиной моего решения остаться в Баку была Аннушка. Вопреки моему твёрдому решению порвать отношения с ней ради её блага, я всё откладывал нашу разлуку. Более того, я всё труднее переносил недельные перерывы в свиданиях с ней. Они казались мне слишком долгими и я даже порывался просить её о дополнительной встрече среди недели. До этого, правда, не дошло, но и уехать не хватало сил. Трудно было представить себе жизнь без неё.

О своём решении остаться в госпитале я объявил Николаю Павловичу, Васе и Лиде за день до их отъезда, что было для них неожиданностью. Больше всех был огорчён Николай Павлович. Он заявил, что моё решение в корне меняет дело, и что без меня он никуда не поедет. В этом случае, утверждал он, ему лучше уйти в дом инвалидов, нежели одному ехать в чужой город.

Моё решение остаться в госпитале ломало давно задуманный и тщательно подготовленный план Лиды поселить Николая Павловича в своём доме, чему она придавала большое значение. Мне трудно даже сейчас определённо сказать, почему Лидка так желала осуществить его. То ли только чувства сострадания и желание помочь инвалиду играли здесь главную роль, то ли другие чувства владели ею, но его отказ ехать в Прохладную она восприняла, как трагедию. Она умоляла меня, в тайне от Николая Павловича, уехать вместе с ними хотя бы на несколько дней и, как только он успокоится и убедится, что всё делается для его блага, вернуться в Баку. Лидка обещала возместить мне все расходы, связанные этой поездкой.

Со своей просьбой Лидка обратилась также к комиссару Абдулаеву. Не знаю какие доводы подействовали на него, но, после разговора с Лидой, он вызвал меня и в её присутствии стал просить согласиться на поездку в Прохладную. Комиссар заявил, что считает это служебным поручением и выдаст мне командировочное удостоверение на сопровождение незрячего инвалида к месту жительства. Билеты он поручил купить нам по воинскому литеру и определил мне срок выполнения его поручения в 12 дней. Ничего не оставалось, как выполнять уже не просьбу, а приказ моего непосредственного начальника. Лидка со слезами на глазах горячо благодарила военкома за доброту и отеческую заботу о бывших воинах.

В тот же день, вечером, мы покинули Баку. Я не успел даже как следует попрощаться с людьми, которые так много для меня сделали и которым я был столь многим обязан. Не сумел я также перед отъездом встретиться с Аннушкой, которая должна была приехать, как всегда, в воскресенье. Я оставил ей записку, что уехал по служебному заданию и вернусь через две недели.

54

В Прохладную приехали утром. Был тёплый, солнечный день, какие бывают в начале лета. На перроне вокзала нам была устроена тёплая встреча. Здесь были официальные представители железнодорожного узла, отделения дороги, женсовета, родственники Лиды Смыковой, Таня Власенко и много незнакомых мне людей. Был даже корреспондент местной газеты, который сделал несколько снимков при выходе из вагона и на перроне. Для нас всё это было неожиданностью. Мы и не предполагали, что нас будут встречать чуть ли не как героев.

Ко мне подошла средних лет женщина с букетом цветов.

-Терехова Надежда Васильевна,- представилась она,- я потеряла сына на войне. Его звали Толей. Ему было восемнадцать. Мой дом станет твоим домом. В нем и мне, и тебе будет тепло и мило. Она вручила мне цветы, обняла и поцеловала.

Я не нашел нужных ответных слов и одними губами шепнул: «Спасибо».

Я догадался, что Надежда Васильевна ещё не знает о моём намерении вернуться в Баку, как только мои друзья освоятся на новом месте, привыкнут немного к обстановке и подружатся с приютившими их людьми.

На двух служебных легковых машинах нас развезли по домам и вскоре моя добродушная хозяйка уже угощала меня украинским борщом и варениками с творогом, которые она заранее приготовила к моему приезду.

Тётя Надя, так я стал называть Надежду Васильевну, рассказала мне об их семье и довоенной жизни. Жили они раньше на Украине, на станции Дебальцево, где её муж, Степан Терехов, работал машинистом на паровозе и был в почёте на Южной железной дороге. Она работала здесь телефонисткой на телефонной станции. Сын Толя успел закончить среднюю школу и мечтал о военном училище. Он был сильным и мужественным парнем, послушным, добрым и ласковым сыном, уважительно и нежно относился к своим родителям. У них не было больше детей и Толе они отдавали всё родительское внимание и безграничную свою любовь.

В Толиной комнате всё оставалось, как при его жизни. Письменный стол был покрыт стеклом под которым были фотографии родителей и друзей. Была и фотография девушки, с которой он встречался и дружил. Тётя Надя сказала, что её зовут Любой и что перед отправкой на фронт Толя признался ей в любви и она обещала его ждать.

На книжной полке были любимые книги Толи: Жюль-Верн, Пушкин, Шевченко, Марк Твен...

В углу стояла кровать Толи, устланная чистой постелью.

Тётя Надя показала мне весь дом с двумя спальными комнатами, гостиной и кухней, дворовые постройки с хлевом для коровы, большой фруктовый сад, где с деревьев свисали почти спелые абрикосы и дозревали яблоки, груши и сливы, а также приусадебный участок с грядками картофеля и овощей. Во всём чувствовался образцовый порядок.

После обеда мы погуляли по смежным улицам города, которые выглядели уютными и ухоженными. Добротные дома утопали в пышной зелени фруктовых и декоративных деревьев. Было много цветов. После прогулки отдыхали в саду, а вечером пили чай с домашним вареньем и смотрели альбомы с семейными фотографиями. Не знаю почему, но с первого же дня этот дом показался мне каким-то родным и очень уютным.

С дороги спалось хорошо. Проснулся рано от пения птиц за окнами. По случаю моего приезда Тётя Надя взяла несколько отгулов на работе и всё время посвятила домашним делам и уходу за мной.

Утром принял душ. Вода в бочке подогревалась днём на солнце и к утру была ещё довольно тёплой. Тётя Надя приготовила мне несколько комплектов белья, полотенец и полный набор предметов гигиены. На завтрак была молодая картошка со сметаной, малосольные огурчики и свежие молочные продукты домашнего производства. Всё было очень вкусно и вызывало аппетит.

За завтраком тётя Надя сказала, что меня хотел бы видеть заведующий железнодорожным клубом и предложила вместе прогуляться к нему,

Клуб занимал целый квартал, на котором располагался комплекс зданий и сооружений, а также парк с открытой танцплощадкой и стадионом. В главном корпусе был большой зрительный зал со сценой, вращающейся от механического привода, лекционный зал, библиотека, бильярдная и ряд помещений для занятий по интересам.

Заведующий клубом, Валентин Иванович Мухин, принял нас в своём просторном кабинете и без предисловий предложил мне стать его заместителем. Эта должность уже несколько месяцев была вакантной и это сказывалось на работе клуба. От Лидии Смыковой он узнал, что я занимался клубной работой в госпитале и этого было достаточно для него рекомендацией.

Я объяснил ему, что приехал всего на две недели и должен вернуться в госпиталь, где меня ждёт такая же работа, в которой нуждаются больные и госпитальное начальство. Валентин Иванович с пониманием отнёсся к моему объяснению, но всё же упросил поработать хотя бы пару недель и помочь ему разгрузиться от накопившихся дел.

Работы в клубе было много и она оказалась интересной. Станция Прохладная находилась на магистрали, соединяющей центр страны, охваченный пламенем войны, с Закавказскими республиками, являвшимися глубоким тылом. Туда, в тыл, эвакуировались не только промышленные предприятия и военные заводы, но и учреждения культуры, музеи, филармонии, театральные коллективы, симфонические и эстрадные оркестры. Многие из них останавливались на таких узловых станциях, как Прохладная, чтобы заработать здесь немного денег и отдохнуть.

Никогда раньше на сцене Прохладненского желдорклуба не выступало столько именитых театральных коллективов, концертных бригад, оркестров и выдающихся артистов, как в эти месяцы войны.

Нужна была большая работа по подготовке клуба к этим выступлениям, организации зрительской аудитории, продаже билетов. Всей этой и различной другой клубной работой я и занялся.

Служебные дела увлекли меня и я занимался ими с утра и до поздней ночи. Кроме удовлетворения работой, получал ещё большое удовольствие от возможности смотреть и слушать замечательных артистов и выдающихся исполнителей. Я не только сам пользовался этой возможностью, но и предоставлял её своим друзьям и тем добрым и отзывчивым людям, что приютили нас здесь. Билеты на концерты и спектакли были дорогими и у них не было возможности покупать их в кассе. У меня же было право выписывать контрамарки на целый ряд кресел, на которые билеты не продавались. На специальных бланках я ставил свой штампик: «Зам. зав. желдорклуба ст. Прохладная» и расписывался. Этого было достаточно для пропуска в зал без билета. Такие пригласительные билеты на бесплатные просмотры вечерних представлений получали руководители города, отделения дороги, корреспонденты газет, деловые люди и специалисты от которых зависела успешная деятельность клуба.

Николай Павлович, Вася, Лида Смыкова, Таня Власенко и Надежда Васильевна оказались в этом перечне и чаще других пользовались такой возможностью.

Запомнились гастролы киевского Русского драматического театра имени Леси Украинки, художественным руководителем которого был тогда народный артист СССР Хохлов. В труппе было много известных народных и заслуженных артистов Украины. Все спектакли театра на сцене клуба проходили при переполненном зале. Я и мои друзья просмотрели весь его репертуар и получили от этого огромное удовольствие.

В то время модной была джазовая музыка и мы имели возможность побывать на концертах эстрадных оркестров Украины, Белоруссии и Москвы. Мне никогда раньше не приходилось видеть и слушать концерты такого уровня, я не представлял себе до этого, что они могут доставлять такое эстетическое наслаждение.

По выходным дням, а нередко и после вечерних представлений в клубе, мы собирались вместе на одной из наших квартир, где обменивались новостями, обсуждали возникающие проблемы и просто общались. Женщины угощали нас вкусными блюдами, мы слушали грамзаписи, а иногда и сами пели. Я без труда подбирал все известные мелодии на мандолине, которую мне подарили в клубе, а Лида Смыкова играла на гитаре. Нам было хорошо в своей компании и мы не искали другого общества.

Валентин Иванович, директор клуба, был доволен моей работой и часто высказывал похвалу в мой адрес. Он всё больше уговаривал меня остаться в клубе до конца войны и обещал помочь с заочной учёбой в университете.

Война в Прохладной почти не чувствовалась. После прошлогодней неудачной попытки с ходу взять Грозный и Моздок, чтобы отрезать Баку от центра, немцы не предпринимали здесь более активных действий. Все их силы тогда были сосредоточены на Сталинградском направлении. Даже воздушные тревоги здесь объявлялись редко, а бомбёжек совсем не было. Меньше чем в других местах чувствовался и недостаток продуктов. При каждом доме были приусадебные участки, которые обеспечивали в достатке картофелем и овощами. Большинство жителей имели корову и держали свиней. На рынке было изобилие фруктов по довольно низким ценам.

Разгром немцев под Москвой вернул людям веру в мощь нашей Армии и надежду на скорое окончание войны. Обстановка в городе была сравнительно спокойной и ничто не предвещало какой-нибудь реальной опасности.

Надежда Васильевна относилась ко мне по-матерински тепло. Она звала меня Толичек, как и погибшего своего сына, и я постоянно чувствовал её заботу и внимание. Наверное, у неё была потребность отдавать кому-то свою не растрченную материнскую любовь. Когда я начинал разговор о возвращении в Баку, она со слезами на глазах просила меня забыть об этих своих намерениях.

-Чем тебе плохо у нас? - повторяла она часто.

Мне иногда даже казалось, что она затаила обиду за мою неблагодарность и непонимание её материнских чувств. Становилось совестно и я старался реже возвращаться к этой теме.

Как-то Лида Смыкова завела осторожный разговор о возможности остаться в Прохладной. Кроме доводов которые приводили Валентин Иванович и Надежда Васильевна, она сослалась на привязанность ко мне Николая Павловича, который здесь фактически вернулся к полнокровной жизни. Она боялась даже намекнуть ему на возможность моего отъезда, ибо знала как это пагубно может на него воздействовать.

У меня самого всё чаще стали возникать сомнения в целесообразности моего возвращения в Баку, где меня определённо ждали все старые проблемы. Самая главная из них, конечно, была необходимость выяснения отношений с Аннушкой. Я понимал, что должен оставить её и не быть больше помехой для её счастья.

Медленно, но верно я всё более склонялся к мысли остаться пока в Прохладной. Эта мысль, наконец, привела к окончательному решению, которое с радостью было одобрено Валентином Ивановичем, Надеждой Васильевной и моими друзьями.

Моё письменное заявление военкому Абдулаеву было коротким и убедительным. К нему я приложил письмо с душевной благодарностью за доброе ко мне отношение.

Письмо же Аннушке я так и не сумел написать. Времени и бумаги на это я потратил много, но, в конечном итоге, всё моё сочинение оказалось в урне, так как нужных слов я подобрать не сумел. Я отправил ей короткую записку, где искренне заверил, что сохранил на всю жизнь её чистый и светлый образ и никогда не забуду того, что она для меня сделала.

По истечении нескольких десятков лет, могу сказать, что это обещание я держу и сегодня.

55

Со временем я всё больше убеждался в том, что моё решение остаться в Прохладной было правильным. Я чувствовал себя непринуждённо, легко и свободно на работе и дома. Даже в городе, где меня все уже хорошо знали, я забывал о своей инвалидности и физической неполноценности. Я снял повязку с глаза, которую постоянно носил в Баку, и меньше, чем раньше, стеснялся своего увечья и шрамов, изуродовавших моё лицо.

Работал теперь с ещё большим усердием и это отмечалось не только моим непосредственным руководителем, Валентином Ивановичем, но и политотделом отделения дороги, райкомом партии и райпрофсоюзом. Я получил несколько премий. В городской газете появилась хвалебная статья под заголовком «Слагаемые успеха». Там, как всегда в таких случаях, многое было приукрашено и преувеличено, но мне было приятно, что мои старания не остались незамеченными, а главное, появилась уверенность, что я смогу стать полноценным работником, несмотря на увечья.

Мои отношения с Николаем Павловичем и Васей стали ещё более близкими и дружественными. Я старался быть полезным в домашнем хозяйстве и Надежда Васильевна отзывалась на это ещё большей теплотой и вниманием ко мне.

После некоторого перерыва я получил долгожданное письмо от Сёмы, в котором он писал, что ему присвоили звание старшего лейтенанта и наградили медалью «За боевые заслуги». Тогда ещё орденами и медалями награждали редко. Имела также значение национальность. В первую очередь старались награждать солдат и офицеров коренных национальностей. Кроме русских награждали также украинцев, белорусов и представителей других братских народов. Об их подвигах писали центральные и местные газеты, говорили по радио. Евреев же награждали за отвагу, мужество или боевые заслуги, которые были настолько очевидны, что не могли быть незамеченными командованием. В таких случаях их представляли к каким-то наградам, но об этом почти никогда не писали в газетах. Там говорилось о подвигах сынов русского, белорусского, грузинского или даже татарского народа, но никогда не упоминались сыновья еврейского народа.

С учётом этого можно было догадаться, что воюет Сёма храбро. Зная характер своего брата, я не сомневался в этом и до награждения его боевой медалью.

Я поздравил Сёму с повышением в звании, с правительственной наградой и подробно написал о своей жизни и работе в Прохладной.

Николай Павлович, Вася и я были прикреплены к базе отдела рабочего снабжения железной дороги, где не только отоваривали свои продовольственные карточки продуктами отменного качества, но и получали сверх этого много дефицитных товаров, наравне с партийной и хозяйственной элитой города.

Мне порой даже не верилось, что так всё и будет продолжаться. Одолеvalo предчувствие чего-то недоброго. Для этого были веские основания. Шла война. Во многих районах страны люди жили впроголодь, получая мизерные пайки по карточкам, которые отоваривались часто продуктами низкого качества.

После разгрома немцев под Москвой все ждали новых добрых вестей с фронта. Их же, к сожалению, всё не было. Более того, весной и в начале лета немцы начали крупное наступление на Сталинград, стремясь выйти к Волге и отрезать Москву от Каспийского моря и Кавказа, богатых нефтью, зерном, рыбой, мясом и другими товарами.

Кроме того немцы нанесли ряд внезапных ударов и на других участках фронта. Можно было ожидать тревожных новостей и на Грозненско-Моздокском направлении.

Предчувствие меня не обмануло. В начале июля Валентина Ивановича вызвали в отделение дороги и сообщили, что немцы прорвали фронт севернее Моздока и движутся на Прохладную. В связи с опасностью оккупации города и железнодорожного узла ему было предложено срочно эвакуировать имущество и другие материальные ценности клуба, для чего выделили товарный вагон. На погрузку и отправку имущества дали 24 часа. Ценности предлагалось доставить в Ташкент, где сдать на хранение местному отделению железной дороги согласно имеющейся договоренности.

Всю эту работу Валентин Иванович поручил мне, так как его оставляли в Прохладной в распоряжении отделения дороги. Я дал согласие при условии, что моим друзьям будет позволено уехать со мной в клубном вагоне.

Вечером обсудили вопросы эвакуации на квартире у Лиды Смыковой. Она согласилась ехать с Николаем Павловичем и Васей. С собой она брала и 70 летнюю мать, которую она не могла оставить одну.

Таня Власенко и Надежда Васильевна решили оставаться в Прохладной и дожидаться нашего возвращения.

Утром началась погрузка вагона и оформление описи ценностей, подлежащих отправке. Вагон загрузили, оставив место в дверном проёме для пяти человек и наших вещей. Погрузили всё наиболее ценное, что было в клубе, включая рояль и другие музыкальные инструменты.

Когда погрузка и оформление документов были почти закончены, на легковой машине отделения дороги приехала Лидия Смыкова с матерью, Николай Павлович и Вася. Машине пришлось сделать два рейса, чтобы привести чемоданы и домашнюю утварь. Надежда Васильевна принесла мой вещмешок, уложенный накануне, и сумку с продуктами на дорогу. Таня Власенко принесла большую сумку с вещами и продуктами для Васи.

Пришли попрощаться Валентин Иванович, родственники и друзья Лиды Смыковой. Трудным было прощание. Тяжелее всех оно было для Надежды Васильевны. Наверное, она чувствовала, что прощается со своим приёмным сыном навсегда.

56

В дороге было без особых приключений. Наш поезд состоял, в основном, из вагонов арендованных предприятиями и организациями для отгрузки в тыл оборудования и других материальных ценностей из прифронтовых городов. На станциях приходилось подолгу ждать, так как впереди нас пропускали военные составы и санпоезда. На станции Дербент, к примеру, мы простояли несколько суток и имели возможность осмотреть достопримечательности этого древнего города на берегу Каспийского моря.

Жизнь в дороге выработала свои нормы и правила, отличные от жизни в городе или даже в деревне. Не было привычных бытовых и санитарных условий. По другому здесь готовили пищу, ели, спали, отдыхали. Если в первые дни это удручало и создавало много проблем, то со временем мы понемногу ко всему привыкли и воспринимали это, как должное.

По рейсовым карточкам получали в магазинах по 500 граммов хлеба в день. На узловых станциях мы, как железнодорожники, получали кое-что из продтоваров в магазинах ОРСов железной дороги. Однако, когда наши домашние запасы иссякли, мы постоянно чувствовали потребность в продуктах, которых не доставало.

Иногда Лида ходила на рынок и по очень высоким ценам покупала картошку и овощи, из которых её мать, Любовь Васильевна, готовила очень вкусные первые блюда. Особенно нравились нам её борщи. Мы собирали деревянные отходы и из кирпича на улице сооружали временные печи, на которых она и готовила.

Хоть мы часто голодали и чувствовали постоянную нужду, но жили очень дружно. Особенно внимательны мы были к Николаю Павловичу. Ежедневно покупали свежие газеты и читали ему вслух. Лида взяла с собой патефон и мы слушали музыку. Находили время и для прогулок с ним на воздухе.

Очень волновались за возможные бомбёжки, но, к счастью, до Дербента нас ни разу не бомбили и не обстреливали. Можно было не сомневаться, что до Баку и, тем более, в Средней Азии такой опасности не будет.

На десятый день прибыли в Баку, откуда по Каспию отправились в Красноводск. На море нас застиг сильный шторм и все, в разной степени, перенесли морскую болезнь. Особенно плохо себя чувствовала Любовь Васильевна. У неё не прекращались рвоты, которые ничем нельзя было остановить. К утру шторм стих и мы благополучно прибыли на противоположный берег Каспийского моря - в Туркмению.

Красноводск запомнился сильными ветрами, отсутствием пресной воды и зелени. Воду сюда привозили цистернами и нужно было постоять в очереди, чтобы получить ведро воды. Не знаю была ли эта проблема здесь постоянной или временной, но нас она не обошла.

Продуктов было больше, чем на Европейской территории Союза и они были значительно дешевле. Особенно много было в Красноводске селёдки и другой рыбы. На радостях поели селёдки и никак после этого не могли напиться.

После двухдневного ожидания наш вагон, наконец, подцепили к товарному поезду следующему в Ташкент и мы начали свой маршрут по Средней Азии. Первые же впечатления, полученные от знакомства с этим краем, в корне изменили представления о нём, сложившиеся из наших школьных познаний по географии. Мы ожидали увидеть безбрежную знойную пустыню, покрытую безводными песками, где живут одни верблюды, ящерицы и змеи, а люди сосредоточены в редких оазисах, где есть вода и зелёная растительность.

Каково же было наше удивление, когда мы увидели совсем иную картину. По обоим сторонам дороги пробегали, утопающие в зелени, города и сёла, колхозные сады и виноградники, а на перроны станций местные жители выносили для продажи мясные и молочные продукты, фрукты и овощи в большом количестве и широком ассортименте. Цены были в несколько раз ниже бакинских. Опасаясь, что такое может не повториться, мы на первых станциях сделали солидные продовольственные запасы, но чем дальше мы удалялись от Красноводска, тем дешевле становились продукты.

Больше всех радовалась сказочному изобилию Любовь Васильевна. Она подробно расспрашивала о ценах на продукты, любовалась видами окружающей местности и на каждой очередной станции предлагала дочери выгружаться из вагона и оставаться здесь.

-От добра, добра не ищут, - повторяла она, - раньше сойдём - ближе от дома будем, когда придёт пора возвращаться.

Поначалу всё это принимали в шутку, но постепенно к её предложениям стали всё более серьёзно прислушиваться. На самом деле, какой смысл было всем ехать в Ташкент, куда следовал наш вагон с клубным имуществом, когда здесь можно легко найти недорогое жильё и дешевле прокормить семью. Эта мысль постепенно крепла и мои друзья стали искать себе здесь приемлемое место для временного проживания.

Когда этот вопрос был в принципе решён, мы договорились, что я, как официальное лицо, поеду по назначению сдавать имущество, а Лида со своей матерью и моими друзьями останутся здесь и будут ждать моего приезда и возможности возвращения домой.

На остановках стали советоваться с местными жителями относительно выбора места жительства. Большинство из них предлагали остановиться на узловой станции Коган, или в Бухаре, где живут много русских, легко найти квартиру и цены на продукты дешевле. Кроме того Бухара большой и красивый город с богатой историей и множеством архитектурных и культурных памятников.

Когда поезд прибыл на станцию Коган, мы убедились, что советы эти были дельными. На перроне было многолюдно, как на базаре. С обеих сторон большого здания вокзала было множество прилавков, уставленных молочными продуктами, фруктами, овощами и горячими блюдами. Женщины наперебой предлагали свои товары по очень низким ценам. На перроне заметили указатель: «Эвакуационный пункт».

Дежурный, к которому мы обратились, очень любезно принял нас и обещал всемерную помощь. Он тут-же оставил своё рабочее место и, с помощью двух вокзальных грузчиков с жетонами на груди, выгрузил из вагона на тележки чемоданы и сумки моих друзей и велел им следовать за ним.

Прощаясь со мной, Лида заплакала. Она благодарила за всё, обещала заботиться о наших друзьях и просила возвращаться как можно быстрее. Николай Павлович и Вася долго держали меня в своих объятиях. Наверное, каждый из нас понимал, что мы расстаёмся надолго, скорее всего навсегда.

57

Приём и сдача материальных ценностей в Ташкентском желдорклубе производилась формально и продолжалась не более двух часов. Этого времени было достаточно, чтобы выгрузить всё из вагона и получить расписку, что всё получено и принято на хранение.

Заведующий желдорклуба Рахмудов, пожилой узбек, с трудом говорящий на русском, пригласил меня в ресторан, где заказал вкусный обед с вином и долго расспрашивал о работе и жизни в прифронтовых районах. Он приглашал меня пожить в его доме, но я поблагодарил его за внимание и попросил показать мне ближайшую гостиницу, где я мог бы отдохнуть и привести себя в порядок с дороги.

Оказалось, что в гостинице свободных мест не было, но администратор позвонил в какую-то новую гостиницу, подведомственную Министерству социального обеспечения, которая согласилась устроить меня на несколько дней. С помощью Рахмудова я нашёл эту гостиницу на окраине города, где меня не только поселили в четырёхместном номере, но и выдали талоны на питание на три дня, не взяв за всё это ни копейки денег. Дежурная объяснила, что в Ташкенте и других городах Узбекистана созданы гостиницы для инвалидов Отечественной войны, где они могут находиться на полном государственном обеспечении в течении нескольких дней после выписки из госпиталя. Обычно срок пребывания в таких гостиницах был ограничен тремя днями. За это время инвалиды должны были определиться с жильём, работой или учёбой.

В гостинице было уютно и чисто. Кормили по талонам в ближайшей столовой три раза в день и питание было довольно приличным.

За отведенные мне на обустройство три дня я хорошо отдохнул и осмотрел достопримечательности города. Ташкент мне очень понравился, но жизнь здесь была мне не по карману и я решил поехать в Андижан, где, по слухам, всё было гораздо дешевле.

Носил я тогда ещё солдатскую одежду, ходил на костылях и всё моё имущество помещалось в заплечном вещмешке. Хоть по календарю уже был сентябрь и начиналась осень, здесь было ещё довольно тепло и можно было ездить в тамбуре или на площадках пассажирского поезда. К подобным мне пассажирам тогда относились снисходительно и билетов не требовали.

В Андижане я устроился в такой же, как в Ташкенте, гостинице и также полностью использовал отведенный мне лимит времени. Мне очень понравился такой способ путешествовать и я решил продолжать это занятие, как можно дольше.

На самом деле, - рассуждал я, - когда мне ещё представится такая возможность бесплатно поехать в страну, находясь на полном государственном обеспечении, знакомиться с достопримечательностями и изучать историю этого древнего края.

Поначалу совсем не уставал от этих поездок и даже перестал думать о поиске пристанища для жизни, места работы или учёбы. Когда же я побывал в двух десятках городов и провёл в дороге более двух месяцев, я почувствовал усталость и ощутил желание где-нибудь остановиться и заняться чем-нибудь более полезным для жизни, например учёбой.

Это было в Фергане, столице Ферганской долины, одного из чудесных уголков Узбекистана. По своим климатическим и природным условиям он ничуть не уступал южным областям Украины, а по урожаям зерновых и фруктов даже превосходил их. Кроме того, здесь выращивали большое количество хлопка, который тогда называли белым золотом, и который на Украине не произрастал.

После Ферганы мне предстояла поездка в Коканд, древний город в той же долине и я решил использовать отведенное мне там время в поиске места для постоянного жительства.

Кокандская гостиница мне понравилась больше других, город произвёл хорошее впечатление и мне совсем не хотелось больше путешествовать. В очереди за хлебом, который мне полагался по рейсовой карточке, я встретил молодого парня, тоже инвалида, без правой руки, который посоветовал поступить в нефтяной институт, в котором он учится. Парня того звали Мишей, по фамилии Чернер и родом он был из Бендер - небольшого городка в Молдавии. Пустой правый рукав гимнастёрки был заправлен за пояс и его правое плечо почему-то подёргивалось.

Пока шли от магазина до института мы успели съесть свои дневные пайки хлеба, который на этот раз был очень свежим и вкусным. Когда Миша привёл меня во двор института, я прочёл на фасаде здания вывеску: «Кокандский нефтяной техникум».

-А где же институт? - спросил я Мишу.

-В этом здании, - спокойно ответил он, - теперь здесь, кроме Кокандского нефтяного техникума, размещается Грозненский нефтяной техникум и Грозненский нефтяной институт, которые недавно эвакуировались из Грозного. Сейчас мне стало ясно, почему эта вывеска не привлекла моего внимания, когда я проходил мимо накануне.

Вошли в вестибюль, прошли по полутёмному коридору и Миша показал на дверь с надписью: «Деканат». В небольшой комнатке с одним окошком по углам стояли три стола, за которыми сидели три декана. Один из них, небольшого роста мужичок средних лет, с лысиной, поднялся со стула, взял со стола папку с какими-то бумагами и, проходя мимо меня, сказал:

-Вы, наверное, ко мне, молодой человек. Пойдёмте со мной на лекцию, а потом поговорим.

Я совсем не был уверен, что пришёл именно к нему, но не стал задавать вопросы и последовал за ним.

В небольшой классной комнате было человек тридцать студентов, в основном девушки. Все они стояли вдоль двух, наскоро сколоченных из нестроганных досок столов, с общими тетрадами и шариковыми ручками в руках. Высота столов была рассчитана на их использование студентами в стоячем положении.

Когда в комнате установилась тишина, декан сказал:

-Это наш новый студент, - и добавил, обращаясь ко мне, - представьтесь, молодой человек.

Когда я назвал своё имя и фамилию, декан предложил мне единственный стул, что стоял у маленького столика для лектора и, предупреждая мои возражения, произнёс:

-Я им всё равно не пользуюсь на лекции.

Мне пришлось согласиться, так как стоять на костылях полтора часа было на самом деле неудобно.

Как только декан начал лекцию, я понял, что читает он курс геологии и я нахожусь в группе геологического факультета.

У меня никогда не было желания изучать геологию, тем более сделать её своей специальностью. В школе мне очень нравилась физика, математика, астрономия и мечтал я, как и мои братья, стать учителем. Специальность геолога была несовместимой с состоянием моего здоровья после ранения. Геолога, как известно, ноги кормят, а с моим раздробленным коленом многого не достигнешь в этом деле.

Было ясно, что это не мой факультет. Если уже оставаться в этом институте, то, по крайней мере, на технологическом или промысловом факультете. Об этом я и намеревался сказать декану после лекции.

Однако по ходу его лекции мною всё больше овладевал интерес к лектору и предмету, который он читал. Он настолько сам увлёкся темой и так увлёк ею студентов, что никто не обратил внимание на звонок, зовущий на перерыв. Лектора остановил только профессор, который пришёл на следующую пару читать курс палеонтологии.

Когда мы, после лекции, шли с деканом к директору по вопросу моего приёма в институт, я не думал больше о выборе специальности.

Ректор института, Николай Иванович Петросян, довольно ещё молодой человек, высокого роста со спортивной фигурой, принял нас очень вежливо и попросил аттестат об окончании средней школы, которого у меня не было и быть не могло.

Я ответил, что все мои документы остались в оккупированном немцами Красилове, а знания свои я постараюсь подтвердить в ходе учёбы.

Декан предложил принять меня условно до окончания зимней сессии, а по её результатам решить вопрос о моём пребывании в институте. Ректор согласился и на моём заявлении начертал резолюцию об условном зачислении в институт. Он также подписал распоряжение о предоставлении места в общежитии.

По дороге в деканат нам встретился студент нашего курса, на которого я обратил внимание во время лекции по геологии. Он отличался от других своей неопрятностью и низким ростом. Декан пригласил его в свой кабинет и попросил помочь мне в обустройстве и учёбе.

-С удовольствием,- ответил тот, и, обращаясь ко мне, представился: - Рувим Фан-Юнг. Будем вместе жить и учиться.

По дороге в общежитие Фан-Юнг предупредил меня, что комендант наш - Ашот Аганесович Хуберов не очень вежлив со студентами и советовал не обращать на это внимание.

В этом я вскоре убедился, когда комендант, не подбирая слова, по-русски, с армянским акцентом возмущался поведением ректора, который, зная об отсутствии мест, направляет всё новых людей в общежитие. Он категорически отказался меня принять из-за отсутствия коек и постелей.

Рува заступился за меня и, вызывая Хуберова к состраданию, попросил разрешить нам спать на одной его кровати, пока освободится место.

Трудно сказать, что подействовало на коменданта: то ли просьба Фан-Юнга, то ли мой жалкий вид на костылях, но он сменил гнев на милость и разрешил мне поселиться с Рувимом на одной кровати и даже дал нам вторую подушку.

В комнате, куда привёл меня Рува, кровати стояли почти вплоты одна к другой в два яруса. Наша кровать была во втором ярусе.

Мы сходили на рынок, купили полулитровую банку кукурузной муки, и во дворе общежития на кирпичях сварили большую кастрюлю жидкой каши-мамалыги. Каша, хоть и была без жира, показалась нам довольно вкусной.

Наступил конец декабря и дни были самыми короткими. Легли рано и Рува мне долго рассказывал о себе, учёбе, быте, предстоящих экзаменах и о многом другом, что следовало мне знать в нелёгкой студенческой жизни.

58

Перечень предстоящих в январе экзаменов, сдача которых была обязательным условием моего пребывания в институте, внушал серьёзное беспокойство. Как в любом техническом ВУЗе, в первом семестре следовало сдать экзамены по высшей математике, физике, химии и начертательной геометрии, а на геологическом факультете, кроме того, нужно было сдать ещё геологию.

Я отчётливо себе представлял, как сложно мне будет сдавать экзамены по физике, высшей математике и химии, не прослушав курс лекций в первом семестре. Положение усугублялось тем, что я закончил только 9 классов средней школы и многое позабыл за прошедшие полтора года войны.

Что же касается экзамена по начертательной геометрии, которому должен был предшествовать зачёт со сдачей двенадцати чертёжных листов, то мне было ясно, что эта задача будет для меня совсем невыполнимой.

По сравнению с этими предметами, экзамен по геологии мне представлялся лёгким, так как было достаточно нескольких бессонных ночей, чтобы прочесть программные разделы курса в книгах и Рувиных конспектах.

Сессия ожидалась трудной и нередко возникала мысль, что я берусь за решение невыполнимой задачи и мне придётся оставить институт.

А учиться очень хотелось. Я охотно посещал лекции по всем предметам. Мне нравилась физика, химия, математика, но больше других доставляли удовольствие лекции по геологии.

Даииил Осипович Выдрин, декан нашего факультета и доцент кафедры геологии, любил свой предмет и свою специальность самозабвенно. Казалось, что эта любовь вытеснила у него все другие чувства и его ничего больше не интересует. Он жил рядом с нами в общежитии, в небольшой комнатке площадью 6-7 квадратных метров. Мы с Рувкой часто у него бывали, так как, по его просьбе, отоваривали его продовольственные карточки и ежедневно приносили ему продукты. Мы заставляли его всегда в одном положении. То ли он читал, то ли что-то писал за небольшим столиком. За исключением этого столика, одного стула и металлической кровати всю его комнату занимали книги. Они были на самодельных полках

вдоль стен, на подоконнике, на полу и даже на кровати. За книгами он забывал обо всём, в том числе и об еде. Если мы, по каким-то причинам, не отоваривали в срок его карточки, они пропадали, так как просроченные купоны становились недействительными. Нам было жаль, что ценные продукты, которые ему полагались, как учёному по литеру «А», не использовались и мы старались не допускать этого.

В его поведении было много странного. Мы никогда не видели его в кино, на концертах, на отдыхе в парке, у реки или на прогулке. Он не был женат и ни с кем из женщин не встречался. Выдрин посвятил всего себя геологии.

На лекции он редко пользовался записями, тезисами или конспектами. Говорил образно, увлечённо и его всегда слушали с интересом. Он заряжал всех любовью к своему предмету.

Я не стал исключением и старался не пропускать ни одной его лекции. Когда возникала мысль, что мне придётся оставить институт после сессии, то больше всего было жаль потерять возможность учиться у Даниила Осиповича Выдрина.

А мысль эта меня посещала всё чаще по мере приближения зимней сессии. Когда я поделился своими сомнениями по поводу сдачи экзаменов с Рувкой Фан-Юнгом, тот моих опасений не разделил и взялся мне во всём помочь. Он был очень способным, хорошо знал все предметы, особенно физику и математику и умел всё доходчиво объяснять.

Своё обещание Рувка сдержал. Когда пришла пора экзаменов, мы приходили с ним в библиотеку ко времени её открытия и уходили оттуда последними.

Первым был экзамен по физике. К моему удивлению, я помнил этот курс из программы 8-го класса и мне не стоило больших трудов подготовить ответы на все вопросы, включённые в билеты. Только по некоторым вопросам, которые мне были не известны из школьной программы, понадобилась Рувина помощь. Для верности я попросил его проверить мои знания по экзаменационным билетам, и тот подтвердил готовность к экзамену. В итоге я получил первую отличную отметку в моей зачётной книжке.

Радости не было предела. С большим вдохновением я взялся за подготовку к экзамену по математике. Оказалось, что высшая математика на первом курсе не такая уже и сложная и, с помощью Рувы, я без большого труда одолел программный материал. Мои знания были оценены высшим балом и профессор зафиксировал это в зачётке.

Третьим по расписанию был экзамен по химии. Здесь в большей мере сказалось отсутствие 10-го класса и особенности предмета. За отведенные на подготовку три дня я не сумел в полной мере освоить и запомнить весь материал и мои знания были объективно оценены балом 4 (хорошо).

На начертательную геометрию отводилось только два дня на подготовку и я, естественно, и не пытался за это время изучить этот довольно сложный предмет. По совету Рувы я обратился к Выдрину с просьбой об отсрочке экзамена. Он поздравил меня с успехами в учёбе и с пониманием отнёсся к моей просьбе.

С учётом отсрочки очередного экзамена я имел целую неделю на подготовку к сдаче геологии, что имело решающее значение в освоении сложного материала. Даниил Осипович, который редко кому ставил высшую отметку по своему предмету, вывел в моей зачётке чёткими буквами «Отлично» и пожал мне руку в придачу.

Этот день мы с Рувкой отметили праздничным ужином. Вместо привычной мамалыги сварили дорогую рисовую кашу, купили на углу нашего общежития варёную сахарную свеклу и отоварили в магазине сахарные купоны подсолнечной халвой. Мы наслаждались необычными блюдами и с удовольствием пили зелёный чай со сладкой, вкусной халвой.

Это был важный день в моей постармейской биографии. Моё пребывание в институте не вызывало больше никаких сомнений.

59

Шёл 1943-й год. Его начало было отмечено важными победами на Советско-германском фронте. После многомесячных тяжёлых и изнурительных боёв, стоивших жизни многим тысячам советских солдат и офицеров, наши войска перешли в наступление под Сталинградом, окружили и пленили трёхсоттысячную армию генерал-фельдмаршала Паулюса и двинулись на запад, освобождая сотни городов и сёл, оккупированных немецко-фашистскими войсками.

Немцы бежали, оставляя на поле боя грозную боевую технику и трупы солдат своего «доблестного» войска.

Победа под Сталинградом была и по масштабам и по значимости наиболее важным событием в Великой Отечественной войне советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Даже разгром немцев под Москвой в декабре 1941-го года не может ни в какой мере быть сравнимым с поражением гитлеровских войск на Волге. Это был поворотный пункт в ходе не только Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

В это же время была прорвана блокада Ленинграда и совершено ряд наступательных операций на других участках фронта.

Меня очень беспокоило отсутствие писем от Сёмы, находящегося в Сталинграде. Почти ежедневно я отправлял ему письма, которые оставались безответными.

Какова же была моя радость, когда в конце февраля я получил одновременно несколько писем и денежный перевод от него. Он жаловался, что долго не получал моих писем и не знал моего адреса. Вероятно какое-то время, когда наши войска были плотным вражеским кольцом прижаты к Волге, почта не поступала туда и оттуда.

Сёма радовался победе и не терял надежду на скорую встречу со всей нашей семьёй.

Я написал ему подробное письмо о жизни в Коканде, учёбе и возможной эвакуации института в Грозный.

Наша переписка возобновилась и я всё в большей мере стал ощущать не только моральную, но и материальную поддержку Сёмы. В Коканд, с небольшими перерывами прибыли денежные переводы на сумму около десяти тысяч рублей.

Конечно, когда буханка хлеба на рынке стоила сто рублей, это не было очень значительной суммой, но с учётом того, что моя стипендия была тогда всего 270 рублей, это была весомая материальная поддержка, которая уберегла меня от голода и позволила купить необходимую одежду и обувь.

Студенческая жизнь в Коканде была не лёгкой. Учились в тесноте, лекции слушали и конспектировали, в основном, стоя, в лабораториях и кабинетах не было необходимого оборудования, материалов и принадлежностей.

В столовой нас кормили обедом, который состоял из жидкого супа без мяса и каши почти без жира.

Правда, в отдельной комнате для инвалидов войны было чище, чем в общем зале, столы были накрыты салфетками, а на второе давали пшённую кашу с американским яичным порошком. Эту комнату обслуживала официантка Лида - миловидная девушка только что окончившая среднюю школу, со светлыми волосами и голубыми глазами.

Не знаю чем я приглянулся Лиде, но она всегда подавала мне суп погуще и каши побольше, чем в обычной порции. Иногда она приносила мне небольшой свёрток, где было, обычно, несколько кусочков хлеба, намазанного маслом или пару яиц, а иногда даже кусок колбасы из продуктов, которыми кормили профессоров в отдельном зале по их литературным карточкам. Наверное, Лида догадывалась, что студенческого обеда было явно недостаточно, чтобы сытно поесть.

Я так и не знаю, что было причиной такого отношения Лиды ко мне. То ли одно сострадание и жалость, то ли ещё были какие-то чувства, но я старался не выяснять этого, памятуя мои отношения с Аннушкой, которые я был не в силах окончательно выяснить или расторгнуть.

В столовой мы только обедали, а завтракали и ужинали в общежитии. Готовили на примусе или на костре во дворе дома. Ужин обычно состоял из жидкой каши из кукурузной муки и чая без сахара, а на завтрак был чай с кусочком хлеба, который с трудом удавалось сохранить из дневного пайка.

И тем не менее я был доволен студенческой жизнью. Я уходил ежедневно из института с новым багажом знаний, полученным за день. Мне было приятно сознавать, что все они легко воспринимаются мною и что пробел в моей учёбе и длительный перерыв в ней постепенно восполняются полученными знаниями на лекциях и чтением книг в библиотеке.

Многому я обязан был Фан-Юнгу. Он сам был жадным на знания, отдавая учёбе всё свободное время, и меня вовлекал в эти занятия.

Летнюю сессию я сдал без единой четвёрки, а после всех экзаменов ликвидировал и хвост по начертательной геометрии. Это был первый и последний хвост за все годы учёбы.

Летом объявили о возвращении института в Грозный. В связи с этим была отменена летняя геологическая практика, о которой так часто говорил Даниил Осипович и которую с большим нетерпением ждал мой друг Рувка.

Для эвакуации нефтяного института и нефтяного техникума был выделен целый эшелон из двадцати товарных вагонов. Этого было достаточно для погрузки всего институтского имущества, отправки профессорско-преподавательского состава с семьями и желающих учиться в Грозном студентов. Некоторые студенты отказывались ехать и переводились в другие ВУЗы, находящиеся в то время в Коканде, в частности, в Московский химико-технологический институт имени Менделеева.

Большинство же студентов, в их числе и я с Рувкой, согласились поехать в Грозный. О своём решении я написал Сёме, пообещав ему из Грозного сообщить свой новый адрес.

В день отъезда на вокзал, где производилась погрузка имущества института и техникума, а также посадка отъезжающих студентов, сотрудников и преподавателей было необычно многолюдно. Провожających было больше, чем отъезжающих. Мы с Рувкой никого не ждали, так как никого из близких здесь не оставляли.

Когда посадка уже заканчивалась, пришла Лида - официантка студенческой столовой. Она смущённо улыбалась, подарила мне полный комплект бритвенных принадлежностей, просила записать её адрес и написать ей из Грозного, если будет желание.

Прощаясь с ней я заметил, как на её красивые голубые глаза навернулись слёзы. Наверное не одним состраданием они были вызваны.

Поезд медленно отходил от перрона и долго ещё я не терял из виду тоненькую фигурку Лиды, машущую на прощание платочком.

60

Нефтяной институт был самым крупным и самым богатым учебным заведением в Грозном. Он размещался в огромном многоэтажном здании в самом центре города. С ним соседствовали центральный городской кинотеатр имени Челюскинцев и областной драматический театр, образуя очень уютную благоустроенную площадь, утопающую в зелени.

В двух трамвайных остановках от института, на улице Крафта 8, в большом пятиэтажном здании размещалось институтское общежитие, которое по внешнему виду, планировке и благоустройству не уступало Ташкентской гостинице, в которой мне приходилось останавливаться во время моего вояжа по Средней Азии.

Меня поместили на четвёртом этаже в одной комнате с Рувкой Фан-Юнгом, с которым мы были неразлучны с первых дней кокандского периода пребывания в институте, Лёвой Хайкиным, инвалидом войны с таким же, как и у меня, ранением коленного сустава и Лёней Шустером, который, как и Рувка, был освобождён от воинских обязанностей по зрению.

Дружба с Рувкой доставляла мне истинное наслаждение. Я уважал его за эрудицию и способности, доброту и отзывчивость, скромность и бесхитростную честность.

Не всё в его характере и поведении импонировало мне. Он был абсолютно безразличным к своему внешнему виду и неопрятен, что вызывало моё недовольство. Его интересы сводились, в основном, только к учёбе и книгам. Даже к еде он был безразличен, Лишь бы не голодать. Его вполне устраивало каждодневное меню из кукурузной каши или супа, и я не замечал особых его эмоций, когда нам изредка удавалось поесть что-нибудь вкусное. Не стремился он также к каким-то развлечениям или отдыху на природе, считая это пустой тратой времени, которое могло бы быть использовано на чтение. Всё свободное от занятий в институте время он старался проводить в библиотеке и в этом видел все удовольствия жизни.

Мои попытки повлиять на Рувку были не очень эффективными, но всё же мне удавалось нередко вытащить его в кино, на прогулку, а иногда даже на вечера отдыха, которые часто устраивались в институте. Наверное, он делал это больше из желания сохранить нашу дружбу, нежели от потребности в этом.

Эти и некоторые другие отрицательные особенности Рувы не могли оказать заметного влияния на нашу дружбу и я любил его таким, каким он был, и сохранил о нём только добрые воспоминания на всю жизнь.

Лёва Хайкин во многом был прямой противоположностью Рувы. Он видел в учёбе только средство получения диплома инженера. Не очень увлекался он и книгами. Свободное время старался проводить на природе, рыбалке или в прогулках по парку или городу, часто ходил в кино, на институтские вечера, любил быть в обществе девушек и пользовался у них успехом. Он умел запустить шутку или рассказать анекдот, которых у него было неиссякаемое множество на все случаи жизни. Трудно было понять, когда Лёва говорит серьёзно и когда шутит. Он был родом из Днепропетровска и окончил там до войны среднюю школу. Свой город он считал самым лучшим и мог говорить о нём часами. В институт Лёва только поступил и был на первом курсе технологического факультета.

Лёня Шустер был из богатой еврейской семьи. Его отец до войны заведовал лесосплавом в Белоруссии и Лёня вырос избалованным парнем, не знавшим ни в чём отказа. Поэтому ему было намного труднее, чем нам, переносить голод и лишения военного времени. По его рассказам основной проблемой в их семье до войны было, как уговорить его, единственного сына, что-нибудь поесть. Его мама готовила ему изысканные блюда по особым рецептам. А здесь и мамалыги вдоволь поесть нельзя было. Лёня особенно тяжело переносил голод. По его внешнему виду всегда можно было узнать состояние его желудка. Когда Лёня был сыт, он всем улыбался и без стеснения проявлял свои дружеские чувства к нам. Когда же он был голоден, то поворачивался к стенке на своей кровати, подолгу смотрел в одну точку и крутил свои рыжие волосы на голове. В это время было лучше не подходить к нему близко.

А ещё Леня очень любил театр и хорошо читал стихи. Наверное, он стал бы артистом, а не инженером, если бы не картавил. Как и многие евреи, он не мог выговорить букву «Р» и это вынудило его поступить в Минский политехнический институт, где он до войны закончил первый курс строительного факультета. Здесь он был на втором курсе технологического факультета.

Несмотря на то, что все мы были во многом различны и внешне между нами почти не было ничего общего, мы были очень дружны между собой. Вместе питались и во всём старались друг другу помочь.

Наверное поэтому мы легче преодолевали невзгоды и лишения студенческой жизни в те трудные годы войны.

Самым большим оптимистом среди нас был Лёва Хайкин. Его неугасимый заряд бодрости и юмора подымал настроение и укреплял уверенность в успешное решение всех наших житейских и учебных задач.

Запомнился один эпизод из наших трудных студенческих будней.

Это было после каникул, в начале учебного года, когда кончаются летние заработки на разных погрузочно-разгрузочных работах и наступает пора напряжённых занятий. Полученной стипендии хватало на несколько дней, а до следующей ещё долго ждать.

В такие осенние дни самое трудное дело - прожить вечер без ужина. Питались вместе. Если кому-нибудь из нас удавалось что-то заработать или съестное достать, то всё делили поровну. Если же не удавалось, то и голодали вместе. Переносили же голод по-разному. Лёва Хайкин внешне не проявлял страданий голода. В это время он ещё острее шутил и больше забавлял нас всякими смешными историями и анекдотами.

В один из таких сентябрьских вечеров на ужин был густо заваренный зелёный чай и Лёвины анекдоты. Лёня от такого ужина отказался и занял привычную позу в своей кровати. В таком положении он провёл всю ночь, не вступая с нами ни в какие разговоры.

Под утро меня разбудил Лёвка, повёл в коридор и поделился своей идеей.

-Давай пройдем по комнатам и соберем денег Лёне на мамалыгу,- предложил он.

Я представил себе, как обрадуем Лёню, измученного голодом, горячей кашей перед началом трудового дня, и согласился с Лёвой.

Со смехом и шутками прошли мы по всем пяти этажам общежития с протянутой шапкой, умоляя подать, Христа ради, по гривеннику Лёне на мамалыгу. Студенты - народ весёлый, юмор понимают и мы без труда собрали 35 рублей на банку муки.

Базары в Чечне начинаются с рассвета и мы, не заходя в комнату, отправились на рынок, купили муки и в чужой кастрюле, чтобы сохранить затею в секрете, стали варить кашу на кирпичках во дворе общежития.

Варили, как обычно, по своей технологии, обеспечивающей, как нам казалось, наиболее эффективное использование муки и максимальный выход готовой продукции. Такое достигалось, когда муку высыпали в пустую кастрюлю, а затем весь её объём заполнялся холодной водой и масса тщательно перемешивалась. В этом случае мука равномерно растворялась, хорошо набухала и получалась полная кастрюля каши или супа, в зависимости от объёма кастрюли и количества муки.

Так мы всё и сделали и, когда вода уже начинала закипать, вспомнили, что забыли соль. Нет, чтобы кто-нибудь один пошёл за солью, а второй остался перемешивать и смотреть за кашей, так пошли вдвоём, чтобы веселее было. Шли так быстро, как позволяли нам наши покалеченные ноги, но вернувшись, увидели весёлую картину. Хорошо знакомая нам свинья коменданта Хуберова, что жила в сарайчике во дворе общежития, с аппетитом хлебала нашу мамалыгу.

Было не до смеха. Шутка ли сказать, с таким трудом добытый завтрак стал легкой добычей комендантской свиньи. А главное - чем накормить теперь голодного Лёню?

Не думая о последствиях, Лёвка сломал толстый дрын, попавшийся ему на глаза, об свинячью спину и занялся спасением каши. Он долил воды до полной вместимости кастрюли, насыпал соль и стал старательно перемешивать содержимое.

Лёва установил, что свинья успела только похлебать жидкость с верхней части кастрюли, а гуща осела на дно, что позволяло восстановить первоначальный объём содержимого и поэтому без колебаний решил этим воспользоваться.

-Ты будешь кормить Лёню свинячьей похлёбкой? - в недоумении спросил я.

Нам хорошо было известно Лёнино пристрастие к чистоте и порядку. При всей своей бедности, он никогда не садился есть тщательно не вымыв руки, ежедневно стирал рубашку и гладил свои единственные выходные брюки. Он был очень брезглив и никогда не ел чужой ложкой или не из своей тарелки.

-Не выливать же кашу в помойку, - возмутился Лёва, - мы эту похлёбку простерилизуем, а Лёне ничего не скажем, - добавил он.

-А если свинья больная? - не уступал я

-Это другой вопрос, - согласился он, - об этом мы спросим у Хуберова.

Кашу доварили и понесли её на второй этаж, где была квартира коменданта. Мы знали, что Хуберов любил поспать подольше и не терпел, когда его беспокоили по пустякам. Было около семи утра, когда мы постучали в дверь коменданта. Он выбежал в коридор в одних кальсонах, протирая ещё сонные глаза. Хуберов был уверен, что если кто-то осмелился его поднять в такое раннее время, то случилось что-то серьёзное, вроде пожара или потопа.

-Где горит? - в тревоге спросил он.

-Нигде не горит, - успокоил его Лева, - Ваша свинья поела нашу мамалыгу. Скажите, она здоровая или больная?

-Мамалыга была горячая или холодная? - забеспокоился о свинье Хуберов.

-Тёплая, - ответил Лёва, - только ответьте здорова ли ваша свинья.

-Здорова, - заверил комендант и захлопнул перед нами дверь.

Мы договорились сохранить случившееся в тайне и понесли кастрюлю на четвёртый этаж. Лёня почувствовал запах мамалыги, когда мы ещё шли по коридору. Хорошо помыв руки, он уселся за стол, глаза его забегали, как обычно, при виде желанной пищи, и он принялся аппетитно есть, благодарно поглядывая на нас.

Ели и мы слевой ту злощастную мамалыгу, только менее аппетитно, чем Лёня.

Долго ещё мы держали в секрете от Лёни тот случай с мамалыгой, которую доели после свиньи коменданта. И всё же он как-то узнал о нём от самого Хуберова, который любил рассказывать всякие смешные истории студентам.

Возмущению Лёни не было предела и он больше месяца не разговаривал с нами.

Нашу комнату в общежитии почему-то называли гвардейской. То ли потому, что в ней два бывших солдата жили, то ли потому, что она часто побеждала в конкурсах на лучшую комнату общежития.

Высокие оценки в этих конкурсах мы получали только благодаря стараниям Лёвы. Он умудрялся как-то узнавать о времени обхода жюри по комнатам и, пока члены жюри приходили на четвёртый этаж, мы, под его руководством, наводили в комнате порядок и получали пятёрки. Когда же жюри начинало обход с пятого этажа и времени на уборку оставалось мало, мы наводили «рабочий порядок», когда все заняты чтением, черчением на кульмане или на чертёжных досках и им не до уборки. Жюри в таких случаях, учитывая наши старания в учёбе, тоже ставило нам пятёрку, хотя в комнате было не очень чисто. Нас ставили в пример, а иногда и премии давали. Однажды, в качестве премии, мы получили большое трюмо, а в другом случае - люстру.

Все мы, кроме Рувы Фан-юнга, участвовали в студенческой самодеятельности. Лёня руководил драмкружком. Под его руководством был поставлен водевиль «Медведь» по Чехову, который имел большой успех. А ещё Лёня хорошо декламировал. Всё у него получалось замечательно, за исключением буквы «Р». Лева пытался в текстах, которые Лёня готовился читать на концертах, заменить слова с буквой «Р» на другие однозначные, только без этой буквы. Иногда это ему удавалось и Лёня выглядел на сцене великолепно.

Лёва был незаменимым конферансье и его шутки и смешные истории украшали любые наши концертные программы.

Пригодился и мой госпитальный и Прохладненский опыт организации клубной работы. Я стал штатным заведующим студенческого клуба. У нас был хороший актовый зал с современной вертящейся сценой, киноаппаратура и полный набор музыкальных инструментов, включая и концертный рояль. Было много способных самодеятельных артистов и наши студенческие вечера проходили интересно и весело.

На втором курсе меня избрали в комитет комсомола, а на третьем - секретарём комсомольской организации института. Без комитета комсомола тогда не решался ни один серьёзный вопрос студенческой жизни. Секретарь комсомольского комитета являлся членом учёного Совета института, с его мнением считались и ректор, и деканы.

Мне нравилась общественная работа и она не мешала учёбе. Я был так занят и погружен в дела, что забывал о своей физической неполноценности, увечьях и болезнях.

После разрыва с Аннушкой я избегал дружбы с девушками и встречался с ними только по учебным и общественным делам.

Как-то перед вечером, посвящённым встрече нового 1944-го года, в комитет комсомола пришла щуплая, худая девчонка невысокого роста с большими выразительными голубыми глазами и приятной улыбкой на лице. Она предложила включить в программу концерта акробатический этюд, который взялась исполнить, если найдётся музыкальное сопровождение. Я охотно принял её предложение и пригласил на очередную репетицию, которая была назначена на воскресенье.

Девушку звали Инна Крыликова. Училась она тогда на втором курсе технологического факультета и была отличницей.

На репетиции Инна удивила нас прекрасным исполнением своего номера. Оказалось, что её увлечение балетом началось в детстве.

Её выступление на новогоднем вечере имело большой успех и с тех пор она стала постоянной участницей всех наших концертных программ и комсомольской активисткой. Инна заняла заметное место в общественной жизни института и, как потом оказалось, и в моей личной жизни.

Студенческая жизнь в Грозном запомнилась многими событиями. Она была по-прежнему трудной, как и в Коканде, но намного разнообразней и интересней, чем там.

Здесь открылись новые возможности и имелись все условия для познания глубин науки по различным отраслям знаний. Кабинеты и лаборатории были оснащены современным оборудованием и приборами, позволяющими закрепить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях. Богатая библиотека с большим и уютным читальным залом содержала необходимые учебные и научные пособия по всем техническим дисциплинам, геологии и смежным с ней наукам. Гордостью института был геологический музей, который постоянно пополнялся новыми экспонатами.

Я быстро восполнил пробелы в знаниях из-за неполного среднего образования, прерванного войной. Учиться стало легче и интересней. Кроме геологии, которая всё больше увлекала меня, с удовольствием воспринимал лекции по математике, физике, истории, философии.

Вечерние часы были заняты общественной работой и клубными мероприятиями. Ко всем праздничным датам готовились вечера художественной самодеятельности, в которых приходилось участвовать не только в качестве организатора, но и исполнителя партии мандолины в струнном оркестре. В них также активно участвовали мои друзья - Лёня Шустер и Лёва Хайкин, а также Инна Крыликова, которая возглавляла танцевальный коллектив.

Кроме нехватки в продуктах питания, которую мы здесь чувствовали в ещё большей мере, чем в Коканде, ощущался ещё и недостаток времени. Его постоянно не хватало. Единственным резервом, которым мы часто пользовались, был сон. Его продолжительность была доведена до минимума. Спал обычно не больше пяти часов. Только по воскресным дням, когда не было учебных занятий, позволял себе отоспаться.

Может быть с тех студенческих лет и выработалась привычка работать, когда все нормальные люди ещё спят. Я подымался обычно в пять утра и за несколько утренних часов успевал выполнить самые сложные учебные задания или чертёжные работы.

Такой режим продолжался до окончания института, длился все годы трудовой жизни и сохранился до сих пор, даже после ухода на пенсию. По утрам, когда все спали, я готовился к экзаменам, занимался техническим творчеством, писал диссертацию, готовил лекции и доклады, работал с директорской почтой. Даже этими «записками» занимался, в основном, с пяти часов утра.

В напряжённом ритме пробегали дни учёбы и как-то незаметно подошла зимняя сессия на втором курсе. Она была одной из самых трудных. Нужно было сдать экзамены по дифференциальным и интегральным исчислениям, теоретической механике, сопромату, что оказалось намного сложнее, нежели высшая математика и физика на первом курсе.

Мы с Рувкой, по-прежнему, готовились к экзаменам в библиотеке, с той только разницей, что теперь не только он помогал мне в освоении трудного материала, а нередко и я оказывал ему такую помощь. И в том, что Рувке удавалось получать пятерки по историческому материализму и политэкономии была и моя заслуга.

Как и во время летней сессии, мы с ним успешно сдали все экзамены и сохранили право получать повышенную стипендию, которую тогда платили отличникам.

После недолгих зимних каникул начался учебный семестр и, казалось, что ничто не сможет нарушить его обычный ритм до летней геологической практики, которую все ждали с нетерпением.

Шёл февраль 1944-го года. Война вступила в завершающую стадию, когда никто больше не сомневался в её окончательном победном финале. Советская Армия теперь уже имела подавляющее преимущество перед немецкой, как по численности дивизий, так и по вооружению. Высоким был моральный дух наших воинов, которые рвались в бой с фашистами, чтобы отомстить за смерть своих родных и близких, погибших на полях сражений и в плену, в блокаде и на оккупированной территории от невыносимых страданий, нужды, голода и холода, замученных в гетто и концлагерях.

Теперь уже отпала необходимость в заградительных отрядах, созданных по свирепым приказам Сталина, которые в августе-сентябре 1941-го расстреливали наших отступающих бойцов, пытающихся спастись бегством. Солдаты и офицеры рвались вперёд в едином порыве: «Смерть за смерть! Кровь за кровь!».

После поражения под Сталинградом немецкая армия понесла ряд тяжёлых поражений на многих направлениях Советско-германского фронта. Были освобождены сотни городов, тысячи деревень и сёл. В кольцо окружения попали десятки немецких дивизий.

В эти февральские дни 1944-го года, когда победа в войне представлялась всем очевидной и скорой, мы были удивлены и взволнованы, когда 22-го февраля, накануне празднования дня Советской Армии, были оповещены о мобилизации на сельхозработы сроком на один месяц.

Само по себе привлечение студентов на сельхозработы было делом обычным и привычным. Нас часто привлекали на такие работы в период посевной или для уборки урожая. Но февраль не сезон сельхозработ. Настораживал порядок организации выезда, поражали масштабы операции и секретность её осуществления. О выезде предупредили только накануне вечером. К работам привлекались все студенты и преподаватели за исключением больных.

Утром к общежитию подъехало несколько десятков автомобилей, оборудованных скамейками. Посадку производили по учебным группам. В нашей группе 42-г было 30 студентов, а явилось - 26. Только четыре человека были освобождены по болезни. Нашим руководителем был назначен доцент Пробст Исидор Маркович, который читал нам курс высшей математики.

Предупредили сохранять тишину, не петь и даже громко не разговаривать. Через несколько часов машины остановились в поле, у подножия гор, вблизи селения Гойсты. Здесь мы разгрузились на отдых и нам велели далеко не расходиться. Вскоре нас собрали на большой поляне и лейтенант в форме войск НКВД объяснил ситуацию и наши задачи.

Согласно Указа Президиума Верховного Совета все жители чеченской и ингушской национальностей подлежали немедленному насильственному выселению с территории Чечено-Ингушской автономной Республики за измену Родине и пособничество врагу. Студенческим отрядам поручался досмотр оставшегося в колхозах скота, лошадей и свиней и выполнение различных хозяйственных работ до прибытия новых постоянных жителей из Российской Федерации и Украины. Нам следовало соблюдать строжайшую дисциплину и беспрекословно подчиняться своим руководителям. Лишних вопросов велели не задавать.

В полдень нас привезли в село Гойсты: там где нашей группе предстояло жить и работать. Разместили по домам, где ещё утром жили чеченцы. Во всём чувствовался их внезапный и поспешный уход. Коровы, свиньи и лошади ещё доедали оставленный хозяевами корм, повсюду были разбросаны предметы домашнего обихода, хозяйственный инвентарь, посуда, одежда и обувь. Скулили собаки, метались по дворам кошки и домашняя птица.

Как потом рассказал нам Исидор Маркович, операция выселения жителей из Гойсты и из других населённых пунктов Чечено-Ингушской республики, проходила по заранее чётко разработанному сценарию, который сохранялся в секрете и начал осуществляться одновременно утром 23-го февраля.

В этот день чеченцам и ингушам был объявлен Указ об их выселении, которому подлежали все без исключения независимо от возраста, состояния здоровья, партийности, занимаемой должности, звания и бывших заслуг.

Каждой семье был установлен предельный небольшой лимит груза, который разрешалось увозить с собой. Этот максимальный вес был одинаковым для Председателя Совета Министров Республики, Героев Советского Союза, простого колхозника или рабочего. На сборы было отведено несколько часов.

Указ приводился в исполнение органами НКВД, жестокости которых могло бы позавидовать даже гитлеровское гестапо. Под конвоем вооружённых солдат чеченцев и ингушей на машинах доставили к ближайшим железнодорожным станциям, погрузили в товарные вагоны и отправили в далёкую Среднюю Азию и Казахстан.

В нашем селе было образовано два студенческих отряда, одним из которых руководил Пробст, а руководить другим поручили мне. У каждого отряда были свои обязанности. Ребята нашего отряда должны были ухаживать за скотом. На всё поголовье крупного рогатого скота, свиней, лошадей и баранов была составлена опись, а домашняя птица учёту не подлежала и её разрешалось использовать на питание студентов.

В домах, погребях и сараях осталось много картофеля, овощей, фруктов, различных варений и солений.

Приходилось много работать, но за это мы были вознаграждены вкусным и обильным питанием. По вечерам сидели дома, так как ходили слухи о возможных набегах чеченцев, оставшихся в горах. Страх, однако, оказался напрасным и за всё время нашего пребывания в Чечне не было ни одного случая появления горцев в нашем, а также и в других сёлах их бывшей республики.

Во всём том что произошло тогда в Чечне мы не могли разобраться или хотя бы мало-мальски понять, но внутренне ощущали только одно, что с чеченцами и ингушами обошлись жестоко и несправедливо.

Не знали мы ещё тогда, что такая же участь постигла тогда крымских татар, немцев Поволжья и готовилась также для евреев.

Более месяца работали мы в чеченской деревне Гойсты, пока не передали трудовую вахту новым хозяевам, прибывшим сюда из многих областей России и Украины.

После летней сессии наша группа выехала на геологическую практику в район Военно-грузинской дороги. Руководство практикой осуществлялось деканом факультета Выдриным, который оказался не только высоко эрудированным специалистом в этой области, но и прекрасным организатором.

Подымались рано и работали весь световой день. Хотя мы ужасно уставали, преодолевая ежедневно десятки километров по трудно-проходимым местам в горной местности, но были в восторге от удивительной красоты живой природы Кавказа и познаваемых тайн преобразований земной коры за все геологические периоды её существования.

Во время походов и экскурсий Выдрин отбирал материалы и образцы для институтского музея и своих научных работ. Любой камень в его руках оживал и раскрывались тайны его возникновения и преобразований. Для него не существовало слова камень. Все камни были горными породами тектонического, вулканического, осадочного или иного происхождения. Многие образцы представляли научный интерес и он мог о них рассказывать часами. Ему жаль было с ними расставаться и он бережно укладывал их в свой заплечный рюкзак. Когда его мешок был заполнен до предела мы стали класть образцы в свои мешки и по мере сил несли эту тяжесть на себе. Так как в группе, кроме меня и Рувки, были одни девушки, то нам пришлось брать на себя большую долю груза и мы с трудом двигались под его тяжестью.

В один из последних дней практики, я случайно оступился на крутом спуске, свалился с узкой тропинки в обрыв, который, на моё счастье, оказался не очень глубоким.

Как потом выяснилось в областной больнице, в результате удара при падении, усиленного грузом камней, на месте прошлого ранения образовалась трещина, которая привязала меня к больничной кровати на долгие два месяца, лишив летних каникул и запланированной поездки в Немиров, который в марте 1944-го года был освобождён от немецкой оккупации.

В больнице я окончательно осознал, что настоящего геолога из меня не получится и что пришла пора подумать о смене специальности. С такими намерениями я и явился к Даниилу Осиповичу, как только меня выписали из больницы. Он внимательно меня выслушал и, как мне показалось, понял мотивы моей просьбы, но подписать заявление о переводе на технологический факультет отказался. Он успокаивал меня тем, что после института возьмёт к себе в помощники и создаст все условия для успешной работы. Выдрин для меня всегда был непререкаемым авторитетом и я был вынужден согласиться с его доводами.

Ещё находясь в больнице, получил короткую открытку от Сёмы, из которой узнал ужасную новость о его тяжёлом ранении при форсировании реки Миусы, под Таганрогом. Сёма не приводил подробностей о характере и тяжести ранения. Это было не в его характере. Но из того, что он находится сейчас в Харькове в клинике профессора Хмельницкого, ставшей теперь военным госпиталем, я понял, что ранение его серьёзно. В этом не трудно было догадаться и потому, что Сёма не обещал скорой встречи и предупреждал, что лечение будет долгим. Всего этого было достаточно, чтобы понять, что речь идёт о его жизни и что мне нужно немедленно ехать к нему.

Боль в ноге ещё не позволяла ходить с помощью палки и мне пришлось вновь вернуться к костылям.

Получив двухмесячную стипендию и отоварив на два дня вперёд хлебную карточку, я отправился на вокзал и без билета, привычным для себя способом, устроился в тамбуре пассажирского поезда «Баку-Москва», которым к утру добрался до Ростова, где сделал пересадку на первый же поезд в направлении Харькова.

Если бы даже у меня и были деньги, то купить билет было тогда невозможно. Поезда шли переполненными, так как много людей возвращалось домой из эвакуации после освобождения большей части Украины и Белоруссии. Даже в тамбуре таких как я оказалось довольно много и нельзя было не только прилечь, но даже и присесть. Всю дорогу я думал о Сёме, его трудной жизни, о его вечном служении своим родным и близким, партии, в идеи которой свято верил, Родине, которую беззаветно любил.

Харьков встретил проливным дождём. Вокзал был разрушен при многократных бомбёжках ещё в 1941-ом году и все его службы временно располагались в большом четырёхэтажном здании, находящемся в некотором отдалении от огромной и шумной привокзальной площади.

Пока добрался до вокзала промок до костей. В одном из закоулков первого этажа нашёл справочное бюро, куда стояла большая очередь. Мой внешний вид и костыли вызвали жалость стоявшей впереди меня старушки, которая упростила очередь пропустить меня к окошку.

Молодая девушка в железнодорожной форме отнеслась ко мне участливо и, хотя информация об адресах организаций и учреждений города не входила в круг её обязанностей, на мой вопрос о месте нахождения института профессора Хмельницкого, где располагался Сёмин госпиталь, дала чёткий ответ. Она даже нарисовала схему, из которой было ясно, что эвакогоспиталь находится на окраине города, по улице Чернышевского, 83 и ехать туда нужно около часа одиннадцатым номером трамвая. Девушка предложила переждать дождь в комнате отдыха вокзала, куда взялась позвонить, так как там всегда не было свободных мест, но я вежливо отказался от её помощи и, поблагодарив за внимание, отправился на трамвайную остановку. Мне не терпелось скорее разыскать госпиталь и увидеть Сёму.

На конечной остановке трамвая собралась большая толпа разношерстной публики среди которой было много солдат и студентов. Судя по их промокшей одежде, из которой ручьями стекала вода, можно было догадаться, что трамваи ходят не часто.

Когда, наконец, подошёл трамвай, начался штурм всех его дверей, который напомнил мне случай из далёкого детства, когда мои братья внесли меня в окошко восемнадцатого номера трамвая в Одессе, который доставил меня на Большой Фонтан к детскому санаторию.

На сей раз толпа внесла меня, через переднюю площадку, в вагон, где мне уступили место на передней скамейке. Трамвай двигался медленно, так как подолгу стоял на остановках в ожидании высадки

пассажиров, которые с трудом пробирались к выходу из переполненного вагона. Только когда выбрались из центра и оказались на городской окраине, стало свободней и, присевшая около меня старушка, подробно объяснила где сойти и как пройти к госпиталю.

Дождь окончился и небо очистилось от туч. На скамейках скверика с фонтаном, примыкающего к фасаду большого трёхэтажного здания госпиталя, сидели больные в полосатых халатах, наслаждаясь теплом и солнцем.

Когда я спросил, как мне найти Сёму, несколько человек взялись помочь и, несмотря на то, что время было не приёмным и никого в тот час к больным не пропускали, им удалось уговорить вахтёра сделать для меня исключение.

Сёма лежал у окна четырёхместной палаты и как будто спал. Лицо его было бледным и весь он был мало похож на того сильного, большого и красивого главу нашего семейства, в ком мы с раннего детства привыкли видеть свою опору и защиту от всех житейских бед и невзгод. Сейчас он выглядел слабым и беспомощным.

Когда я приблизился к нему, он раскрыл глаза и долго смотрел в упор, сомневаясь, наверное, наяву ли он видит меня у своей кровати. Чтобы развеять сомнения, он привлёк меня к себе и долго не выпускал из своих объятий. По его бледным щекам катились слёзы. Таким я Сёму видел впервые. Мы оба застыли в объятиях, сидя на госпитальной кровати. К горлу подкатил комок, мешающий не только говорить, но даже дышать.

Больные с соседних коек, растроганные картиной нашей встречи, покинули палату, надолго оставив нас одних.

Первым заговорил Сёма. Он не скрывал своей радости от неожиданной встречи и успокаивал меня тем, что самое страшное для нас уже позади. Главное, что мы остались живы и теперь, когда война идёт к концу и победа очевидна, нам нужно быть вместе и всей семьёй скорее возвращаться домой. Он мечтал скорее увидеть Шуру, Полечку и Андрюшу, и я пообещал ему, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы ускорить его встречу с ними.

В палату зашла медсестра, пожилая женщина низкого роста с улыбающимся приветливым лицом и красивой причёской седых волос, аккуратно уложенных волнами.

-Дора Абрамовна Цытрина, старшая медсестра и друг Сёмы, - представилась она.

Поговорили о положении на фронте, погоде, ценах на рынке и Дора Абрамовна предложила отметить долгожданную встречу братьев бутылкой вина и обедом прямо здесь, в палате. Она пожаловалась, что Сёма совсем плохо ест и просила меня стать её помощником в его перевоспитании.

Вскоре она вернулась с подносом на котором были тарелки со шницелями с жаренной картошкой над которыми дымился густой пар, белый хлеб и тонкие стаканы с прозрачным вишнёвым компотом. Из под халата Дора Абрамовна вынула бутылку «кагора», разлила всем и подняла тост за встречу и быстрое выздоровление Сёмы.

Все выпили и стали дружно закусывать. Дора Абрамовна похвалила Сёму за аппетит, отметив при этом, что давно не замечала за ним желания вкусно поесть. Чтобы ему не приносили его не радовало, и он от всего отказывался.

После обеда мы остались с Сёмой вдвоём в палате и долго рассказывали друг другу о прожитом и пережитом за прошедшие три года войны. К вечеру зашла Дора Абрамовна и пригласила меня к себе на всё время моего пребывания в Харькове. Я не стал отказываться, так как устроиться в гостиницу тогда было просто невозможно, а если бы даже мне в этом помогло госпитальное начальство, то у меня на это не было денег.

По дороге зашли на рынок и купили много фруктов и овощей, которые летом были в изобилии и стоили довольно дёшево.

Дора Абрамовна жила недалеко от госпиталя в небольшой двухкомнатной квартире. До войны они здесь жили с мужем, который работал инженером на тракторном заводе и сыном Мишей, красивым и очень способным парнем, мечтавшим стать музыкантом. Он играл на баяне и сам сочинял песни. Вместо музыкального училища он в 1941-ом году был направлен в танковое училище и погиб на Курской Дуге летом 1943-го года. Муж её, Григорий Яковлевич, сражался на Сталинградском фронте и погиб в 1942-ом году в звании капитана.

Дора Абрамовна успела эвакуироваться из Харькова и вернулась сюда, как только город был освобождён от немецкой оккупации. Квартиру ей вернули и она устроилась по специальности медсестрой в госпиталь.

До поздней ночи слушал я её рассказ о довоенной семейной жизни, о несбывшихся мечтах и планах, о милых её сердцу муже Грише и сыне Мише. Она показывала фотографии, вклеенные в альбом в хронологическом порядке с момента образования семьи и до самой войны. На последних страницах были фотографии мужа и сына, присланные ими с фронта и извещения об их гибели в борьбе за свободу и независимость Родины.

Дора Абрамовна восхищалась мужеством Сёмы, который, зная о тяжести своего ранения, остаётся оптимистом и не перестаёт верить в своё скорое выздоровление. Она говорила, что он много рассказывал ей о нашей семье и что теперь только мечтает о встрече с Шурой и Полечкой, которых очень любит. Нужно, как можно скорее устроить эту встречу. Может быть это поможет лечению или, по крайней мере, продлит его жизнь.

Тяжёлый осадок остался у меня от этих рассказов и я долго не мог уснуть. Утром мы вместе отправились в госпиталь. Дора Абрамовна на работу, а я к Сёме. Его внешний вид и самочувствие были на много лучше вчерашнего. После душа, чисто выбритый, в свежем белье, он теперь был больше похож на того Сёму, каким он был в доброе мирное время.

Он ждал моего прихода и сидел за столом, попивая чай с лимоном. Как только я вошел, Сёма предложил мне следовать за ним и мы медленно спустились на первый этаж, где размещалась администрация госпиталя. Он постучал в дверь военкома и попросил разрешения войти. Хозяин кабинета, немолодой уже человек в чине подполковника, вышел навстречу и поздоровался за руку с каждым. Сёма представил меня, как своего брата, инвалида Отечественной войны, студента четвёртого курса нефтяного института, приехавшего навестить его впервые за время войны. Он также поведал комиссару о моём добровольном уходе в Армию в неполные семнадцать лет и тяжелых ранениях на фронте, после которых меня чудом вернули к жизни.

Военком задал мне несколько вопросов относительно моего участия в боях, теперешней моей жизни и спросил чем он мог бы нам помочь. Сёма попросил разрешить ему отдать мне его обмундирование, которое ему не скоро понадобится, а мне бы как раз пригодилось, так как я совсем оборвался, а с деньгами у бедного студента туго.

Меня удивила и смутила нескромная просьба брата, но комиссар без лишних слов написал записку на склад вещевого довольствия, вежливо попрощался с нами и пожелал мне счастливого пути, успехов в учёбе и жизни. Мы с Сёмой от души поблагодарили комиссара и отправились на склад, где мне выдали полный комплект офицерского обмундирования.

Дора Абрамовна принесла горячий завтрак на двоих, но Сёма почти ничего не ел и выглядел опять очень бледным и уставшим. Наверное, такие нагрузки были ему уже не под силу. Он улёгся в кровать с чувством исполненного долга, будто проделал большую физическую работу.

На столе стояло большое блюдо с яблоками, грушами и сливами, которые мы вчера купили на базаре и Сёма угостил фруктами всех соседей по палате. Они были вкусными, но и к ним он не проявил большого интереса.

Отдохнув немного, Сёма велел мне вынуть его вещмешок из пристенного шкафа и показал всё его содержимое. Там были фотографии наших родителей, всей нашей семьи, Шуры, Зюни, Полечки, много любительских снимков его фронтовых друзей, вырезки из газет о боевых действиях его дивизии, медаль «За боевые заслуги» и орден Боевого Красного Знамени. Были там многочисленные ответы на его запросы по розыску всех наших родственников. Хранил он также все мои письма. Сёма просил забрать всё это с собой и сохранить до его возвращения.

Я побоялся, что это может отрицательно сказаться на его моральном состоянии и отказался забрать его личные вещи.

В тот день я изложил ему свой план поездки в Немиров для розыска Шуры, Полечки и Андрея и организации их приезда в Харьков. Он одобрил мои намерения, обещал подготовить и подписать у военкома письма об оказании мне помощи в билетах, и дал мне около двух тысяч рублей на расходы, связанные с поездкой.

На следующий день я поехал на вокзал для выяснения возможности приобретения билета на Винницу. Единственное, что удалось узнать, это то, что два раза в неделю туда отправляются так называемые «пятьсот весёлые» поезда, состоящие из товарных вагонов без нар, в которых домой возвращаются эвакуированные в 1941-ом году из прифронтовых городов семьи евреев и партийной элиты. «Пятьсот весёлыми» их прозвали потому, что их номера начинались цифрой 500, а пассажиры испытывали радость возвращения домой после долгих скитаний в эвакуации.

Билетов на ближайшие несколько дней уже не было и я решил ехать испытанным способом в тамбуре или на крыше вагона.

Вечером того же дня я попрощался с Сёмой и утром отправился на вокзал.

В Немирове, как мне показалось, мало что изменилось с того памятного дня 9-го июля 1941-го года, когда я с колонной допризывников покидал это местечко за две недели до прихода туда немцев. Я прошёл с вокзала по знакомым улицам в направлении Шурино дома и почти не замечал следов войны и трёхлетней оккупации. Дома, разрушенные бомбёжкой или обстрелом города, были либо снесены и на их месте появились аккуратные скверики или цветочные клумбы, либо были отремонтированы и восстановлены в

прежнем виде. Городок внешне мало пострадал от войны и выглядел таким же уютным, зелёным и красивым, как и прежде. Но так оказалось только с первого взгляда.

Мой внешний вид, офицерское обмундирование, не соответствующее по размеру, росту и фигуре, изуродованное шрамами лицо с повязкой на левом глазу и негнувшаяся в колене нога привлекали внимание прохожих. Ещё не доходя до дома Шурыных родственников меня остановила молодая девушка и спросила не нуждаюсь ли я в какой-нибудь помощи. Я ответил, что разыскиваю свою сестру Полечку, которую оставил здесь в 1941-м году.

-Вас не Нюничкой зовут? - Спросила девушка. Когда я согласно кивнул головой, она взяла меня под руку и велела следовать за ней.

По дороге она представилась: Ирина, и сказала, что хорошо знает Полечку, и что она больше не живет у Шуры, которая выгнала её ещё до прихода немцев. Все эти годы Полечку прятали тётя Анюта и Тётя Люба, и с Шурой она больше ничего общего не имеет.

Мы шли по хорошо знакомой мне улице и, когда уже подходили к домику тётя Анюты, Ирина вырвалась вперёд и вбежала во двор с криком:

-Нюничка приехал! Нюничка приехал!

На её крик выбежала Полечка, которая смеясь и рыдая повисла мне на шее, осыпав поцелуями и измочив всё моё лицо слезами.

Оказавшаяся рядом тётя Анюта расцеловала меня и велела идти в хату. Женщины быстро накрыли на стол, налили каждому по полному гранёному стакану сахарного самогона и подняли тост за встречу. Из разнообразных закусок запомнилась яичница с салом, поданная в огромной сковородке, которой с трудом нашлось место на столе, заполненном свежими овощами, различными соленьями и квашениями.

За обедом я узнал полную ужасов историю спасения Полечки от, казалось неминуемой, гибели. Говорила больше других Ирина, которая не только хорошо знала подробности этой почти неправдоподобной истории, но и сама принимала в ней деятельное участие.

Из Ириного рассказа я понял, что, когда 22-го июля 1941-го года в Немиров вошли немцы и Шура потребовала от Полечки немедленно уйти из города, тётя Анюта устроила ей убежище в своём погребке и велела не покидать его без её разрешения. Соблюдались строгие меры предосторожности и ничто не вызывало подозрения соседей и посторонних лиц. Когда же появились первые объявления немецкой администрации о регистрации оставшихся в местечке евреев и ответственности граждан за их укрывательство, Шура запретила тётя Анюте прятать у себя Полечку и настаивала на отправке её обратно в Красилов, откуда её привезли в первые дни войны.

Тётя Анюта убеждала Шуру, что этого делать нельзя, что в Красилове её ждёт гибель вместе с родственниками. Здесь же никто не знает, что она еврейка. Ни по внешнему виду, ни по акценту она ничем не отличается от её украинских сверстниц. Она брала всю ответственность на себя и просила не вмешиваться, но Шура настаивала на своём, угрожая в противном случае заявить в полицию. В тот же день она отправила Полечку на вокзал, собрав небольшой узелок с продуктами на дорогу.

В дождливый осенний вечер Полечка отправилась на вокзал, но, как оказалось, поезда из Немирова уже не шли, пути были разрушены бомбёжкой и она, в полном отчаянии, была вынуждена примкнуть к группе евреев, возвращавшихся под конвоем полицейских в гетто, после выполнения каких-то работ на стройке. Под холодным дождём она промокла до костей и тяжело заболела. У неё была высокая температура и всё её тело покрылось чирьями. Две недели лечили её в гетто еврейские женщины и еле возвратили к жизни.

Подросток Лёва, убежавший из гетто, чтобы добыть что-нибудь съестное, рассказал тётя Анюте о нахождении там Полечки и её тяжелой болезни. С помощью подкупленного полицейского и мальчика Лёвы удалось вывести Полечку из гетто и спрятать у Любы Роик - родственницы тётя Анюты, где она и находилась до освобождения Немирова от немцев. Тётя Анюта и Ирина Прысич помогали Любе продуктами, лекарствами и всем необходимым для содержания и лечения Полечки, укрывая её от полицейских и гестапо. Её убежище сохранялось в тайне от соседей, всех посторонних и даже родственников подобных Шуры.

Надо же такому случиться, что Женя Ладуба - племянник тётя Анюты, многократно спасал меня от неминуемой смерти на фронте, а его тётя - Анна Ладуба спасла мою малолетнюю сестрёнку Полечку от такой же участи в тылу.

Слушая эту страшную историю, я испытывал чувства глубокой признательности и восхищения мужеством и благородством этих простых и добрых украинских женщин, рисковавших своей жизнью ради спасения почти чужой для них еврейской девочки. Забегая вперёд скажу, что отдел "Праведники Мира" музея Яд-Вашем Иерусалима, после тщательного расследования, представил Анну Ладубу (посмертно) и Любовь Роик к присвоению почётного звания "Праведник Мира".

Я был до глубины души возмущен предательством и жестокостью жены нашего брата по отношению к незащитному ребёнку, которому она обещала материнскую любовь и заботу.

Тётя Анюта рассказала также о служении Шуры немцам, о её романах с немецкими офицерами, которые были её квартирантами и с которыми она гуляла и пьянствовала.

После освобождения Немирова от немецкой оккупации Шуру не принимали ни на какую работу и на неё было заведено уголовное дело за пособничество немцам. Лишенная средств к существованию, она жила в бедности и часто голодала. Сын её Андрюша уехал в Винницу, где учился в ремесленном училище и редко приезжал к ней.

Я не испытывал никакой жалости к Шуре. Более того, меня одолевали чувства мести за страдания, которые она причинила Полечке и подлую измену Сёме, который так искренне её любил и так был верен ей. Я чувствовал потребность учинить над ней самосуд, или, по крайней мере, потребовать от органов местной власти привлечь её к ответственности по законам военного времени.

Только любовь к Сёме и желание выполнить его, возможно предсмертную просьбу о встрече с женой, сдерживали чувство мести и ненависть к ней. Я не только не содействовал справедливому возмездию за содеянное Шурой зло, а наоборот обратился к Немировскому райвоенкому с просьбой помочь ей, как жене военнослужащего, и оказать содействие в приобретении билета для её поездки в Харьков к тяжело раненному мужу. Я передал ему также письмо военкома госпиталя, в котором излагались эти же просьбы.

Райвоенком высказал искреннее удивление моей заботой о Шуре, заявил, что она заслуживает сурового наказания за сотрудничество с фашистами, но учитывая тяжёлое ранение её мужа, офицера Советской Армии, пообещал временно воздержаться от репрессивных действий и подписал ходатайство начальнику станции Винница о помощи с билетами.

Конечно, поездки в Харьков больше заслуживала Полечка, которая очень соскучилась за любимым братом, и для которой эта возможность встречи с ним могла оказаться последней. Однако, достать два билета было невозможно. Начальник станции Винница на письме военкома начертил резолюцию о выдаче только одного билета из его брони, а касса выдала плацкарту на поезд, отправляющийся через неделю, так как на другие поезда свободных мест не было. Такое тогда положение было с билетами на железной дороге.

Я предупредил Шуру о дне её отъезда, а сам провёл оставшиеся дни с Полечкой.

64

Пригородный поезд доставил нас в Винницу. Шура везла с собой неподъёмный чемодан с салом, которое намеревалась продать на базаре, чтобы заработать побольше денег за счёт разницы в ценах в Немирове и Харькове. Пришлось нанимать носильщика, который на тележке подвёз чемодан к поезду и погрузил его в плацкартный вагон. Мне же довелось ехать в тамбуре, без билета.

В Харькове нанимали не только носильщика, но и такси, которым добрались до базара, где Шура очень выгодно распродала привезенное из Немирова сало.

Только к вечеру, когда время посещения больных закончилось, мы прибыли в госпиталь. С помощью Доры Абрамовны, которая задержалась на работе, чтобы помочь нам, удалось уговорить вахтёра пустить нас в палату к Сёме. Он теперь лежал в отдельной небольшой комнате, в самом углу коридора, на втором этаже. Трудно сказать почему его поместили в отдельную палату. То ли это было сделано с учётом ожидаемого приезда жены, или в связи с ухудшением состояния его здоровья. Возможно, что при этом учитывались обе эти причины.

Со времени моего отъезда Сёма ещё больше исхудал и побледнел. Когда на пороге появилась Шура он весь преобразился, на губах появилась довольная улыбка и лицо его как будто помолодело и покрылось румянцем. Он долго держал Шуру в своих объятиях, в глазах его искрились слёзы.

Вскоре в палату зашла Дора Абрамовна и принесла ужин на двоих. Меня она пригласила на ужин к себе домой, пообещав прийти за Шурой через два часа.

За ужином я рассказал Доре Абрамовне историю спасения Полечки, скрыв от неё подробности Шурино отношения к ней, её измены Сёме и служения немцам. Всё это я твёрдо решил скрыть и от Сёмы, опасаясь отрицательного воздействия такой информации на его здоровье и психологический настрой.

Дора Абрамовна очень тепло относилась к Шуре и создала для неё все условия для беззаботной жизни. Она велела ей ни о чём не беспокоиться и не ограничивала какими-то сроками время её пребывания в Харькове.

Однако, через три дня Шура заявила, что ей нужно возвращаться домой, так как к ней якобы должен приехать Андрей. Сёму, конечно, огорчила поспешность Шуры, как и холодок её отношения к нему, который она не смогла скрыть, и который отметила даже Дора Абрамовна. Внешне же нельзя было заметить его недовольство поведением жены, и мне показалось, что он признаёт причину срочного её отъезда уважительной и во всём с ней согласен. Сёма оформил на неё аттестат на основную часть своего денежного довольствия, попросил меня проводить Шуру до Винницы, а самому поехать в Красилов для выяснения возможности возвращения туда нашей семьи. Он вручил мне письмо военкома госпиталя на имя председателя Красиловского райисполкома об оказании нашей семье помощи в обеспечении жильём.

Трудным было наше прощание с Сёмой на сей раз. Он вёл себя мужественно, обещал выписаться из госпиталя не позднее ноябрьских праздников и возвратиться в Красилов, но чувствовалось, что сам он в этом не уверен и скрывает от нас свои сомнения.

Дора Абрамовна устроила у постели больного прощальный ужин и открыла бутылку вина. Она подняла тост за выздоровление Сёмы и скорейшее возвращение семьи в родные места.

Сёма поддержал компанию, выпил вино и смотрел на Шуру такими же влюблёнными глазами, как и раньше, в далёкое довоенное время. Она же, хоть и была всю жизнь артисткой, и по её лицу редко когда можно было узнать её настоящие мысли и чувства, не могла скрыть своего холодного безразличия к мужу и его страданиям. Она всё поглядывала на часы, стремясь ускорить прощальную трапезу.

Прощаясь с Сёмой, я пообещал ему выполнить все его просьбы и поручения.

Он обнял и поцеловал Шуру, а по его щекам катились слёзы. Наверное, Сёма понимал, что это конец его любви, а может быть и жизни.

65

В Виннице я посадил Шуру на пригородный поезд до Немирова и в тот же день выехал в Красилов, город моего детства и юности, родину всей семьи Гимельфарбов. Память вернула меня в родительский дом на шоссе на улице, что возле польского костёла, почты и украинской школы, откуда мы с Сёмой и всей нашей семьёй ушли в тот незабываемый июньский вечер за день до прихода немцев. Вспомнились наши милые родители, не вынесшие муки голода, искусственно созданного сталинской политикой коллективизации сельского хозяйства, многочисленные мои славные и добрые родственники, погибшие в годы оккупации от рук озверелых нацистов и украинских националистов, школьные друзья и учителя, оставшиеся в оккупированном немцами местечке и расстрелянные фашистами вместе с тысячами других узников Красиловского гетто.

За этими грустными воспоминаниями не заметил как поезд подошел к Красилову. Вот уже знакомые очертания здания вокзала. Каким оно теперь кажется маленьким по сравнению с вокзалами Лозовой, Ворошиловграда, Сталинграда, Минеральных Вод, Кисловодска, Баку, Прохладной, Ташкента, Грозного и Харькова, через которые пришлось пройти в годы войны.

Несмотря на то, что война теперь шла далеко за границами страны, Красилов и теперь был самым близким к фронту городом, в котором пришлось побывать в последнее время. На перроне встретился военный патруль и лейтенант с красной повязкой на рукаве потребовал у меня документы. Мой Красиловский паспорт произвёл на него впечатление, он взял под козырёк и пожелал мне успехов на Родине.

До местечка было километра три и я с лёгким рюкзаком на плечах пошел пешком. Обогнала почтовая бричка и молодой парень, управлявший разгоряченной лошадей, предложил подвезти. По дороге он рассказал о трагической гибели Красиловских евреев в 1941-42-ом годах. Из оставшихся в местечке жителей еврейской национальности в живых не осталось никого. Не пожалели ни детей, ни стариков.

Недавно вернулось несколько семей, которые успели выехать в первую неделю войны. На вокзальной улице, подъезжая к центру местечка, мой извозчик показал на дом Зильбершмитов, где, по его словам, недавно поселились бывшие хозяева, вернувшиеся из эвакуации.

Я попросил остановить лошадь, поблагодарил парня за услугу и полную ужаса информацию и отправился к знакомому дому. Сюда мы с Сёмой в конце июня сорок первого приходили прощаться с Кларой Кучер и семьёй Зильбершмитов, отправлявшихся в тыл на машине Красиловского Госбанка в сопровождении милиционера, охранявшего его денежную наличность.

Дверь открыл Зельман Зильбершмит - отец Клары, который, к моему удивлению, узнал меня, несмотря на существенные перемены в моём внешнем виде.

Зильбершмиты возвратились недавно из Башкирии, где они находились все эти годы и работали в колхозе. У них было четверо детей. Кроме Клары, которая дружила с Сёмой, были две сестры - Поля и Бетя, которых я хорошо знал и брат, которого я смутно помнил. Дочери вернулись, а сын погиб на фронте и его портрет в черной рамке висел теперь в спальне родителей.

Им, с помощью прокурора, удалось быстро освободить свой дом, в котором жила семья полиция, на которого завели уголовное дело. Теперь они продолжают жить здесь, как и до войны, только уже без сына.

Зельман, правда, уже не работает, находясь на пенсии, и помогает смотреть за внуками. Его жена, которой уже за шестьдесят, как и раньше, занята домашним хозяйством и детьми, а Клара вновь работает в госбанке, где пользуется большим уважением, как опытный специалист.

Было воскресенье и вся семья была в сборе. Поставили самовар и мы долго сидели за столом, рассказывая друг другу об ужасах военного лихолетья. Особенно подробно они заставили меня рассказать о Полечке и Сёме. Мне даже показалось, что в том интересе и внимании с которым Клара слушала о ранении и болезни Сёмы было заметно не простое сострадание и сочувствие, а какие-то другие более глубокие чувства к нему, которые она раньше скрывала.

В моём рассказе о спасении Полечки совсем чужими украинскими женщинами я не скрыл факты подлого предательства Шуры и её сотрудничества с немцами. Всё это вызвало гнев и возмущение Зильбершмитов.

Клара проводила меня к городскому начальству и помогла получить распоряжение прокурора об освобождении двух комнат в нашем доме для предстоящего приезда нашей семьи в Красилов. Прокурор заверил, что как только мы приедем, он решит вопрос о полном освобождении нашего дома, в котором жили четыре семьи с малыми детьми.

Мы побывали на месте расстрела узников гетто и захоронения их останков, возложили цветы к временному деревянному обелиску. Клара знала многое о трагической гибели Красиловских евреев и подолгу обо всём рассказывала мне.

В свободное время я ходил по улицам местечка, побывал в бывшей еврейской семилетке, украинской неполно-средней и средней школах, где учился до войны и где прошли школьное детство и довоенная юность. Вечером заглянул в парк. Здесь теперь не слышно было музыки и песен, а в аллеях и на танцплощадке было темно и безлюдно. Молодёжи в местечке было совсем мало. Еврейское население, что составляло почти половину жителей Красилова, уничтожено фашистами и их пособниками. Мужчины были ещё на фронте и местечко казалось вымершим. Только в базарные дни на рынке собиралось много людей из ближайших деревень, которые привозили горы фруктов и овощей, птицу, различные молочные продукты. Казалось, что покупателей гораздо меньше, чем продавцов. Наверное, это на самом деле было так, и в базарный день всё можно было купить намного дешевле, чем в другое время в магазинах, ларьках или из рук спекулянтов.

Часто ходил я вокруг нашего дома, где теперь жили несколько семей местных поляков, одну из которых нужно будет выселять раньше других, как только мы вернёмся в Красилов. Я не заходил в дом, но в памяти моей чётко восстанавливались интерьеры и расстановка недорогой старинной мебели, принадлежащей моим прауродителям. Очень хотелось заглянуть хоть на миг внутрь, где всё так знакомо и дорого, где жили и безвременно скончались родители, где счастливые и радостные годы младенчества постепенно вытеснялись годами горя и страданий, откуда бежали перед приходом немцев, оставив на верную гибель престарелых бабушек, несчастную тётю Хавале и пятилетнего вундеркинда Лёвочку.

Клара Кучер, часто сопровождавшая меня в прогулках по родным местам, советовала не беспокоить пока жильцов. Так, считала она, будет лучше для сохранности имущества и самого дома.

Большинство еврейских домов в Красилове уцелели. Они занимали центральную часть местечка и выглядели внешне добротнее, чем многие дома на окраинах, принадлежавшие неевреям. Теперь владельцы домов с окраин местечка заняли дома в центре, а их бывшие хозяева покоились на окраине, на том месте, где их, узников гетто, расстреляли.

Только несколько еврейских домов, которые можно было сосчитать на пальцах одной руки, дождались своих хозяев, которые вели теперь нелёгкую борьбу за возвращение им недвижимости.

Я несколько раз просил Клару Кучер проводить меня на кладбище, где похоронены мои родители, но она под разными предлогами откладывала этот визит, надеясь, вероятно, что я как-нибудь обойдусь без этого. Когда в один из выходных дней, перед моим отъездом из Красилова, я вновь настоятельно попросил её об этом, она, наконец, согласилась и мы оказались на месте, где до войны находилось еврейское кладбище.

Я часто бывал здесь раньше и хорошо помнил расположение и пути прохода к могилам отца и матери. Мы часто приходили сюда с Сёмой, а в дни их смерти, второго и девятого апреля наводили здесь образцовый порядок, читали кадыш и сверяли свою жизнь с тем, что они завещали нам.

Я догадывался почему Клара отказывается вести меня на кладбище. После уничтожения всего еврейского населения местечка, там никого больше не хоронили, за ним некому было ухаживать и ни о каком порядке не могло быть и речи, но то что я увидел превзошло все ожидания. Это было уже не кладбище, а пустырь, заросший бурьяном с множеством рытвин и ям на месте разрушенных и вывезенных памятников. Кое-где памятники вывезти не успели или не смогли и они беспорядочно торчали из-под высокого бурьяна.

Я с трудом нашёл место захоронения своих родителей. Комок подкатил к горлу и было трудно дышать. Остаться здесь больше не было сил и мы молча покинули это святое в прошлом место, где покоились наши предки с незапамятных времён.

В тот-же день я решил уехать из Красилова. На прощальном обеде, устроенном Зильбершмитами, было много тёплых слов и обещаний помощи после нашего возвращения на Родину. На долгие годы сохранил я в памяти своей заботу, тепло и внимание этих добрых и отзывчивых людей ко мне и нашей семье. Я не сомневался теперь в том, что сюда я обязательно вернусь.

По пути в Грозный остановился в Харькове. За прошедшие со времени моего отъезда две недели Сёма не изменился к лучшему. Чувствовалось, что усилия медицины и защитные силы организма не в силах побороть коварную болезнь. Он тяжело дышал и почти не подымался с постели. Всё больших усилий стоило заставить его что-нибудь поесть.

Я пересмотрел свои планы на отъезд и пробыл у Сёмы около месяца. Ежедневно ходил на рынок и покупал ему самые вкусные фрукты и овощи. Главврач госпиталя дал указание готовить Сёме любые блюда,

какие он пожелает. Для аппетита ему давали вино, всевозможные закуски и специи. Всё свободное от рынка и магазинов время проводил я у постели больного, читал ему газеты и журналы, рассказывал о Красилове и трагической гибели всего еврейского населения, включая и всех без исключения наших близких родственников.

Сёма внимательно слушал мои рассказы. Он детально расспрашивал о подробностях расстрела евреев и отношении к этому местных жителей. Я не стал пересказывать ему всё, о чём говорила мне Клара и другие жители Красилова, которые были свидетелями издевательств украинских и польских полицаев над евреями, о грабежах еврейских домов и глумлении над могилами на кладбище, об участии украинских националистов и антисемитов в массовых расстрелах узников гетто. Я считал, что страшные подробности могут отразиться на его здоровье, но полностью скрыть это от брата не мог. Я сказал ему, что мы глубоко заблуждались, когда верили советской пропаганде о нерушимой дружбе народов, о горячем патриотизме всех советских людей и их преданности социалистической Родине. Далеко не все наши люди обладали такими качествами и многие из тех, что остались на оккупированной немцами территории, открыто способствовали нацистам и непосредственно участвовали в уничтожении еврейского населения.

Конечно, я и на сей раз не сказал ему о предательстве Шуры по отношению к Полечке, о её служении немцам и измене ему с немецкими офицерами. Я скрыл от него эту ужасную быль, считая, что это нанесёт ему смертельную травму и ускорит фатальный исход его болезни.

Часто, возвращаясь мыслями к тем дням, я теперь всё более сожалею, что Сёма так до конца дней своих не узнал всю правду, но тогда мне казалось, что я не имею морального права поведать ему об этом.

Несколько раз Сёма перебирал при мне содержимое своего вещмешка, как бы обучая меня обращению с различными предметами, которые он хранил, как самые дорогие реликвии. Среди них были трофейные ручные часы швейцарского производства, немецкий складной ножик со множеством приспособлений различного назначения, правительственные награды, которых он был удостоен за ратные подвиги в боях, удостоверение личности офицера и другие ценные документы и публикации.

С интересом прочёл корреспонденции из фронтовых газет об участии артиллерийской батареи, которой командовал Сёма, в сражениях у стен Сталинграда, многих боевых операциях с его участием и обратил внимание на то, что ни разу в них не названа Сёмина фамилия. Его называли старшим лейтенантом, командиром батареи, просто Семёном, наделяя многими положительными эпитетами, но во всех случаях старались обходиться без фамилии. Не принято тогда было восхвалять подвиги солдат и офицеров с чисто еврейскими фамилиями.

Мы рассматривали вместе сохранившиеся у Сёмы довоенные фотографии родителей и всей нашей семьи. Больше всего оказалось фотографий Шуры, которые он рассматривал дольше других и расспрашивал об известных мне подробностях её жизни в годы оккупации Немирова. Я старался, как только мог, уходить от ответов на эти вопросы, убеждая его в том, что об этом ему уже всё известно от меня и из рассказов его жены.

Из фотографий узнал многое о его фронтовых друзьях, с которыми он не терял связь и до сих пор обменивался письмами.

Сёма подробно расспрашивал меня о студенческой жизни и планах на будущее. Его радовало моё активное участие в общественной жизни института и успехи в учёбе, но он настоятельно советовал поменять специальность с учётом состояния здоровья. Брат отдал мне все свои сбережения, которые оказались небольшими в связи с уменьшением денежного довольствия на сумму отданного Шуре аттестата. Их еле хватало для моего проживания в Харькове и покупки фруктов и овощей на рынке.

Я всё откладывал свой отъезд в Грозный из-за тяжелого состояния здоровья Сёмы. После трёхнедельного моего пребывания в Харькове он заявил, что чувствует себя значительно лучше и что в моём уходе за ним уже нет необходимости.

Дора Абрамовна подтвердила, что Сёме действительно стало лучше, советовала возвращаться в институт и пообещала держать меня в курсе дела письмами. Я и сам заметил, что цвет его лица приобрёл чуть розовый оттенок, он стал лучше есть и даже мог уже выходить на улицу чтобы подышать свежим воздухом.

Мой отъезд диктовался также экономическими соображениями. Столь долгое пребывание в Харькове стоило немалых средств, которые не вписывались ни в мой, ни в Сёмин бюджет и, когда Дора Абрамовна в очередной раз дала мне добро на отъезд, я, скрепя сердце, стал собираться в дорогу.

Была середина августа, когда я пришёл, как оказалось в последний раз, попрощаться с Сёмой. Я застал его в кровати после принятого им душа, чисто выбритым, в свежем, тщательно отутюженном белье. Он ждал меня и усадил возле себя на кровать.

Сёма просил не беспокоиться о нём, так как ему, якобы, уже намного лучше, велел больше уделять внимания учебе и готовиться к самостоятельной жизни. Он просил помочь Шуре, Андрею и Полечке перебраться в Красилов, куда и он собирался приехать весной. Говорил он спокойно и уверенно, но меня не покидала мысль, что это может быть последний с ним разговор. Я с трудом сдерживал слёзы, спазмы

сжимали горло и я не мог произнести ни единого слова. В знак согласия я только кивал головой, обещая выполнить его поручения и просьбы.

Когда время прощания подошло к концу и мне нужно было уже торопиться к вечернему поезду на Ростов, Сёма открыл прикроватную тумбочку и велел забрать подготовленный им вещмешок со всем тем, с чем он не расставался всю войну.

Я и на сей раз отказался выполнить эту его просьбу, считая, что это может отрицательно повлиять на его оптимистический настрой и пообещал приехать после первого семестра, чтобы сопроводить его из госпиталя домой.

Не раз потом я сожалел о том, что тогда не послушался Сёму и не забрал ценные семейные реликвии, лишив себя и Полечку драгоценных для нас предметов памяти о самом дорогом и любимом нами человеке.

В минуту прощания мы оба не сдержали слёз, но Сёма и на этот раз оказался сильнее и мужественнее меня и, улыбаясь, произнёс:

-Всего тебе доброго, Нюсик!

67

На четвёртом курсе было много спецпредметов, призванных готовить из нас специалистов-геологов. Кроме геологии и палеонтологии начался курс кристаллографии, геотектоники и ряда других дисциплин.

Следуя советам Сёмы, я твёрдо решил в следующем учебном году, когда уже непременно закончится война, перевестись в другой институт с учётом состояния своего здоровья. Больше всего мне хотелось поступить в какой-нибудь Одесский ВУЗ. Полюбился мне этот город у моря по рассказам Зюни и недолгому моему довоенному знакомству с ним.

Я надеялся после четвёртого курса уговорить Выдрину дать согласие на мой перевод, но несмотря на эти планы не изменил своего отношения к учёбе, в том числе и к предметам узкой геологической специализации.

Много времени отнимала общественная работа. Как секретарю комсомольской организации института приходилось участвовать в собраниях городских активов, в работе пленумов горкома комсомола, в заседаниях учёного Совета института.

Инна часто приглашала меня домой по выходным и праздничным дням, чтобы угостить обедом, который, наверное, специально для меня готовила с Надей. Когда я хвалил удивительно вкусные закуски и разнообразные горячие блюда, Инна относилась благодарные отзывы в адрес своей сестры, которая отличалась, по её словам, редкими способностями сочинять рецепты и вкусно готовить. Надя же утверждала, что Инна владеет не меньшим талантом поварского искусства, и в том, что обеды получаются вкусными больше её заслуг.

Трудно было в то голодное время не соблазниться очередным приглашением сестёр Крыликовых на воскресный или праздничный обед, но когда это стало повторяться каждое воскресенье, стал придумывать различные причины отказа. Я хорошо представлял себе, что стоило приготовление такого обеда, особенно если для него требовалось покупать на рынке мясо или рыбу. А без этих дорогих продуктов не обходился почти ни один из них. Мучила совесть, что ввожу сестёр в такие расходы, а сам я в то время участвовать в покупке продуктов или напитков был не в состоянии.

Инна понимала настоящие причины моих отказов от воскресных обедов в их доме и стала приносить еду к нам в общежитие. То винегрет или салат приготовит, то кашу рисовую или гречневую наварит, а то и кастрюлю украинского борща, что считался фирменным блюдом Крыликовых, принесёт. Всё это Инна готовила, конечно, на всех четырёх обитателей нашей комнаты, ибо хорошо знала, что здесь всё делится поровну.

Моим друзьям, особенно Лёне Шустеру и Рувке Фан-Юнгу, очень нравились эти блюда и они вообще были без ума от Инны.

Не могли они не нравиться и Лёве Хайкину после однообразных и безвкусных студенческих мамалыг, но его совесть не позволяла ему съедать то, что приносилось ради меня и стоило немалых средств, и он под разными предлогами уклонялся от участия в этих застольях. Может быть тому была и другая причина. Ему очень нравилась Инна и об этом догадывались не только я и мои друзья, но и предмет его любви, которая хорошо к нему относилась, но всем своим поведением подчёркивала, что чувства её принадлежат другому. Как бы там не было, но когда по вечерам приходила Инна с сумкой вкусных закусок, Лёва часто находил причину отказаться от участия в общем ужине и уходил на какие-то мероприятия или свидания.

Грызла и меня совесть, что ввожу Инну в такие расходы. Я поставил перед ней условие, что такие застолья возможны только по праздничным дням и что в расходах мы будем принимать равное участие. Она была вынуждена на словах с этим согласиться, а на деле всё равно находила разные поводы подкармливать нас за свой счёт.

Отношение и чувства Инны ко мне не вызывали ни у кого никаких сомнений, но она долго открыто мне в них не признавалась. Не делал этого и я из-за скромности, присущей всем Гимельфарбам, а главным образом в связи с нееврейским происхождением Инны.

После предательства и коварной измены Шуры, после открытого участия многих русских, украинских и других националистов в поголовном и безжалостном уничтожении всего еврейского населения на оккупированной немцами территории, в обстановке продолжающегося государственного антисемитизма и открытой дискриминации евреев со стороны местных и центральных органов власти, я твёрдо решил, что не должен повторять ошибки моего брата и что женой моей может стать только еврейская девушка.

К такому решению прийти было не просто, если учесть, что Сёма воспитывал нас на интернациональных принципах, что тому же учила нас школа, комсомол, партия и все средства советской пропаганды и агитации на протяжении всех сознательных лет моей жизни. Особенно трудно было придерживаться этого воззрения по отношению к Инне. Её открытая натура, искренне чистые и добрые чувства ко мне как бы абсолютно исключали всякую возможность проявления ею неприязни на национальной почве. А самая главная трудность состояла в том, что я больше не сомневался в своих чувствах к Инне, которая мне всё больше нравилась и без которой мне трудно было прожить хотя бы несколько дней. Я всячески откладывал открытое выяснение отношений с ней, не решаясь в то же время и оттолкнуть её от себя.

Как-то я поехал в составе студенческой делегации на несколько дней в технологический институт в город Орджоникидзе - столицу Северо-Осетинской автономной республики. Наши институты поддерживали тесные дружеские связи по учебной, общественной и спортивной работе. Тогда такие связи очень поощрялись партийными и комсомольскими организациями национальных республик. Они должны были демонстрировать нерушимую дружбу народов СССР.

Хозяева приняли нас с присущей народам Кавказа гостеприимностью. Нас поместили в лучшую гостиницу в центре города, ознакомили с опытом организации учебного процесса, культурно-массовой и спортивной работы, показали свой замечательный город у подножия кавказских гор, устроили несколько приёмов в гостиничном ресторане и на природе. Мы много интересного увидели за эти дни и получили большое удовольствие. По всему чувствовалось, что хозяева живут намного богаче нас и мы с ужасом думали о том, сумеем ли мы достойно ответить на такое гостеприимство при их ответном визите к нам.

Инна знала о предстоящей поездке заранее и перед отъездом сказала, что отправила мне письмо на главпочтамт "до востребования". Я посмеялся над ней и посоветовал лучше сказать всё, что ей хочется устно, на что она густо покраснела и ответила, что пока не может на это решиться. Я принял это за очередную шутку, которыми Инна нередко забавляла всю нашу компанию, но на главную почту города отправился в первый же день пребывания в Орджоникидзе.

Из окошка "До востребования" мне вручили увесистый пакет, который я тут же вскрыл и несколько раз прочёл. Это было признание в любви, которое Инна отправила за несколько дней до отъезда и на которое она долго не могла решиться в Грозном. Она писала, что не в силах больше скрывать свои чувства, которые переполнили её душу, заверяла, что подобное она испытывает впервые и не сомневается, что это не увлечение, а большая и чистая любовь на всю жизнь. Инна просила честно и прямо ответить разделяю ли я её чувства и в зависимости от этого строить наши дальнейшие отношения. В письме была её фотография с надписью:

"Жду мой милый, жду тебя
Каждый миг и час
Всей душой своей люблю,
Не смыкая глаз".

Письмо было на восьми страницах и написано от души. Было ясно, что оставлять наши отношения неясными дальше невозможно и что пришла пора ставить точку над i.

Мне было до боли жаль Инну, которой я вместо признательности и любви за её чистые девичьи чувства, душевную доброту и верность приносил одни страдания. В порыве эмоций, вызванных письмом, я был полон решимости немедленно признаться ей в своих чувствах, внести полную ясность в наши отношения и придать им естественную форму, присущую двум любящим молодым сердцам.

В радужных мечтах о предстоящем признании и вытекающих из него планах на нашу совместную жизнь прошло несколько дней. Однако по мере того, как приближался наш отъезд из Орджоникидзе, а следовательно и день встречи с Инной, моя решимость постепенно гасла. Я вновь и вновь возвращался к примеру Сёмы и тем страшным последствиям, к которым привёл его семейный союз с Шурой. В памяти опять вставали ужасы почти массового участия неевреев в преследованиях и гонениях над евреями в первые годы войны в оккупированных немцами бывших "братских" Республиках, и какая-то подсознательная сила возвращала меня к данному себе обещанию не допустить повторения Сёмино примера.

Противоборствующие мысли попеременно одолевали мной и уже не было той твёрдой решимости, возникшей в порыве первых эмоций, вызванных письмом Инны. Я представил себе, как восприняла бы моя

Полечка известие о моём решении жениться на нееврейке после всего, что произошло в нашей семье с приходом Шуры, и всё больше склонялся к тому, что не следует торопиться с принятием окончательного решения по такому жизненно важному вопросу. Уже подъезжая к Грозному решил написать письмо Сёме и попросить его совета.

Трудно было себе представить какое было бы отношение Сёмы к моему выбору, если бы он узнал всю правду о поведении Шуры и её отношении к Полечке.

68

Свой день рождения Инна решила отметить в узком семейном кругу. Кроме её старшей сестры Нади, которая заменяла ей рано ушедших родителей, за праздничным столом был только я и мне пришлось произнести первый тост. Я к нему не готовился, но получился он довольно складным, душевным и искренним. Слова как бы сами рвались наружу из какого-то запасника, что долго сохранялся в тайне. В совокупности своей они выразили моё представление об Инне, как о прекрасном человеке и верном друге. Здесь были и замечательные черты характера, и красота, и нежность, и таланты, которыми её наделила природа и родители. Не было только публичного признания в моей любви к ней, но оно как бы напрашивалось само по себе из того каким предстал образ Инны из моих уст.

Надя была в восторге от тоста и заявила, что ей мало чего остаётся сказать об имениннице ибо уже всё сказано. Инна была смущена, но с её лица не сходила улыбка счастья и радости.

Нашлось что сказать и Наде. Инна родилась на пять лет позже своей сестры и Надя постоянно за ней ухаживала, оберегала и воспитывала. Так все годы и считала её маленькой, не заметив как она стала почти взрослой и как ей стало 19. Она говорила, что Инна ей дороже всех на свете и пожелала ей здоровья, любви и счастья.

Для Нади Инна была действительно единственным близким человеком после смерти родителей. Из-за своих строгих моральных принципов она в молодости долго не могла остановить свой выбор на ком-нибудь из своих сокурсников в институте, а когда, наконец, полюбила весёлого, красивого и способного парня с четвёртого курса, началась война, разлучившая их навсегда. Она хранила и по много раз перечитывала полные нежных чувств письма с фронта, которые приходили часто на протяжении первых двух лет войны и вдруг прервались с лета 1943-го года. Она всё верила, что её Серёжа вернётся и продолжала его ждать. Надя очень тепло относилась к Инне и была ей по-матерински предана.

Очень хорошо мне было в компании двух сестёр Крыликовых в день рождения Инны. Мы слушали музыку, пели. Я играл на мандолине, а Надя на гитаре. Не заметил как пробило 12, и заторопился домой. Сёстры наперебой стали уговаривать меня не уходить, так как трамваи в это время ходят редко, а в городе много случаев хулиганства и ограблений в ночное время. Как я не убеждал их, что нет оснований для беспокойства, что в крайнем случае я и пешком дойду до общежития, они всё же настояли, чтобы я переночевал в свободной гостевой комнате.

Надя подала приготовленный ею торт с поздравительной надписью и мы могли ещё раз убедиться в кулинарных способностях хозяйки. За тортом и чаем посидели ещё часок, и когда было уже далеко за полночь, Надя, сославшись на усталость, попрощалась и оставила нас одних.

Впервые мы с Инной были одни ночью в интимной домашней обстановке и нам было хорошо, как бывает двум любящим друг друга молодым людям.

Хоть и длинные были ночи в октябре, но спать до утра нам не хотелось. На всю жизнь осталась в моей памяти эта первая и, как потом оказалось, последняя ночь в доме Инны.

69

Ноябрьские праздники выдались в том году особенными. В Москве торжественное собрание, посвящённое 27-ой годовщине Октября, прошло не на станции метро "Маяковская", как это было при праздновании 24-ой годовщины в первый год войны, а в Большом театре. По Красной площади прошли не сибирские дивизии, отправляющиеся на фронт, что проходил в пригородах Москвы, а десятки тысяч трудящихся столицы, войска Московского гарнизона и военные академии всех родов войск.

Многолюдным и красочным было шествие и в Грозном. Во главе колонны ВУЗов города были стройные ряды студентов нашего института. Тогда ещё на демонстрации никого не заставляли идти. Вёл нас патриотический подъём, вызванный победами нашей армии.

После демонстрации собрались в нашей комнате общежития. К тому времени Лёня Шустер и Лёва Хайкин уже встречались с девушками и только Рувка Фан-Юнг, влюблённый только в свою геологию, был по-прежнему один. Лёня дружил с очень интересной по внешности девушкой со второго курса технологического факультета, которую звали Галочкой. Также, как и Галочку - Галину Петровну из известного монолога, который он часто читал на вечерах самодеятельности. Их дружба началась с драмкружка, который возглавлял Лёня и в котором Галочка репетировала, как правило, главные роли. Она была очень красивой, но тупой в учёбе и просто болтушкой.

Лёва только недавно познакомился с сокурсницей с горно-промышленного факультета Любой, которая внешне ничем особенным не отличалась, но была круглой отличницей и, как и Лёва, не лишена юмора. Она не отрывала своих влюблённых глаз от Лёвы и заразительно смеялась, когда тот рассказывал анекдоты или смешные истории.

Поскольку наши девушки часто навещали своих ребят в общежитии, они уже хорошо знали друг друга и стали инициаторами этой встречи. Ими были заранее подготовлены необходимые закуски к праздничному столу. Тогда мы считали стол праздничным, если на нём вместо традиционной мамалыги была миска винегрета, банка кислых помидор или огурцов, картошка «в мундире» и селёдка с луком. На этот раз стол можно было считать особо торжественным, так как Инна принесла кусок твёрдого сыра и кольцо колбасы, Люба приготовила жаренные свиные рёбра, а Галочка испекла песочное печенье.

Мужская же половина нашей компании купила на рынке бутылъ самодельного виноградного вина, полдюжины бутылок сидра и пару бутылок московской водки.

Роль тамады, как всегда, выполнял Лёва и на сей раз он был просто в ударе. Было очень весело и всем из нас от него в тот день досталось. О каждом он вспоминал какие-то всамделишные истории из прошлого или придумывал смешные небылицы. Больше всех в тот вечер, как всегда, досталось Лёне. Лёва нередко избирал его объектом юмора и, если это не унижало его честь и достоинство, Лёня воспринимал это безболезненно.

На этот раз Лёва приукрасил имевшие место эпизоды из Лёниного участия в спектаклях Киевского театра имени Леси Украинки, который долгое время находился во время войны в Грозном. Участие это было чисто условным и подобного мог быть удостоен каждый из нас, ибо на доске объявлений института часто висели сообщения театра о наборе статистов для участия в массовых сценах. Однако Лёня очень гордился тем, что участвовал в спектаклях этого хорошо известного в стране театра, особенно когда ему поручались индивидуальные этюды, пусть даже с немой ролью, т.е. ролью без слов. Чтобы мы могли его видеть на сцене, он как-то умудрялся, с помощью знакомого вахтёра, пропускать нас без билетов в зал, и мы могли смотреть с балкона спектакли, в которых он принимал участие.

Однажды, когда готовился спектакль "Дети солнца", Лёне поручили немую, но важную роль, где его бьют палкой по голове. Лёня часто репетировал эту сцену у нас в комнате и спрашивал достаточно ли видно по его выражению лица, как ему больно после таких ударов. Он хорошо отрепетировал свою роль и мы подтвердили, что исполняет он её здорово.

К премьере по всему городу были вывешены афиши о предстоящем спектакле с перечнем народных и заслуженных артистов, которые в нём заняты. Шутки ради Лёва дописал на многих афишах в центре города «Народный статист Республики Леонид Шустер».

В день спектакля Лёня велел нам прийти после третьего звонка и, когда спектакль только начался, пропустил нас через запасной выход со двора. Мы устроились, как всегда, на балконе и с интересом смотрели спектакль. Зал был заполнен до отказа и зрители часто аплодировали артистам в наиболее волнующих сценах. Когда на сцену вышел Лёня и его стали бить палкой по голове в аплодисментах никакой необходимости не было, но мы зааплодировали и часть публики, как это часто бывает, поддержала наши аплодисменты. Это вызвало удивление, а затем и возмущение режиссера. Было назначено служебное расследование.

Трудно сказать каким образом удалось установить виновников неуместных аплодисментов, но художественному руководителю театра, народному артисту СССР Хохлову было доложено, что первыми зааплодировали студенты, которые были пропущены в театр без билетов одним из рабочих сцены по просьбе Лёни. На второй день Лёне сказали, что в его услугах театр больше не нуждается.

Лёва к этой имевшей место истории добавил немного юмора. Он рассказал притчу, как Лёня перешёл с Хохловым на Ты. Финал этой притчи заканчивался монологом Хохлова, обращённым к Лёне: "Пошёл вон! И чтобы твоей ноги больше в театре не было!"

Не знаю почему, но несмотря на то, что Лёня впервые был в нашей компании с Галочкой, он на это не очень обиделся и хохотал вместе с нами, когда Лёва со вкусом рассказывал эту историю. Может быть он так беззлобно прореагировал потому, что мы после его изгнания ходили к директору театра извиняться, убедили его в том, что во всём виновен не Лёня и его опять стали приглашать в театр и поручать даже более ответственные немые роли, чем в «Детях солнца».

Было очень весело и интересно. На звуки музыки и песен пришли ребята и девчата из соседних комнат. Принесли гармошку и гитару и вместе с моей мандолиной образовали целый оркестр. Сдвинули койки и освободили место для танцев. Только к полночи мы проводили девушек по домам.

Сёма выполнял данное мне при отъезде из Харькова обещание относительно писем. В ответ на свои почти ежедневные письма, я довольно регулярно получал ответы от него. С ним я был во всём откровенен и советовался по всем важным вопросам моей многогранной, до предела насыщенной студенческой жизни,

начиная от предстоящих и прошедших тестов, зачётов и экзаменов, общественных мероприятий и комсомольских дел, кончая бытовыми проблемами и личной жизнью. Письма мои были обычно длинными и походили на дневник. Несмотря на предельную занятость, я находил по 1,5-2 часа в день на письмо Сёме. Обычно я писал их по утрам, часов с пяти, в красном уголке, когда все в общежитии ещё спали. Вахтёры, которые дежурили круглосуточно, уже привыкли к моему режиму и их это перестало удивлять.

Сёминых писем я ждал всегда с нетерпением. Они были не такие объёмные, как мои, но в них содержались ответы на все волнующие меня вопросы и советы по всем жизненно важным для меня делам. Хотя большинство его писем выглядели внешне небрежными и приходили без конвертов, в виде самодельного треугольника с адресом на его лицевой стороне, но для меня они представляли большую ценность и я хранил их наравне со всеми важными документами. Нередко я прочитывал их по несколько раз не только в день прибытия, но и возвращался к ним через некоторое время, когда искал в них ответ на какой-то волнующий вопрос.

Писал Сёма чётким, разборчивым и только ему присущим почерком, который разительно отличался от любого другого. Он умел излагать свои мысли ясно и очень коротко, так что на одном тетрадном листике, где полстраницы отводилось для адреса, содержалось очень много интересующей меня информации.

Главное, конечно, что меня волновало, это было Сёмино здоровье и, хотя он об этом почти ничего не писал, ограничиваясь двумя-тремя словами успокоительного характера, я всё же мог о нём как-то судить по стилю письма, его содержанию, почерку и другим, только мне понятным приметам. Я убедился, что судил я об этом верно из писем Доры Абрамовны, которая изредка отвечала на мои запросы о здоровье Сёмы. Когда я замечал ухудшение его состояния, я писал Доре Абрамовне и она, обычно, подтверждала мои сомнения, но успокаивала, что ему уже стало лучше и в моём приезде нет необходимости.

Из моих писем Сёма знал о наших отношениях с Инной. Он как будто даже одобрял их, считая, что такая дружба очень полезна и делает жизнь содержательней и интересней, но, когда я обратился к нему за советом относительно женитьбы, он недвусмысленно дал понять, что этого делать не следует, особенно сейчас. Об этом, писал Сёма, может идти речь только после окончания института и начала трудовой деятельности. Кроме того он советовал в этом вопросе брать пример не с него, а с Зюни, которому он по доброму завидовал. Впервые за все годы Сёма признал, что его брак с Шурой был самой серьёзной ошибкой, допущенной им за всю свою жизнь и в этом он окончательно убедился только сейчас. Шура, по его мнению, не выдержала серьёзных экзаменов, которыми стали война и его ранение. Он считал, что в этом не последнюю роль сыграли различие в национальности и её неприязнь ко всему, что связано с нашим еврейским происхождением.

Обо всём этом Сёма писал, не ведая об отношении Шуры к Полечке в годы войны, её измене и поведении в период оккупации Немирова немцами. Он писал также, что опыт войны подсказывает, что семья должна строиться на принципах не только духовной, но и национальной общности.

Его советы были не категоричными. Он признавал возможные исключения и полностью доверял мне самому решать этот важный жизненный вопрос, но просил не торопиться с решением по крайней мере до встречи с ним, которую он ждал в мои зимние каникулы.

Вероятно, Сёма хотел мне что-то важное сказать о его отношениях с Шурой. Об этом можно было судить по отдельным фразам в последних его письмах. В них чувствовалось недовольство поведением Шуры при встрече с ним в госпитале и особенно после её отъезда. Она редко писала ему и не изъявляла желания ускорить их очередную встречу. Не трудно представить, как больно и обидно было ему всё это сознавать.

В начале ноября я получил поздравительную открытку по случаю наступающего праздника, а через несколько дней было ещё одно короткое письмо, где Сёма сообщал, что в канун праздника Дня Артиллерии, который отмечался тогда в третье воскресенье ноября, ему вручили второй орден Боевого Красного Знамени. К этому празднику ему также выдали новую офицерскую форму. Это было последнее его письмо.

Я сердечно поздравил Сёму с наградой и днём рождения, который мы всегда отмечали 25-го ноября. В письме я выразил беспокойство состоянием его здоровья и редкими письмами. Написал также тревожное письмо Доре Абрамовне с просьбой срочно ответить: что происходит с Сёмой и нет ли необходимости в моём срочном приезде. На это письмо ответа не было.

Когда я уже собрался выехать в Харьков в конце ноября, то получил короткое письмо от военкома госпиталя о внезапной смерти Сёмы 18-го ноября 1944-го года. Сообщалось также, что он похоронен на Пушкинском кладбище с воинскими почестями и что о смерти своевременно сообщили его жене по месту жительства.

На следующий день я получил письмо от Доры Абрамовны, в котором она выражала соболезнование по поводу безвременной кончины Сёмы, которого она очень любила, как прекрасного человека и лучшего друга. Она извинялась, что не ответила на моё письмо своевременно и объяснила это тем, что выезжала к своей больной матери и почти месяц отсутствовала. Не была она и на похоронах. В моём приезде сейчас она не видела необходимости и советовала приехать весной или летом для обустройства могилы и установки памятника. Временный памятник, поставленный госпиталем, бесследно исчез и могила

Сёмы стала безымянной. Исчезли, к сожалению, и личные вещи брата, что были в его тумбочке в вещмешке. Дора Абрамовна обещала позаботиться о могиле и сделать всё возможное, чтобы разыскать его вещи. Из её письма я узнал, что Шура в похоронах не участвовала и на сообщение госпиталя не прореагировала.

Страшная весть о смерти Сёмы лишила меня сна и покоя. Я совсем забросил учёбу и целыми днями бесцельно бродил по городу, а ночью неподвижно лежал на койке и смотрел в одну точку. Не было желания ни есть, ни пить, ни жить. Трудно сказать, что было бы со мной, если бы не Инна и мои друзья, которые были ко мне очень внимательны и участливы.

В начале декабря я всё же поехал в Харьков на могилу Сёмы. С помощью Доры Абрамовны с трудом добился изготовления памятника, на котором прикрепили Красную звезду и золотыми буквами написали:

Гвардии старший лейтенант Гимельфарб Семён Мойсеевич

25 ноября 1914-г. - 18 ноября 1944-г.

Он не дожил только одну неделю до своего тридцатилетия, не дождался Победы и не познал радостей жизни. Все свои силы, всего себя он отдал служению Родине и нам, Гимельфарбам, которым был беззаветно предан и которых очень любил.

71

Новогодние праздники и зимние каникулы прошли в уединении и печали. Намечавшиеся на это время поездки в Харьков, Немиров и Красилов по освобождению квартиры в нашем доме и переселению туда нашей семьи теперь уже не имели смысла. Дни казались длинее обычного. Ещё недавно насыщенная делами и заботами жизнь вдруг стала однообразно-пустой и бесцельной.

Отказался от организованной Выдриным интересной экскурсии по Военно-Грузинской дороге. К учёбе потерял всякий интерес. Только сейчас окончательно прозрел в том, что тратить время на изучение геологии и смежных с ней дисциплин, когда я твёрдо решил менять специальность, бессмысленно.

Общественная работа, которую до сих пор выполнял с большим желанием, больше не увлекала и стала для меня обузой. На отчётно-выборном комсомольском собрании института перед зимней сессией дал себе самоотвод по состоянию здоровья и не вошел в состав комитета комсомола.

Даже от свиданий с Инной стал уклоняться под разными предлогами. Она, конечно, понимала действительные причины моих страданий и печали и всячески старалась облегчить и разделить их. Инна пыталась отвлечь меня различными разговорами, прогулками, кинофильмами, приносила из дома и библиотеки интересные книги.

Никогда раньше я не читал так много художественной литературы. На это у меня просто не хватало времени. Теперь, чтобы чем-то занять себя, я стал читать всё подряд, что приносила Инна. Больше всего прочёл тогда книг по научной фантастике, которыми когда-то увлекался её отец и которые она бережно хранила, как память о нём.

Написал несколько писем Полечке, в которых старался поддержать и успокоить её. Жила она по-прежнему у тёти Анюты, к которой была очень привязана. Она помогала ей во всём по хозяйству и была ей по-дочернему преданна. С Шурой она не общалась и избегала её.

Тётя Анюта рассказывала Полечке, что Шура много пьёт и не может найти постоянной работы. Андрей очень редко навещал её и она жила в бедности.

Как-то, после смерти Сёмы, я получил письмо от Шуры, в котором она признавала свою вину перед Полечкой и Сёмой и просила простить её. Она хотела уехать с нами в Красилов, где обещала бросить пить, найти работу и помогать во всём Полечке.

Я долго не мог принять окончательного решения по поводу своего отношения к Шуре. Её было жалко. Не мог забыть просьбу Сёмы, который хоть и прозрел после встречи с ней и догадывался о её неверности, но всё ещё любил её, заботился о ней, просил не оставлять её в беде и помогать ей.

С другой стороны, как можно было забыть всё, что она натворила в годы оккупации, её измену Сёме, а главное - подлое предательство по отношению к Полечке?

Злость и возмущение звали к мести. Единственное, что сдерживало, была просьба Сёмы, с которой нельзя было не считаться. Я утешал себя тем, что если бы Сёма знал всю правду, он бы отверг её сам и нам бы велел забыть о её существовании.

После долгих раздумий я написал ей короткое, но очень жесткое письмо, в котором отказал ей в просьбе о прощении. Единственное, что я пообещал Шуре, это то, что мстить ей за содеянное зло я не буду ради Сёмы, который так сильно и верно любил её.

Я получил ещё одно её письмо, которое оставил без ответа. Как мне потом рассказала Полечка, Шура совсем спилась. В Немирове все знали о её беспробудных пьянках и нигде не брали на работу. Стало опасно оставлять её одну дома и родственники написали об этом Андрею, который был призван в армию. Ему дали краткосрочный отпуск и он приехал в Немиров, но никакой пользы его приезд не дал. Накануне его

отъезда Шура повесилась на крыльце своего дома. Её похоронили в овраге на краю кладбища, где хоронят самоубийц и пьяниц.

Когда Полечка как-то позднее приехала из Красилова в Немиров навестить тётю Анюту и пожелала побывать на могиле у Шуры, они не могли её отыскать, так как она никем не посещалась и заросла бурьяном.

72

Шла весна 1945-го года. По всему чувствовалось, что войне пришёл конец. Советская Армия теперь превосходила немецкую по всем показателям, решающим исход сражений. Немцы уже не в состоянии были противопоставить наступающим советским войскам ни достаточного количества дивизий, ни соответствующую по количеству и качеству военную технику. Высоким был и моральный дух советских воинов, которые были полны решимости добить фашистского зверя в его собственной берлоге.

Полководческими талантами теперь уже блистали не немецкие генералы, как это было в первые месяцы войны, а советские: Жуков, Рокоссовский, Конев и другие, в прошлом опальные военачальники, сменившие легендарных героев гражданской войны Ворошилова, Будённого, Тимошенко, проявивших свою бездарность.

Уже были полностью освобождены все ранее оккупированные немцами союзные Республики и война шла далеко за пределами советских границ. После отчаянного сопротивления немцы оставили Варшаву, Бухарест, Софию и многие другие города Польши, Румынии, Болгарии. Кровавопролитные сражения шли в Венгрии и Чехословакии, где немцы пытались любой ценой удержать Будапешт и Прагу. Разворачивалась грандиозная по своим масштабам битва за Берлин - столицу Рейха. Туда с разных направлений двигались войска Белорусского и Украинского фронтов, смыкая кольцо окружения немецкой армии. Успеху наступления во многом способствовало открытие второго фронта и успешное продвижение союзных армий с запада.

К началу мая, после ожесточённых боёв, прекратил сопротивление немецкий гарнизон в Праге. Десятки тысяч солдат и офицеров гитлеровской армии в панике сдавались в плен. Со дня на день ожидалось сообщение о безоговорочной капитуляции Германии, а его всё не было. Немцы отчаянно дрались за свою столицу, однако подавляющее преимущество Советской Армии было столь очевидным, что дальнейшее сопротивление стало бессмысленным и только вызывало бесчисленные жертвы.

В ночь с 8-го на 9-ое мая мы долго не ложились спать в ожидании сообщения о капитуляции в ночном выпуске последних известий или в специальном выпуске «В последний час». Далеко за полночь, во втором часу ночи, когда мы уже потеряли надежду дожидаться желанного известия, по радио сообщили о предстоящем важном сообщении. Всё тот же знакомый голос Левитана зачитал долгожданную радостную весть о подписании акта полной капитуляции немецкой армии. День 9-ое мая был объявлен всенародным праздником и назван Днём победы.

Голос лучшего диктора страны, к которому мы успели привыкнуть за годы войны, на этот раз звучал как-то по новому, возвышенно-торжественно и взволновано. Праздничное возбуждение овладело нами и мы, как по команде, вскочили с кроватей и стали не своим голосом орать «Ура!» Но этого нам показалось мало. Накал эмоций требовал каких-то реальных действий. Было бы в руках оружие - оно бы стреляло, а поскольку его не было, то была задействована батарея стеклянных банок из-под консервов, скопившихся в кухонном углу комнаты. Банки полетели в окна, создавая впечатление праздничного салюта. Мы обнимали, целовали друг друга и издавали какие-то невнятные звуки восторга. Лёва и Лёня, заложив пальцы в рот, стали неистово свистеть. Что-то подобное слышалось из соседних комнат. Хоть и была уже глубокая ночь, все хлынули на улицу, где творилось что-то невероятное. Все возбуждённо орали, целовались, обнимались...

Толпа двинулась к центру, на проспект Революции, где обычно проходили праздничные демонстрации. На центральной площади, украшенной ещё первомайскими лозунгами, флагами и плакатами, у памятника Ленину собралось огромное количество людей - мужчин и женщин, молодых и старых, детей разного возраста. Многие кормящие матери пришли с младенцами на руках. Здесь было немало солдат и офицеров местного гарнизона, бывшие воины-инвалиды. Им досталось больше всего поцелуев от заплаканных женщин, многие из которых не дождались и уже никогда не дождутся возвращения с фронта своих отцов, сыновей, мужей, возлюбленных. Откуда-то появились гармошки, баяны, аккордеоны и пары закружились в танцах. Наперебой звучали песни. На трибуну забрался пожилой мужчина на костылях с орденами на груди, который пытался произнести какую-то речь, но слова его тонули в гуле толпы и разобрать что-нибудь было невозможно. На площади нас разыскали Инна, Люба и Галя, которые уже договорились организовать застолье на квартире у Любы, что была в центре, рядом с площадью. Люба жила со своей матерью - Марией Ивановной, которую мы все хорошо знали. Она была кассиром в институте и у неё мы получали стипендию и талоны на вторые горячие блюда. К ней нередко обращались студенты с просьбой одолжить до стипендии немного денег и она многим давала займы на банку муки, заноса их фамилии в «чёрный список» должников. Мы знали Марию Ивановну, как добродушного, отзывчивого и приветливого человека, и поэтому предложение собраться у Любы не вызвало возражений.

Судя по празднично накрытому столу, вокруг которого хлопотала заботливая хозяйка в ожидании нашего прихода, можно было догадаться, что Люба с мамой заранее договорились об организации этого ночного приёма. На столе был традиционный студенческий винегрет, солёная с луком, квашенная капуста, несколько бутылок сахарного самогона и домашнего виноградного вина из запаса, который Мария Ивановна держала к возвращению мужа с фронта.

Давно уже такими вкусными не казались эти самые простые закуски, как в ночь великого праздника Победы. Даже самогон, который обычно вызывал у меня отвращение, на этот раз пошёл, как по маслу, и не казался таким противным. Я никогда раньше так много не пил, как в ту ночь, но совсем не пьянел и на душе было светло и радостно. Война с её ужасами и страданиями осталась позади, а впереди - долгожданная мирная жизнь, которая представлялась счастливой, хотя бы потому, что будет мирной.

Было только мучительно больно, что до этого праздника не дожили мои старшие братья, с которыми вместе уходили на войну и из которой вернулся я один. Тяжелое чувство утраты родных, близких, друзей омрачало радость праздника. Из всей нашей большой родни, кроме меня, выжила только Полечка.

Дорого обошлась победа нашей стране, дороже, чем всем другим странам, участвовавшим в грандиозном, невиданном доселе побоище, каким была Вторая мировая война. И самую высокую цену уплатило европейское еврейство, которое подверглось почти полному уничтожению.

Мы подняли и выпили до дна тост за память о павших в великой войне с фашизмом.

73

Мои надежды уговорить Выдрину согласиться на мой перевод в другой ВУЗ опять оказались напрасными. Даниил Иосипович вновь отказался подписать моё заявление об отчислении из института, убеждая в необходимости продолжения учёбы на геофаке. Он обещал мне место в аспирантуре и работу в качестве его ассистента. Все мои доводы он категорически отклонял. Единственное, чего удалось добиться в разговоре с ним, это обещание вернуться к этой теме после его возвращения из Ленинграда, куда он отправлялся в творческий отпуск для защиты докторской диссертации на Учёном Совете горного института - ведущего геологического ВУЗа страны.

Выдрину не пришлось возвращаться к этому разговору, ибо, воспользовавшись его отсутствием, я получил согласие на перевод от исполняющего обязанности декана профессора Сузина, читавшего у нас курс палеонтологии, которому я честно признался, что согласия Выдрина не получил и никаких надежд на это не пытал.

Как только закончилась летняя сессия, я стал собираться в дорогу, намереваясь навсегда покинуть Грозный. С ребятами, с которыми мы очень сдружились за годы учёбы и жизни в общежитии, распрощался перед их отъездом на летние каникулы. Лёня впервые за годы войны уезжал на родину, в Минск, куда недавно вернулись из эвакуации его мать и младшая сестра. Его там ждали с нетерпением и он умчался на второй день после последнего экзамена. По дороге он собирался остановиться в Москве, где в госпитале после тяжёлого ранения, находился его отец.

Лёва получил переводной лист и уезжал в город своего детства - Днепропетровск, где намеревался продолжить учёбу в технологическом институте. Его там ждала мать и девушка, с которой он встречался ещё до войны, когда они вместе учились в десятом классе. Люба очень привязалась к нему и надеялась на его возвращение в Грозный после окончания института.

Рувка Фан-Юнг, с которым меня связывала давняя дружба ещё с Коканда, тоже уезжал на свою родину, в Херсон, хотя у него не было там никого из родных и близких. Они не смогли эвакуироваться и, как всё еврейское население города, погибли в гетто. Он намеревался побыть на месте их гибели и возможно найти кого-нибудь из школьных друзей, что выжили в военном лихолетьи. Рува был по-прежнему влюблён в геологию и в Выдрину, и собирался вернуться в институт для завершения учёбы.

С ними, как и со многими другими приятелями по учёбе и общественной работе, договорились не терять связь и обменивались адресами. Я был уверен, что останусь в Одессе и велел всем писать мне на Главпочтамт, до востребования.

Труднее всего было прощание с Инной. Она, чувствовала, что мы можем больше не встретиться, знала о совете Сёмы воздержаться от нашей женитьбы и о моих сомнениях на этот счёт. Инна искренне недоумевала, но держалась гордо и с достоинством. Она больше не настаивала на немедленной свадьбе, но просила писать ей ежедневно, как раньше писал Сёме. Вероятно она надеялась, что письма не дадут остыть нашим чувствам и не позволят забыть друг друга.

В день отъезда Надя устроила прощальный обед и подняла тост за нашу скорую встречу. Мы распрощались с ней, как родственники. Инна проводила меня в общежитие, где ещё с утра были собраны все мои вещи. Обычно грубый и скупой комендант Хуберов вдруг проявил щедрость и заказал для меня такси за свой счёт.

Мы погрузили небогатые мои пожитки, легко поместившиеся в двух небольших чемоданах, и задолго до отправления поезда, отправились на вокзал. С тяжёлым чувством покидал я общежитие нефтяного института, ставшее мне за эти годы родным домом.

Оставшееся до прихода поезда время прошло в каких-то отвлечённых разговорах с Инной, которые мало увязывались с нашими чувствами и планами на будущее. Только когда подошёл поезд, Инна залилась слезами и бросилась в объятия. Она сопровождала вагон до конца платформы, посылая прощальные взмахи рукой, в которой был её неизменный красный берет. Не знал я тогда, что на этот раз мы распрощались с Инной навсегда.

74

Одесса встретила тёплой солнечной погодой. Трамвайная остановка на вокзальной площади была полна людей в пляжной одежде, стремящихся к морю и солнцу. Трамваи, идущие к центру, были полупустыми и я поехал на Дерибасовскую, где находились многие гостиницы. Однако, как оказалось, устроиться в них было не просто, и только с третьей попытки удалось уговорить администратора на поселение в четырёхместном номере недорогой гостиницы «Центральная». С меня взяли подписку, что я освобожу место по истечении трёх дней. Наверное, можно было устроиться в лучшей гостинице и на больший срок, но в Одессе за всё нужно было давать взятки, а я не умел это делать тогда, не научился позднее и так и не освоил эту науку до сих пор, от чего нередко страдал.

Первые дни отвёл общению с городом. Впервые с Одессой меня в детстве познакомил мой брат Зюня, который уверял всех, что лучшего города нет на всём земном шаре. Но та встреча была короткой, а мои восприятия - детскими. Сейчас же я осматривал город с позиции вполне взрослого человека, который собирался здесь жить. Побывал на центральном рынке, на городском пляже, в парке, погулял по набережной на Приморском бульваре, посетил несколько кинотеатров, продовольственных магазинов, пообедал пару раз в недорогих столовых и, конечно, не обошёл вниманием знаменитый Оперный театр.

Несмотря на большие разрушения, город произвел прекрасное впечатление. Никакого сравнения с Грозным - единственным приличным городом, где уже довелось пожить. Особенно красивой была Одесса вечером, когда зажигалось множество огней, подсветки многочисленных фонтанов, разноцветные витрины магазинов и гирлянды ярких реклам. Широкие прямые улицы освещались стройными рядами фонарей, которые казались бесконечно длинными.

Зашёл в несколько одесских институтов. В Политехническом, Мукомольном и Университете соглашались принять на третий курс и предоставляли общежитие. Больше всех понравился институт Пищевой и Холодильной промышленности (бывший Консервный), который размещался в центре города, на улице Петра Великого, напротив главного корпуса Госуниверситета. В большом пятиэтажном здании, совсем не пострадавшем в годы войны, вольготно размещались аудитории, кабинеты, лаборатории и комплекс помещений для отдыха, культмассовых и спортивных мероприятий с прекрасным зрительным залом на 600 кресел.

Принял меня декан технологического факультета доцент Фан-Юнг, однофамилец моего друга Рувки Фан-Юнга, высокий, стройный, уже немолодой мужчина с приветливым улыбающимся лицом и умными чёрными глазами. Он долго и внимательно рассматривал мой переводной лист и согласился принять меня на третий курс по специальности технология консервной и холодильной промышленности. Декан назвал эти отрасли перспективными в пищевой и мясомолочной индустрии, и настоятельно рекомендовал именно эту специальность. Я почувствовал какую-то его заинтересованность и искреннее желание помочь мне. После обстоятельной беседы он предложил пообедать с ним в студенческой столовой. Было уже далеко за полдень и я, после утреннего чая в буфете гостиницы, изрядно проголодался. В просторной столовой, что располагалась в подвальном помещении, недалеко от деканата, мы оплатили за комплексный обед, всего по одному рублю двадцать копеек. Сопоставив эту цену со стоимостью лёгкого завтрака в буфете гостиницы, за который я уплатил два с половиной рубля, я понял, что цены здесь божеские.

Кроме сытного обеда из трёх блюд со свинными рёбрышками, нам подали овощную икру, которую можно было есть бесплатно и в любом количестве. Когда я удивился дешёвому обеду Александр Федорович объяснил, что овощную икру они получают с консервного завода, а свиные рёбрышки и некоторые субпродукты поступают с мясокомбината по низким ценам. В свою очередь институт оказывает существенную техническую помощь этим и другим пищевым предприятиям города.

Должен сказать, что в то голодное время институтская столовая сыграла немаловажную роль в моём выборе ВУЗа.

С Фан-Юнгом мы согласовали график сдачи незачётных дисциплин и я с ходу приступил к работе по подготовке к экзаменам. Мне дали место в общежитии в Театральном переулке, рядом с Оперным театром и я имел возможность часто, почти бесплатно, слушать оперы или смотреть балеты на верхних ярусах или на галёрке.

Общежитие было тесным, неблагоустроенным и неудобным, но меня это не очень огорчало. Важно, что была своя кровать и чистое бельё. Я жил в десяти минутах ходьбы от института и не было необходимости пользоваться городским транспортом. С первых же дней включился в напряженный учебный процесс, стремясь как можно скорее ликвидировать академическую задолженность.

Учёба в новом институте имела ряд особенностей и отличий от прежней учёбы в Грозном. Она предусматривала значительно больше химии и совсем иные технологические дисциплины, такие как технология мяса, молока, консервирования пищевых продуктов, холодильная технология и другие. Всё это создавало определённые трудности, особенно в первое время. Однако, уже к концу первого семестра, удалось преодолеть возникшие проблемы и зимняя сессия была закончена примерно с такими же результатами, как и предыдущие сессии в Грозном.

На результаты в большой мере сказалось то, что в это время всё моё внимание было сосредоточено только на учёбе. Я ещё не занимался общественной работой, мало времени отводил развлечениям и не встречался с девушками.

После зимней сессии была производственная практика на Одесском консервном заводе имени Ворошилова. В Одессе был ещё консервный завод имени Ленина, где перерабатывались цитрусовые и производились фруктовые соки, но я предпочёл завод, где производились овощные консервы потому, что он был намного крупнее, там изготовлялся более широкий ассортимент продукции, а главное потому, что там можно было вволю поесть вкусных овощных и мясорастительных полуфабрикатов.

Нужно сказать, что наши ожидания полностью оправдались. Этому способствовало усердие студентов в работе при выполнении наиболее тяжёлых и непривлекательных операций. Таких, например, как чистка лука, сортировка подпорченных овощей, разгрузка соли из вагонов и некоторых других. Нередко нам даже разрешалось самим готовить себе еду из наличных продуктов по собственной технологии.

После этой практики мы ещё долго вспоминали те счастливые деньки, когда у нас не было никаких проблем с питанием и так удачно сочеталось приятное чувство сытости с полезным изучением технологии консервного производства.

К концу года нас переселили в лучшее общежитие по улице Горького, которое размещалось на первом этаже особняка, принадлежавшего до войны какому-то богатому еврей. В десятке просторных комнат, оборудованных необходимым минимумом удобств, разместилось более пятидесяти ребят. Это было чисто мужское общежитие.

Не скажу, что было оно очень хорошим, но по сравнению с предыдущим, где кровати стояли почти в притык, на сто человек был только один туалет и две раковины в умывальнике, а чтобы приготовить кашу на единственной плите нужно было выстоять двухчасовую очередь - это общежитие нам казалось почти роскошным.

Нас было только 6-7 человек в комнате и в туалет, и на кухню можно было попасть без очереди. Кроме того мы жили в пяти минутах ходьбы от площади Толстого, где была конечная остановка второго номера троллейбуса, которым можно было быстро и без проблем добраться до центра, базара или пляжа. Кто в то время жил в Одессе и пользовался городским транспортом, поймёт, какое это было важное преимущество.

Жить в общежитии без друзей трудно и все ребята нашей комнаты стали моими друзьями. Мы вместе занимались, питались и отдыхали. Но лучшим моим другом в Одессе был Коля Погосов - армянин из Еревана, который был сильно похож на еврея и любил общаться с евреями даже больше, чем с армянами. Он встречался только с еврейскими девушками и одна из них Мира Фишман, что училась на параллельном курсе экономического факультета, стала потом его женой.

Из всех моих друзей студенческих лет Коля был самым близким и самым верным. Между нами не было никаких секретов и с его мнением я очень считался при решении всех жизненно-важных и даже сугубо личных вопросов.

Внешне Коля выглядел очень эффектно. Он был выше меня ростом, с красивыми чертами лица, пышной причёской чёрных волос и тёмными выразительными глазами, в которых легко можно было прочесть не только его настроение, но и мысли. Он очень нравился многим институтским девушкам и они нередко просили моей помощи в знакомстве с ним, но Коля был верен дружбе с Мирой и новых знакомств не искал.

Как и у меня теперь, у него не было других постоянных источников дохода, кроме стипендии, и мы с ним питались и одевались довольно скромно. Иногда нам удавалось заработать немного денег на случайных работах по погрузке, разгрузке или сортировке овощей и фруктов на Новом базаре, который находился недалеко от нашего института.

После летней сессии мы с Колей вместе были на производственной практике на Одесском мясокомбинате и она оставила у нас не меньше приятных впечатлений, чем практика на консервном заводе. Как и там, нам представлялась возможность всегда вкусно и вволю поесть. Это были не только овощи и бобы, но и такие дорогие и дефицитные закуски, как колбасы и копчённости.

Как и на консервном заводе мы не отказывались от выполнения самых трудных и неприятных работ, которых здесь было побольше чем там, и за это мы вознаграждались самой деликатесной вкуснятиной.

В отличие от меня, Коля не отличался излишней скромностью, и ему удавалось довольно часто проникнуть в самые труднодоступные производственные участки, какими были пирожковый цех и отделение производства деликатесов по заказам местного партийного и советского руководства. Уже в то далёкое время существовал порядок при котором местные руководители могли заказывать на любом подведомственном предприятии или организации любые продукты или услуги. Эти заказы безотказно принимались и выполнялись. Их исполнение находилось под строгим контролем и в качестве изготовленной по таким заказам продукции можно было не сомневаться.

Мы могли в этом убедиться, когда Коля приносил, спрятанные под поясом, охотничьи колбаски, буженину или карбонат, а нередко и твёрдокопчённую колбасу, упакованную в красивые коробки. В таких случаях мы не ходили в заводскую столовую, а устраивались где-нибудь в укромном месте и вволю наслаждались деликатесами, приготовленными для партийных босов.

Работая потом долгие годы в мясной промышленности, я имел неограниченную возможность есть подобные и даже более изысканные мясные деликатесы, но они уже не казались такими вкусными, как в то голодное время.

Когда после практики наступили летние каникулы, появилось много свободного времени, которое можно было использовать в своё удовольствие, но одолевали извечные проблемы питания, мы часто вспоминали золотые деньки, проведенные на мясокомбинате, когда нужно было много и трудно работать, но за то можно было вдоволь и вкусно поесть.

После зимней сессии меня и Колю избрали в профком института, где мне поручили производственно-массовую работу, а Коле - бытовой сектор. Моя общественная работа, хоть и была более важной, чем Колина, и я вскоре стал заместителем, а затем и председателем профкома, на деле оказалась менее практичной и полезной для нас, чем его скромный бытовой сектор.

В то время городские власти, стремясь как-то облегчить трудное материальное положение рабочих и студентов, ввели порядок выдачи талонов на покупку различных дефицитных промтоваров по твёрдым госценам. Тогда была большая разница между ценами госторговли и стоимостью аналогичных товаров в комиссионных и коммерческих магазинах или на рынке.

Если, к примеру, пара обуви, сорочка или брюки в коммерческом магазине или на толкучке (уличной торговле с рук) стоили 150 или 200 рублей, то по талону в магазинах госторговли они стоили не более 20-25 рублей. Можно было даже не отоваривать такие талоны, а продать спекулянтам, которые охотно скупали их на рынке или возле магазинов, а купленные по ним товары продавали по коммерческим ценам. В среднем мы получали за проданный талон около ста рублей, что составляло треть нашей стипендии. За эти деньги можно было купить целых три поллитровых банки кукурузной муки.

Распределением талонов занимался бытовой сектор профкома и Коле удавалось заполучить почти при каждом распределении пару талонов на ботинки, рубашку или брюки.

Коля не злоупотреблял своим положением и распределение талонов производилось честно и демократично, но порой ему доставался талон от студента, который в нём не очень нуждался, а иногда ему их дарили страдающие по нём девушки за его красивые глаза. Как бы там ни было, но нам и на мамалыгу стало хватать и на подсолнечное масло к ней оставалось.

На четвёртом курсе учиться было легче, появилось свободное от учёбы время, которое я с удовольствием отдавал общественной работе. После очередного отчётно-выборного собрания в состав профкома, кроме меня и Коли Погосова вошли Костя Высота и Рома Каганский, которые теперь стали моими близкими друзьями.

Конечно, самым большим моим другом до конца студенческой жизни оставался Коля Погосов, но и с Костей и Ромой мы были очень дружны. Костя был на год старше меня и учился на пятом курсе механического факультета. Родом с Полтавщины он разговаривал на чистом украинском с характерным местным произношением буквы «Л». Костя женился ещё на третьем курсе и его женой стала сокурсница Галя Харченко, которая была Сталинской стипендианткой. Мы так и не поняли почему ей одной в институте было присвоено такое почётное звание, которое давало право на высокую стипендию и предусматривало ряд других льгот. Многие студенты имели такие же, а некоторые и более высокие показатели в учёбе и были более талантливы, чем Галя, но такое звание присвоили именно ей. Возможно потому, что её отец занимал высокий пост в облисполкоме, а она со второго курса стала членом партии, может сыграла роль её чисто украинское происхождение, а может что-то иное, неведомое нам. Тогда много было непонятного при награждениях и присвоении всяких званий и было совсем небезопасно проявлять излишнюю любознательность и интерес к этому.

Костя не скрывал своей гордости быть мужем Сталинской стипендиантки и часто хвалил Галю не только за её прилежную учёбу, но и за другие положительные особенности и чисто женские достоинства. Жили они довольно скромно в студенческом общежитии, где им выделили небольшую комнатку. Даже

относительно высокая стипендия, которую получала Галя, не могла обеспечить им сколько-нибудь сносные условия жизни и молодожёны жили не намного лучше большинства других студентов.

У Кости был крутой характер, порой он допускал нетактичность, грубость по отношению к окружающим и даже к девушкам, но его уважали за принципиальность, трудолюбие и отзывчивость к нуждающимся в помощи студентам. Он занимался в профкоме жилищно-бытовыми вопросами и возглавлял соответствующую комиссию.

Рома Каганский во многом отличался от Кости особенностями характера и поведением. Он был весёлым, общительным и добрым парнем, корректным и вежливым со всеми, особенно с девушками. Рома был студентом третьего курса экономического факультета и дружил с девушкой-сокурсницей, которая его ужасно ревновала ко всем студенткам и не отпускала от себя ни на шаг. Её звали Ольгой. Была она чистокровной украинкой и недолюбливала всех евреев, кроме Ромы.

Нам, его друзьям, было трудно понять, что связывало Рому с Ольгой. Казалось, что между ними не было ничего общего, а их дружба со временем всё крепла, что нам было явно не по душе. Рома знал, что Ольга нам не симпатична, что мы её просто игнорируем, но разорвать с ней отношения не решался. Она была очень внимательна к нему и не сводила с него влюблённых глаз. Они учились в одной группе, вместе приходили в институт и вместе уходили домой. Только, когда назначались заседания профкома или другие общественные мероприятия, в которых требовалось участие Ромы, Оля разрешала ему оставаться одному после лекций. Сама она в общественной работе не участвовала и много времени отдавала учёбе, что позволяло ей быть отличницей. Многие еврейские девушки обращали внимание на Рому и хотели бы встречаться с ним, но Оля держала его мёртвой хваткой и настояла на женитьбе, которая состоялась на четвёртом курсе.

Как объяснял нам Рома, окончательное решение о женитьбе, вопреки воле родителей, мечтавших о еврейской невесте для своего единственного сына, и о продлении их чисто еврейской родословной, он принял ещё на втором курсе. Тогда Оля на протяжении многих месяцев до самопожертвования боролась за его жизнь, оказавшуюся под угрозой из-за заболевания туберкулёзом. В то время эта болезнь считалась неизлечимой. Когда ужасный диагноз был поставлен, Оля бросила учёбу и полностью отдала себя лечению Ромы. Она продала все свои драгоценности и посадила Рому на специальную диету. По совету врачей Оля покупала на чёрном рынке за большие деньги только появившийся импортный пенициллин, стрептомицин, другие дефицитные лекарства и следила за выполнением всех рекомендаций и назначений лучших врачей Одессы.

Когда свершилось чудо и болезнь отступила, благодарный Рома дал обещание жениться на Оле, хотя больших чувств к ней не испытывал.

Мы же своего отношения к Оле так и не изменили, даже после их женитьбы, а наша дружба с Ромой продолжалась и крепла все годы учёбы, пока мы не разъехались в разные стороны после окончания института.

Нашу дружную компанию, состоящую из четырёх студентов-общественников, почему-то прозвали «Советом неимущих». Может быть так нас называли потому, что мы все важные вопросы в профкоме решали коллегиально, может потому, что в отличие от многих других студентов, жили на свои стипендии, что давало основание относить нас к категории бедняков-неимущих. Как бы там ни было, но эта кличка крепко прилипла к нам пока мы оставались членами профкома.

Попеременно все мы, кроме Коли Погосова, побывали в председательском профсоюзном кресле. Первым в нём посидел Костя Высота, затем эту должность занимал я, а когда у меня началась работа над дипломным проектом, председателем профкома института стал Рома Каганский.

К своей общественной работе мы относились серьёзно и ответственно. В нашу бытность в институте была создана хорошая клубная самодеятельность, образованы эстрадный оркестр, агитбригада, драматический и танцевальный коллективы. Выступления студенческой художественной самодеятельности пользовались большим успехом не только в нашем институте. Наши самодеятельные артисты выступали на сценах других учебных заведений города и нередко выезжали за его пределы. Работа профкома и клуба нами тщательно планировалась и эти планы доводились до всеобщего сведения. Во многих мероприятиях участвовали не только студенты, но и преподаватели института.

План работы и сценарии вечеров исходили из программы-максимум. Бывало, что по разным причинам они не полностью выполнялись, но и того, что делалось, было достаточно, чтобы работа профкома получала высокую оценку студентов и администрации института.

Принципа планирования работ по максимально-возможному перечню и объёму я затем придерживался всю свою трудовую жизнь, работая руководителем цеха, комбината, объединения. Как и в институте, планы всегда были очень напряжёнными, к их выполнению привлекалось максимальное число конкретных исполнителей и действовала жёсткая система контроля.

Опыт общественной работы в институте оказался для меня весьма полезным в организации производственной деятельности и моём становлении, как руководителя предприятия.

Профсоюзную работу в пищевом институте в Одессе, как и комсомольскую работу в нефтяном институте в Грозном, я выполнял с удовольствием и она совсем не мешала учёбе, которая давалась мне по-прежнему легко и ей, как и раньше в школе, постоянно сопутствовал успех.

75

Письма от Инны приходили почти ежедневно. Они были большими, нежными и тёплыми. В разлуке её чувства не только не остыли, а наоборот - ещё более окрепли. Её письма были полны любви и надежд на скорую встречу. Она приглашала на зимние каникулы в Грозный, затем предложила встретиться в Красилове, у Полечки, которая недавно туда переехала и проживала в небольшой части нашего дома. В одном из писем Полечка сообщила мне о своей переписке с Инной и пригласила в Красилов на встречу с ней. На худой конец, Инна соглашалась приехать и в Одессу, где у неё жила какая-то далёкая родственница.

Признаюсь, что и мои чувства к Инне, несмотря на длительную разлуку, не изменились, а усилия забыть её оказались тщетными. Я хоть и не так часто писал ей, как это делала она, и письма мои были не такими большими и пылкими, но оставлять безответными её чувства не хватало сил.

Разумом я понимал, что не должен поддаваться эмоциям и обязан воспользоваться разлукой, чтобы порвать с Инной, но заставить себя сделать это было не так просто. Трудно было оставаться глухим к милому и верному другу, кем она была для меня. Я отчётливо понимал, что если поддамся душевным порывам и мы вновь встретимся в любом месте, всё остальное решится само собой. Здравый смысл подсказывал, что Сёмин опыт не должен быть забыт и, тем более - повториться, но силы воли честно и откровенно об этом написать Инне не хватало.

Порой казалось, что если бы Инна знала, каких мук мне стоили эти раздумья, она бы сама решилась на наш разрыв и положила конец нашим страданиям. Но она не знала этого и всё настойчивей просила о встрече, а я продолжал надеяться, что разлука поможет нам забыть друг друга, и под разными предлогами уклонялся от неё. Но народная мудрость «с глаз долой - из сердца вон» в моём случае не подтвердилась.

Так продолжалось несколько месяцев, пока Инна не написала, что с помощью Нади, которая занимала высокий пост на нефтеперерабатывающем заводе, ей удалось сократить время преддипломной производственной практики на целых три недели. Это время она решила использовать для поездки в Одессу, приурочив её ко дню моего рождения и встрече Нового 1946-го года.

До её приезда оставалось немногим более двух недель и нужно было принимать твёрдое решение: либо соглашаться на приезд Инны со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо набраться мужества и предотвратить его, что означало полный и окончательный разрыв наших отношений.

Вот тогда-то я и решился написать ей о необходимости забыть друг друга. Дело это оказалось не простым, несколько вариантов письма я выбросил в урну. Действительная причина разрыва - отсутствие национальной общности не была бы понята Инной и была бы признана ею неуважительной. Наиболее вероятной реакцией на моё письмо в этом случае был бы её приезд с целью убедить меня в неосновательности этих сомнений.

И тогда я решился на обман и написал, что встретил девушку, которую полюбил, и на которой собираюсь жениться перед окончанием института. Я не нашёл ничего лучшего для своего оправдания, как сослаться на чувства, которые в таких случаях не поддаются рассудку и принуждают порой к безумным действиям и поступкам.

Слова благодарности Инне за её доброе сердце и чистые девичьи чувства, как и просьба о прощении, показались мне формальными, неубедительными и неискренними, но я не сумел подобрать других, которые бы увязывались с этой неправдой в главном. Я нагло и бессовестно солгал девушке, которую любил и которая была полна любви ко мне.

Никогда раньше и на протяжении всей своей жизни позднее я не казался таким гадким и мерзким самому себе, как тогда, при разрыве с Инной - милым и добрым другом юности, которого я не забуду до конца своей жизни.

76

Как и следовало ожидать, моё письмо к Инне привело к нашему разрыву. Её девичья гордость, её чистая и честная натура не позволили ей более иметь какие-то отношения с таким неверным и неблагодарным человеком, каким в её представлении оказался я. Могу себе только представить, чего стоило ей пережить всё это!.. От неё больше не было писем, а я так до сих пор ничего не знаю о ней, её жизни и судьбе.

Нелёгкими были последствия разрыва с Инной и для меня. Больше всего угнетала та неправда, которую я использовал. Я не мог ни с кем поделиться этим. Не мог рассказать всю правду о случившемся даже своему лучшему другу Коле Погосову. Он заметил, что я перестал ходить на почту за письмами и пытался узнать, что произошло, но я долго уклонялся от объяснений и мой тактичный и умный друг больше не проявлял к тому интереса.

Я замкнулся в себе, уклонялся от участия в клубной работе и даже отказывался от прогулок по набережной, которые мы раньше ежедневно совершали перед сном, что доставляло много удовольствия. Всё свободное время уходило на книги, которые как-то отвлекали от угрызений совести.

Так продолжалось до летней сессии, которая оказалась ещё более успешной, чем предыдущая. Наличие свободного времени позволило основательно подготовиться к экзаменам, что сказалось на оценках. Перед очередной производственной практикой у меня всё-же состоялся откровенный разговор с Колей. Наболевшее и пережитое требовало выхода...

К моему большому удивлению Коля не только не осудил мой поступок, а наоборот посчитал его достойным уважения. У его невесты Миры родители и все близкие родственники погибли на Украине в годы оккупации и в этом, по её рассказам, не последнюю роль сыграли украинские полицаи, которые до войны были их близкими соседями и даже считались добрыми друзьями. Коля считал, что прошедшая война научила по новому понимать «дружбу народов», что евреям и другим семитам, к которым он относил и армян, не следует при создании семьи пренебрегать национальной общностью супругов, что важно не только для них, но и для их будущих детей.

Коля успокаивал меня тем, что своевременный разрыв с Инной окажется полезным и для неё. В студенческие годы, при её красоте и обаянии она обязательно встретит своего спутника жизни, легче перенесёт любовную трагедию. Хуже если бы это случилось позднее. Тогда нужно было бы рвать семейные узы, что было бы намного болезненней.

Разговор с Колей как-то облегчил мои страдания и рана, нанесённая самому себе разрывом с Инной, начала понемногу заживать. После долгого перерыва я вновь занялся общественной работой. Вместе с Костей и Ромкой возобновили работу самодеятельности, подготовили концерт по новой программе, организовали вечера игр и танцев, викторины.

На одном из таких вечеров ко мне подошла симпатичная, типично еврейского типа девушка и предложила свои услуги в знакомстве с её подружкой Шурой Кимлат, которая, по её словам, уже давно интересуется мной, но сама не осмеливается проявить инициативу.

После разрыва с Инной я пока не собирался заводить новые знакомства и поэтому с холодком отнесся к этому предложению девушки. Чтобы как-то отвлечь её от этой темы и вместе с тем не обидеть, я завёл разговор об экзаменационной сессии, предстоящей практике, новой программе клубной самодеятельности.

Поняв, что её миссия свахи обречена на провал и что ей не удастся выполнить задание своей подруги, за которое она так смело взялась, девушка, ссылаясь на время, собралась домой. Лицо её густо покраснело и она, извиняясь, стала прощаться.

Её звали Анечкой. Мы учились на одном курсе и нередко встречались на общих лекциях в большой аудитории. Именно Анечкой и никак не иначе звал я её с первых дней нашего знакомства. Не Аней, не Аннушкой, а только Анечкой. Не знаю почему, но по другому произносить её имя я не мог. Мы знали друг друга давно, так как часто сидели рядом на лекциях, но только этим наше знакомство и ограничивалось. Она была небольшого роста, плотного сложения, с ярко выраженными еврейскими чертами маленького личика, на котором ещё сохранились остатки девичьих веснушек, и копной тёмных волос, уложенных в косы, но не послушных расчёске и руке парикмахера. С её чёрных глаз и полных прелести губ не сходила наивная детская улыбка. Весь её внешний вид и манера поведения были лишены искусственных прикрас, которыми так широко пользовались большинство институтских девушек. Ни следов макияжа, ни маникюра или педикюра, никаких украшений в ушах, на руках и на шее. В её походке отсутствовали отработанные приёмы женской элегантности, а одежда не претендовала на современный стиль и не подчёркивала особенности её фигуры, которые были того достойны.

Говорила она с еврейским акцентом и буква «Р» звучала у неё подобно «Г».

Сейчас, когда прошёл стресс, вызванный разрывом с Инной, и я мог себе позволить без угрызения совести обращать внимание на девушек, мне вдруг захотелось продолжить беседу с Анечкой. Сославшись на то, что мне тоже пора идти, я пошёл рядом с ней к выходу из института.

Когда мы подошли к трамвайной остановке и я попытался помочь ей подняться на ступеньку трамвая, она мягко отстранила мою руку и предупредительно-строго произнесла: «Не ттогай», что заставило меня отстраниться. Разговор у нас больше не клеился. Мы молча доехали до Малой Арнаутской и я проводил её к Книжному переулку, где она жила, как квартирантка, в семье той Шуры Кимлат, с которой собиралась меня познакомить. Она не разрешила проводить её до крыльца дома, холодно попрощалась вдали от него, а я смотрел ей вслед, пока за ней не закрылась входная дверь.

Трудно сказать, что привлекло меня в Анечке. В ней не было вроде ничего особенного. Может быть покоряла её детская наивность, может скромность и отсутствие желания понравиться, присущие девушкам её возраста. Возможно воздействовала её верность дружеских чувств к подруге, которой она искренне стремилась помочь в знакомстве. Чем-то тронули меня эти особенности её натуры, да так, что уже после этой встречи мне очень хотелось её увидеть вновь, и я стал искать для этого любую возможность.

Учились мы с ней в разных группах и могли встретиться только на лекциях, которые читались для всего курса. В этих случаях я ожидал пока все студенты рассядутся по своим местам и искал возможность сесть на свободное место рядом с ней. Иногда у нас были общие занятия в лабораториях химии или химтехконтроля. В каждом таком случае она находила нужным напомнить мне о своей подруге и предлагала варианты встречи с ней. Когда мне стало ясно, что у нее нет никакого желания встретиться со мной без её подруги, я согласился на встречу втроём, на что она охотно пошла.

Мы вместе ходили в кино, в театр, просто гуляли по городу и Анечка всегда искала повод оставить нас вдвоём, с подругой.

Шура Кимлат была умной, начитанной и очень способной студенткой. Начиная с первого курса она значилась в числе немногих круглых отличников на нашем курсе. С ней было интересно поговорить на темы искусства, литературы, театра, кино или по общественно-политической тематике. Она была большим эрудитом и в любой области знаний чувствовала себя уверенно. Шура вела себя скромно, но с достоинством. Внешне она выглядела очень симпатичной девушкой и, если бы не большой нос, её можно было бы назвать красавицей. Наверное, можно было только гордиться тем, что такая девушка, как Шура, проявляла ко мне интерес и добивалась моей дружбы. Я признавал это, но душа почему-то тянулась к её подруге и даже когда мы оставались одни я, вопреки разуму и такту, говорил больше не о наших с ней отношениях или чувствах, а о каких-то особенностях, привычках или желаниях Анечки.

Нужно отдать должное Шуре. Когда она поняла, что меня больше влечёт не к ней, а к подруге, и нет надежд на изменения в наших отношениях, она сделала всё возможное для укрепления и развития моей дружбы с Анечкой.

Мы ещё какое-то время гуляли втроём, но теперь уже Шура искала случай оставить нас одних, когда для этого возникал любой повод или возможность. Постепенно наши отношения с Анечкой всё более крепли, но ещё долго оставались чисто дружескими. Она вела себя со мной по-приятельски, не давая никакого повода для проявления каких-либо иных чувств.

Мои друзья Коля, Рома и Костя прозвали её «Не тгогай» и это прозвище в кругу моих друзей вытеснило её настоящее имя.

Прошло несколько месяцев, а в наших отношениях всё оставалось по-прежнему. У меня сложилось впечатление, что у Анечки нет и вряд ли возникнут какие-то чувства ко мне и поэтому появились сомнения, следует ли нам вообще продолжать какие-то отношения.

В начале нового учебного года Анечка поменяла квартиру и поселилась у друзей своих родителей Яши и Лизы Этингф, которых она называла дядей Яшей и тётей Лизой. Они дружили семьями с давних довоенных времён и их дружеские отношения были больше похожими на родственные. К Анечке они относились тепло и искренне. Жили они далеко от центра в районе станции Одесса-Товарная, откуда трамваи ходили нерегулярно и мне поэтому нередко приходилось возвращаться пешком в своё общежитие, что было совсем небезопасно, особенно поздно вечером.

Дядя Яша работал в отделе снабжения одесского отделения железной дороги. Это обеспечивало семье довольно приличную жизнь и право на почти бесплатное проживание в ведомственной квартире. Тётя Лиза нигде не работала, занималась только домашним хозяйством, а в свободное от работы время - женскими сплетнями. У них был один почти взрослый сын Рома и тот какой-то непутёвый. На учебу ему ума не доставало, а работать - лень мешала.

Может быть поэтому тётя Лиза весь избыток материнской любви и свободного времени отдавала Анечке, которую называла доцей. Женщина она была практичная и к будущему своей «племянницы» была совсем безразлична. Ей она давно подобрала подходящего жениха из числа близких родственников, который смог бы обеспечить ей безбедную жизнь и крепкое еврейское потомство.

По оценке тёти Лизы я для этой цели совсем не подходил по многим показателям.

-Что это за мужчина, - говорила тётя Лиза, - маленький, шупленький, да ещё и калека.

Опытным глазом она быстро нашла во мне ещё один крупный недостаток, который полностью исключал возможность считать меня кандидатом в женихи для приличной еврейской девушки.

-Что это за еврей, который не умеет делать хейндерлех, - возмущалась она.

Это выражение я слышал часто не только от неё, но и от дяди Яши. Под ним они понимали всякого рода комбинации и сделки, которые приносят доход и без которых, по их глубокому убеждению, невозможно обеспечить приличную жизнь.

-Пусть мои враги живут только на одной зарплате, - говорил дядя Яша.

По мнению тёти Лизы я не подходил в кавалеры для Анечки и по некоторым другим причинам, которые она держала в уме и о которых предпочитала вслух не высказываться. Вообще в этом доме меня забраковали с первого взгляда и по всем статьям.

Правда была у меня здесь и союзница. Ею была младшая сестра Ани - Полечка, которая недавно приехала из Днепродзержинска, где жили родители, которые должны были вскоре тоже приехать на постоянное место жительства в Одессу.

Полечка жила с сестрой в одной комнате и училась тогда в седьмом классе. Не знаю, чем я мог понравиться ей. Может быть симпатию ко мне навеяла романтика из книг и фильмов о недавней войне, а может быть причиной тому были мои способности в математике, которых ей не доставало и которыми я старался щедро с ней поделиться, восполняя её пробелы в этой области. А может она со своей детской непосредственностью сумела разглядеть во мне что-то доброе, чего не могли узреть тётя Лиза и дядя Яша. Как бы там ни было, но в том доме я был не совсем одинок и моего прихода всегда по-хорошему ждал ещё один человек. Пусть это был ещё ребёнок, но мне было приятно это сознавать.

Самым весомым кандидатом в женихи и в будущие мужа для Анечки был молодой юрист Миша из Харькова - младший брат дяди Яши, с которым тётя Лиза давно собиралась познакомить Анечку. Она не скрывала своих планов ни от кого и несколько раз в моём присутствии заводила об этом разговор.

Как-то, перед Новым годом, Лиза пригласила Мишу в гости повидаться, преследуя при этом главную цель - познакомить его с Анечкой. Как мне потом рассказывала Анечка, в дальнейшем Миша делал всё возможное, чтобы произвести нужное впечатление, а Лиза старалась создать необходимые условия для их общения и наслаждений. Был создан надлежащий уют в квартире, готовились изысканные обеды, закупили билеты в филармонию и Оперный театр, но все её старания оказались напрасными. Жених не произвёл должного впечатления.

Были и другие кандидаты в женихи для Анечки. Она не скрывала своей переписки со своим давним другом из Днепродзержинска Сергеем и неким Виктором из Воронежа, который всё ещё не демобилизовался из армии после войны, но не скрывал своих пылких чувств и серьёзных намерений.

Всё это и отсутствие заметного прогресса в наших чисто дружеских отношениях привели меня к мысли, что шансов на успех в столь серьёзной конкурентной борьбе у меня слишком мало и что мне нужно оставить Анечку в покое, чтобы не стать для неё помехой в личной жизни.

Мысль эта постепенно окрепла и переросла в решение. Тому способствовал откровенный разговор с Анечкой в свободной от занятий аудитории института, куда мы забрели якобы для подготовки к последнему экзамену по политэкономии. Вместо выяснения особенностей марксистской теории рыночных отношений, мы долго и тщательно пытались выяснить свои отношения в результате чего не достигли успеха ни в том, ни в другом. После этого разговора Анечка подарила мне свою фотографию которую надписала: «Пусть это будет памятью того, что больше не повторится».

Таким образом она, вероятно, хотела подчеркнуть, что наши отношения могут продолжаться только на чисто дружеской основе и что она не разделяет иных моих чувств к ней, кроме приятельских.

Несколько ночей раздумий привели к выводу, что дружеский статус наших отношений для меня неприемлем, чреват душевными страданиями и унижает моё мужское достоинство.

В один из летних погожих дней, в канун экзамена по политэкономии, я решил объявить Анечке своё решение. На Тираспольской площади, в ожидании трамвая на товарную станцию, состоялся разговор, который остался в памяти на всю жизнь. Он не получился таким, каким созревал в мыслях в течении последних дней. Вместо короткого объяснения он длился несколько часов.

Один за другим уходили с конечной остановки трамваи на Одессу-Товарную, а мы всё не могли закончить решающий диалог, которому следовало определить характер наших будущих отношений.

В моём представлении они должны были ограничиваться приветствиями при встрече, формальным интересом к делам и здоровью, пожеланиями успеха в очередном экзамене. Она же с этим не соглашалась, считая, что мы можем и должны оставаться друзьями и приводила много доводов в защиту своей позиции.

Так и не достигнув соглашения, расстались мы тогда на Тираспольской площади, когда трамвай умчал Анечку в направлении товарной станции, а я ушёл в противоположную сторону на улицу Горького, в своё мужское общежитие.

Впервые за многие месяцы нашей дружбы я не проводил её домой, желая этим подчеркнуть состоявшийся разрыв.

77

До производственной практики оставалось несколько недель и, воспользовавшись горячей путёвкой в одесский санаторий «Коммунарка», я на следующий же день после последнего экзамена отправился на шестнадцатую станцию «Большого Фонтана».

Как оказалось, это был тот же санаторий, в котором я лечился от бронхиальной астмы в далёком 1936-ом году. Знакомые очертания спальных корпусов, столовой, клуба и санаторного парка навеяли горькие воспоминания о трудном детстве, милых и добрых братьях Сёме и Зюне, которые тогда привезли меня сюда, так заботливо за мной ухаживали и так рано ушли из жизни.

Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей о прошлом и невесёлого настроения, вызванного разрывом с Анечкой, всё свободное время я проводил у моря, где смог убедиться в его поистине волшебных целебных свойствах.

На этот раз уже знакомый мне санаторий не произвёл такого впечатления, как в далёком детстве. Может быть потому, что время то было более трудным, а может потому, что всё это было тогда впервые в жизни, а сейчас я очень скучал за Анечкой, но было мне в санатории довольно грустно, с нетерпением ждал я окончания курса лечения и возможности возвращения домой.

Несколько раз меня навещали мои друзья - Коля, Рома и Костя. Они рассказывали о делах в институте и жизни в общежитии, передавали привет от Анечки.

Когда были выполнены все назначения врачей и до срока путёвки оставалось несколько дней, я попросил досрочной выписки и с радостью покинул санаторий.

На следующий же день взялся за общественные дела в профкоме, где накопилось много работы, которая поглотила всё свободное время.

Когда впервые после месячного перерыва мы случайно встретились с Анечкой в вестибюле института, я поразился нескрываемой радости, которая исходила от неё. Она засыпала меня вопросами, как это делают близкие друг другу люди, потому что долго не виделись и очень соскучились. Мы поднялись в профком и наша беседа продолжалась не меньше, чем тот последний разговор на Тираспольской площади, который должен был прервать наши отношения. О нём никто из нас и не вспомнил, как будто его и вовсе не было.

Не хотелось расходиться и мы побрели по улице. Стоял жаркий день, какие бывают в Одессе в конце июня. Солнце стояло в зените и жгло невыносимо. Нас потянуло на Греческую площадь, где можно было посидеть под тентом за порцией мороженого и попить холодной зельцеровской воды. Там, как и на улицах города, было мало людей. Все, кто свободен от работы, в такую жару покидают город и наслаждаются прелестью моря на многочисленных одесских пляжах. Нам же хотелось побыть именно здесь наедине. Мы долго сидели за столиком, ели мороженное, запивали водичкой и говорили...

Темы разговора менялись и касались различных аспектов жизни. Вспоминали подробности последней сессии, говорили о предстоящей практике и о многом другом, но ни разу не вспомнили ту размолвку и всё, что было с ней связано. Не выясняли мы также своих отношений и не выражали чувств, но без слов было понятно, что мы не можем больше так долго быть врозь.

Долго бродили мы ещё в тот день по безлюдным улицам и переулкам, любовались фонтанами на Дерибасовской и Преображенской улицах, пока не добрались до той же Тираспольской площади, где сели в трамвай, идущий на Ближние Мельницы и Одессу-Товарную.

Прощаясь в тот вечер с Анечкой, я понял, что не можем жить друг без друга, что оба стремимся к большей близости, что отношения наши перешли в другую фазу, когда нужно принимать серьёзные решения о будущей жизни.

78

В памятный для меня 1947-ой год в Одессе развернулись большие работы по восстановлению разрушенных домов, мостов и дорог, памятников культуры и архитектуры, благоустройству города. К ним привлекались и студенты. Для этого использовали выходные дни, каникулы и другое свободное от учёбы время. Назначались субботники и воскресники. Должен сказать, что мы охотно отзывались на такие призывы и работали на стройках активно и добросовестно.

Помнится один из таких субботников в разрушенном от бомбёжки здании Одесского почтамта, расположенного недалеко от нашего института и Нового базара. На одной из сохранившихся стен чёрной краской было начертано: «Здесь до войны было одно из красивейших зданий Одессы. Мы восстановим его, как и весь свой любимый город».

Одесситы всегда были большими патриотами своего города и гордились его достопримечательностями. Сейчас, когда Одесса вставала из руин, они самоотверженно трудились на многих объектах строительства и благоустройства. Вместе с коренными одесситами были и мы, студенты. Работали нередко с утра и до позднего вечера, приходили домой уставшими, но довольными своим участием в благородном деле по возрождению красавицы-Одессы.

Хоть и много и хорошо строили тогда одесситы, но город подымался из руин медленно. Всё ещё не стёртыми были следы пожаров и разрухи - мрачные отметины свершившейся трагедии.

И всё же постепенно ощущалась поступь мирной жизни. Ежегодно, а порой и по несколько раз в году, снижались цены на продовольствие и промтовары. Пусть эти снижения были совсем незначительными, касались не самых нужных товаров и носили больше пропагандистский характер, но тем не менее было приятно видеть красочные плакаты в витринах гастрономов и универмагов с надписью: «Цены вновь снижены!».

Прогулки по Одессе доставляли нам много радости и удовольствия. Город хорошел и благоустраивался. Не только в центре, но и на окраинах возникали новые скверы, фонтаны, цветники.

На праздничную демонстрацию в том году вышла, казалось, вся Одесса. Главный первомайский призыв «Мир, Труд, Май!» звучал теперь не формально, а отражал душевные чувства и настроение горожан.

Накануне праздника прошёл слух о том, что на трибуне центральной площади будет Жуков - прославленный полководец, герой минувшей войны. Как не пойти на демонстрацию, если там можно будет увидеть Жукова?

И мы пошли в полном составе нашего общежития. На демонстрации был весь наш институт, весь город! Мы видели на трибуне знакомую по портретам фигуру маршала и всё удивлялись, чем наш город заслужил такую честь.

Позже мы узнали, что Сталин не пожелал больше делить славу победы над фашизмом с Жуковым, отстранил его от всех занимаемых постов и сослал в Одессу в качестве командующего войсками Одесского Военного Округа. Сталин считал Одессу местом ссылки Жукова, а Одесса гордилась тем, что удостоена такой великой чести.

Воле и желанию вождя было, как всегда, подчинено всё. Его капризы были непредсказуемы и можно было не удивляться никакому его решению, даже самому чудовищному. Что стоила для него судьба человека, даже такого гениального и выдающегося, как Жуков? Стоило ему только пожелать и миллионы ни в чём не повинных людей уничтожались, как «враги народа». Целые народы, как чеченский, ингушский, крымские татары и другие ссылались в Среднюю Азию, Сибирь или Казахстан, где тысячами погибали от голода, холода и болезней.

Жестокость Сталина не знала предела и не имела границ.

И всё же настроение у нас в тот май 1947-го года было радостным и праздничным. Всем хотелось сполна ощутить прелесть мира, тепла, солнца.

79

Александр Фёдорович Фан-Юнг - декан нашего факультета был очень внимателен ко мне. Он постоянно интересовался не только моими учебными делами, чему можно было и не удивляться, но и другими житейскими проблемами, которые могли возникнуть у одинокого студента. При всей своей занятости он находил время для душевного разговора, а нередко и оказывал немалую помощь в решении различных вопросов, не относящихся к его служебным обязанностям.

Как-то он подробно расспросил меня относительно последствий моих ранений, особенно тех, что связаны с черепной травмой, вызвавшей частичную потерю зрения.

Фан-Юнг предложил свою помощь в медицинском обследовании у известных специалистов, с которыми он был связан по работе. Как не отказывался я, убеждая его в отсутствии такой необходимости, он всё же настоял на своём и повёл меня на квартиру к доценту Скородинской - ближайшему помощнику известного всей стране академика Филатова, впервые осуществившего пересадку роговицы глаза и применившего биостимуляторы для лечения многих заболеваний.

Меня приняла уже немолодая, очень симпатичная женщина, которая, после тщательной проверки, решила показать меня Филатову и велела явиться к нему на квартиру в следующую среду, к часу дня.

Об академике Владимире Петровиче Филатове рассказывали всякие небылицы. Он был известен не только на Украине и во всей нашей стране, но и во всём мире, как гениальный учёный и великий практик, способный исцелить незрячих больных в безнадежных ситуациях. По специальному правительственному решению в Одессе, на Французском бульваре был построен огромный лечебно-исследовательский комплекс, известный в стране, как научно-исследовательский институт глазных болезней имени академика В. П. Филатова.

Попасть на приём к Филатову было недоступно не только бедному студенту, но и богатым и именитым мира сего. Люди ожидали такой возможности месяцами, а порой и годами. Только ему, в виде особого исключения, было позволено принимать больных у себя дома и получать за это определённый гонорар.

Александр Фёдорович предупредил меня, что за приём Филатовым дома нужно при регистрации уплатить триста рублей. В то время это была солидная сумма, превышающая нашу месячную стипендию. Зная мои финансовые возможности, он предложил свою помощь, от чего я наотрез отказался. Мои друзья тоже готовы были мне помочь, но я отклонил и их помощь, ибо располагал такими сбережениями на «чёрный день», и не хотелось залезать в долг.

В назначенный Скородинской день и час я подымался на второй этаж старинного здания на Приморском бульваре. Лестницу и вестибюль украшали мраморные скульптуры, украшенные позолотой, стены и потолок сохранили свежесть красок недавно реставрированных картин. Квартира Филатова занимала весь подъезд двухэтажного дома. На просторной лестничной площадке второго этажа за письменным столом сидела уже седая женщина в накрахмаленном белом халате и регистрировала пациентов, назначенных на приём. Подал записку Скородинской, конверт с гонораром и заполнив соответствующую анкету, я уселся в кресле в ожидании приёма. Вскоре молоденькая сестричка пригласила в переднюю, где уже сидело несколько больных в ожидании осмотра ассистентом. Из их разговоров я понял, что ассистентом профессора сегодня является уже знакомая мне Скородинская и что она недавно стала законной женой Филатова.

Пациенты также рассказывали, что профессор продолжает удивлять Одессу своей щедростью, одаривая различные организации и заведения огромными, по нашим понятиям, суммами денег. Особенно много внимания он уделял детским учреждениям и церкви.

Когда дошла моя очередь, я оказался в просторной гостиной, уставленной шкафами, креслами и приборами. Скородинская с помощью различных приспособлений и приборов долго и тщательно изучала мой уцелевший глаз, измеряла остроту зрения, безрезультатно пыталась повысить её с помощью линз, ощупала осколки, свободно перемещающиеся вокруг глаза под воздействием её пальцев, определила глазное давление и только тогда пригласила профессора.

Из соседней комнаты твёрдой походкой вышел высокий, красивый мужчина с белой бородкой и такого же цвета усами, казавшийся намного моложе своего настоящего возраста. Изучив бумаги, подготовленные Скородинской, внимательно осмотрев глаз и ранения вокруг него, он велел направить меня в стационар своего института для удаления осколков и тщательного обследования. Он ещё долго интересовался обстоятельствами моего ранения, лечебными процедурами, выполненными в госпиталях, самочувствием в различных ситуациях, и о чём то поговорил со Скородинской, употребляя при этом незнакомые мне латинские термины. Когда осмотр был закончен и профессор, попрощавшись, покинул гостиную, Скородинская проводила меня на лестничную площадку и, сославшись на указание профессора, велела медрегистратору возратить мне гонорар. Она тепло попрощалась и назначила время приёма в институтской клинике.

На всю оставшуюся жизнь остался в моей памяти Владимир Петрович Филатов - выдающийся учёный и целитель, оказавшийся к тому же ещё добрым и чутким человеком.

80

На летнюю производственную практику после четвёртого курса меня направили в город Тирасполь. Эта практика имела свои особенности, связанные со сбором материалов для дипломного проектирования. Мне и Боре Шнайдеру - студенту-отличнику нашего курса, задолго до выдачи заданий на дипломное проектирование другим студентам, поручили разработку проекта строительства нового консервного завода в городе Калораше - центре богатого фруктово-виноградного района Молдавии. Рабочий проект этого завода уже разрабатывался проектным институтом «Южпищепромпроект» в Одессе, но руководство треста «Молдконсервпром» обратилось в наш институт с просьбой включить эту тему в перечень реальных проектов на дипломное проектирование студентам с тем, чтобы иметь возможность сопоставления двух проектов для максимального использования положительных особенностей и исключения возможных ошибок и недостатков.

Нашим руководителем при проектировании был декан факультета Фан-Юнг, который считался одним из лучших специалистов в стране в этой области и являлся автором ряда учебников по консервированию плодов и овощей.

Александр Фёдорович очень ответственно отнёсся к этой работе и сумел своё отношение к ней передать нам. Мы привезли с собой в Тирасполь много разработанных Фан-Юнгом бланков, таблиц и диаграмм, для заполнения которых требовалось собрать огромное количество показателей, цифр и других материалов, которые могли понадобиться при проектировании. Среди них были сведения о сроках созревания и урожайности всех плодов, овощей и винограда, радиусах их доставки на будущий завод, погодных условиях и преобладающем направлении ветров в Калораше, состоянии шоссейных и железных дорог в районе, наличии свободной рабочей силы и многое, многое другое. Все это требовало немало времени и большого усердия.

Несмотря на то, что мой напарник отличался необычной работоспособностью и сам я был не из ленивого десятка, нам было нелегко собрать необходимый материал. Свободного времени оставалось совсем немного и поэтому не возникало проблем с его использованием.

Наше отношение к работе и эрудиция не остались незамеченными руководителями завода имени Первого Мая и треста, и к концу практики мы оба получили приглашение на работу в Тирасполь после окончания института. Как потом выяснилось, такое приглашения на вакантную должность получили очень немногие студенты нашего курса.

Успешному выполнению задания по сбору требуемых материалов способствовали сносные жилищно-бытовые условия, которые нам были созданы в заводском общежитии, отсутствие проблем с питанием и доброе отношение к нам на заводе и в тресте.

Когда по возвращению в институт мы отчитались перед Фан-Юнгом, он остался очень доволен, похвалил за усердие и обещал поддержку и помощь в ходе выполнения проекта. В этом мы вскоре смогли убедиться.

Недалеко от института, возле трамвайной остановки был киоск «Союзпечати». В нём можно было купить свежие газеты, журналы, почтовые марки и конверты, различные значки, художественные открытки и другие товары повседневного спроса. В этом киоске работал приветливый, готовый к услугам старый еврей, лицо которого показалось мне знакомым с первого взгляда. Я всё старался вспомнить, где я раньше видел этого человека, но никак не мог.

Старик не подавал признаков знакомства со мной, но был всегда очень внимателен и вежлив. Я стал его постоянным покупателем и он оставлял мне дефицитные издания, которые быстро раскупались. Такими тогда были журналы «Огонёк» и «Крокодил», газеты «Комсомольская Правда» и «Известия», еженедельник «Неделя» и некоторые другие, которые я мог теперь купить в любое время.

Когда я как-то попытался оставить старику сдачу в качестве чаевых за хорошее обслуживание, он категорически отказался, заявив, что от студентов чаевые не берёт.

Иногда я задерживался на некоторое время у киоска, чтобы послушать свежие новости, которые старик черпал из газет и других одесских источников информации. Нередко он заранее сообщал о предстоящих изменениях в ценах и о том, что где «дают» в магазинах. Тогда многие товары постоянно отсутствовали в продаже и их можно было «достать» только по знакомству, блату или за взятки. Когда такие товары изредка «выбрасывали» в открытую торговлю за ними, в лучшем случае, выстраивались длинные очереди, а в худшем - устраивались давки, которые были совсем не безопасными и дефицитные товары доставались более сильным и нахальным. После того, как в каком-то магазине «давали» дефицит, его можно было купить на «чёрном» рынке по спекулятивным ценам. Одесситы шутили, что в Одессе в принципе есть всё, подразумевая под «принципом» «чёрный рынок».

Я нередко пользовался информацией старика, чтобы купить по госцене приличную тенниску, летнюю обувь, туалетное мыло или таранку, но для этого я должен был брать с собой Костю Высоту, который был почти на полметра выше меня, имел крепкие плечи и сильные локти. Когда Косте в давке удавалось что-нибудь «достать», он делился со мной во всех случаях, когда товар поддавался делению. Важные новости старик рассказывал мне за чашкой чая или кофе, которые готовил тут-же на электроплитке. Иногда он давал мне на денёк почитать журнал «Советский Союз» или другие дорогие издания, которые я своевременно ему возвращал и за которые он денег с меня не брал.

Старик всё больше мне нравился и мне хотелось побольше о нём узнать. На одном из чаепитий в газетном киоске, когда на улице был дождь и было мало покупателей, я попросил его рассказать немного о себе. Какого же было моё удивление, когда он сказал мне, что до войны имел небольшой ларёк с зельтцерской водой.

Как только он произнёс эти слова, я в миг понял, почему так знакомо мне его лицо и воскликнул:

-Вы Янкель Туллер из Красилова! Вы отец Нюни Туллера - лучшего друга моего брата Зюни!

Старик прервал рассказ и долго молча разглядывал меня. Только теперь он догадался с кем имеет дело и произнёс:

-Я совсем тебя не узнал, Нюня, тебя так изуродовали, что родная мать не могла бы тебя узнать.

Он рассказал о себе, своей семье и о сыне Нюне, который чудом уцелел на войне и живёт сейчас в Одессе, недалеко от нашего института. Слёзы катились по его морщинистому лицу, а он всё говорил, говорил...

Дождь прошёл и к киоску подходило всё больше покупателей. Янкель закончил свой рассказ и пригласил меня в гости на ближайшее воскресенье.

В конце лета в Одессу приехали родители Анечки. Они сняли половину комнаты в коммунальной квартире на Малой Арнаутской. Вторую половину этой комнаты занимала одинокая хозяйка Дина, которая подрабатывала, делая маникюр.

Комнату разгородили верёвкой, к которой прикрепили несколько простыней, образовавших полотняную перегородку.

Жили они тогда довольно бедно, нигде не работали и их денежных запасов хватило только на оплату половины комнаты, площадь которой была примерно 15-16 метров. Здесь разместилась семья из четырёх человек.

Когда Анечка впервые привела меня к себе домой, я поразился тесноте и бедности, в которых они жили. У хозяйки Дины в то время были клиенты, ожидавшие своей очереди на маникюр, и приходилось разговаривать полушепотом.

Анечка представила меня родителям, как своего друга по институту и мы пили чай с картофельными оладьями. Мать-Рета была ещё довольно интересной молодой женщиной, низкого роста с красивой копной черных волос, аккуратно уложенных волнами на сторону, с умными тёмными глазами. Отец-Абрам выглядел значительно старше её, хоть на самом деле был даже на несколько лет моложе. Лысина, охватившая

большую часть головы, седина на висках и затылке, и суровое выражение лица делали его старше своих лет, придавали солидность и важность. По разговору он казался высоко образованным человеком. Как потом выяснилось, он закончил только несколько классов начальной школы.

Семья Анечки почти всю войну прожила в эвакуации, в далёкой Киргизии. Отца мобилизовали в конце 1941-го, но через несколько месяцев его комиссовали по болезни и это в большой мере способствовало выживанию семьи.

В отличие от мамы Реты, в облике, поведении и поступках которой чувствовались доброта, тактичность и вежливость, папа Абрам был довольно резким и строгим человеком, в котором нередко проявлялись нескрываемая грубость и желание повелевать.

Я почувствовал себя очень неуютно на этой первой встрече с родителями Анечки и, как мне показалось, не произвёл нужного впечатления. Может быть на это повлияли излишняя стеснительность и молчаливость, может быть сказались состояние здоровья и изуродованное шрамами лицо, а может тому способствовало имущественное положение, которое я не пытался приукрашивать, но после этой встречи у меня не было никаких сомнений в том, что родители были от меня не в восторге. Я затем долгое время старался реже заходить в дом Анечки и, провожая её по вечерам, прощался с ней у подъезда.

Зато я вскоре приобрёл надёжного союзника в семье Крепсов в лице старшего брата Анечки - Бориса. Он был самым старшим из троих детей и всю войну провёл на фронте, куда был мобилизован в начале войны, после окончания медучилища. Его медицинское образование позволило ему определиться во фронтовой госпиталь с которым он познал горькие месяцы поражений и бегства. Конец же войны, встретил в 1945-ом году в Берлине, где и закончил свой военный поход.

Как рассказывал Боря, благополучному прохождению его военной службы (за всю войну не был ни разу серьёзно ранен), он во многом обязан своему шефу - военврачу Гавриилу Бойко, начальнику фронтового госпиталя, который видел в нём потенциального жениха для своей любимой племянницы Люсеньки Гончарук, работавшей медсестрой в том же госпитале.

Люся была очень красива и не могла не понравиться Боре. Она пользовалась большим вниманием мужской половины госпиталя, но отдавала предпочтение Боре - молодому, красивому и умному парню, да ещё хорошему и способному работнику.

Бойко всячески способствовал их дружбе и в конце войны они официально зарегистрировали свой брак в Берлине, в армейских условиях по принятому в то время порядку. Это был бесспорно брак по любви, но во многом он сочетался и с расчётом.

Гавриил Харитонович Бойко ещё до войны защитил диссертацию на звание кандидата медицинских наук, занимал должность доцента кафедры терапии в Одесском мединституте и был членом партийного бюро. Он обещал Боре помощь при поступлении в институт, где Люся уже была студенткой второго курса. Он также обещал молодожёнам комнату в его пятикомнатной квартире в центре города и помог им приобрести много ценных вещей в Германии, которые постепенно отгружались в Одессу.

С помощью Бойко Боря и Люся смогли раньше многих других в их госпитале демобилизоваться, несмотря на ещё большую потребность в медработниках в военных госпиталях в первые послевоенные годы. Уже в 1946-ом году они получили обещанную комнату на углу улиц Ленина и Воровского, и приступили к учёбе в мединституте.

Боря понимал, что в их браке с Люсей есть и негативная сторона - отсутствие национальной общности, но любовь к симпатичной молодой украинке и удачное решение многих важных вопросов на старте их семейной жизни, затмили этот недостаток и на первых порах своего супружества он вроде и не чувствовал его.

Боря понравился мне с первой же встречи и, как вскоре выяснилось, я тоже произвёл на него приятное впечатление. Я это почувствовал не только по его отношению к себе, но и по отношению ко мне родителей Анечки, которое с его помощью стало медленнее, но верно меняться в мою пользу.

Янкель Туллер и его престарелая жена Эстер жили в небольшой двухкомнатной квартире на улице Лейтенанта Шмидта, недалеко от вокзала.

В один из воскресных летних дней, по приглашению Туллеров, вооружившись бутылкой сухого вина и тортом «Сказка», я вышел на трамвайной оастановке у вокзальной площади и без труда нашёл нужную мне квартиру на первом этаже полуразрушенного дома. Там, кроме стариков-хозяев, был их сын Нюня, которого я легко узнал, и его жена Фира, которая была на голову выше мужа. Её я видел впервые. Мы познакомились с ней, а с Нюней расцеловались, как с родственником, с которым много лет не виделись. Последний раз мы встречались в памятном 1939-ом году, когда они приезжали с Зюней в Красилон в отпуск. В том году началась Вторая мировая война, был заключен злополучный пакт о ненападении с фашистской Германией и наши войска вошли в Польшу, которую поделили пополам с Гитлером.

Нюня мало изменился за это время, хоть и воевал всю войну и получил несколько тяжёлых ранений. Он носил такой же берет, как и до войны, и остался таким же швицером, как и тогда. Закончив институт связи, работал на Одесской телеграфной станции, где пользовался большим уважением и был помещён на Доску Почёта.

Я долго допрашивал его о Зюне, но ему было известно о нём ровно столько, сколько и мне. Он распрощался с ним в первый день войны и больше о нём ничего не слышал. Единственное, что удалось узнать, что в педагогическом институте, где Зюня учился, создан комитет по подготовке к десятилетию окончания института студентами выпуска довоенного 1940-го года. Мы договорились разыскать членов этого комитета для поиска какой-то информации о Зюне.

Хозяйка дома Эстер была на несколько лет старше Янкеля, страдала болезнью ног и еле передвигалась по квартире, но ещё хозяйничала на кухне. Она приготовила типично еврейский обед с бульоном и курицей с фасолью, угощала нас чаем с лимоном и домашним вишнёвым вареньем. За обедом Туллеры долго рассказывали о жизни в эвакуации, о тревоге за своего единственного сына, о голоде и болезнях, что перенесли за эти годы.

Янкель рассказал о ком знал из жителей Красилова, уцелевших в годы войны. Их оказалось не больше десятка. О Фишбергах и Зильбершмитах я и сам узнал после недавней поездки на Родину, а вот о Гольцфарбах мне ничего раньше не было известно. Из всей большой их семьи в живых осталось только два сына, которые пришли с войны инвалидами. Старший жил в Баку, где учился на юридическом факультете, а младший, Ростик, что был со мной в одной школе и лучше всех играл в шахматы, учился теперь здесь, в Одессе, в институте иностранных языков и жил в общежитии, недалеко от нашего института. Он был тяжело ранен в ноги и ходил на костылях. Я рад был узнать о Ростике и решил немедленно его разыскать.

А ещё больше обрадовала меня весть о моём двоюродном брате Изе Моверман и его сестре Мане. Дед Янкель показал мне письмо от Изи из Берлина, в котором он сообщал, что его демобилизуют в июле и он хотел бы поступить в Одесский университет. Изя писал, что Маня в начале войны эвакуировалась в Ашхабад, закончила там университет и работает учителем истории в одной из школ города. Он только недавно разыскал её с помощью Центрального справочного бюро, что тогда находилось в Бугуруслане, Чкаловской области. Они мечтали поскорее встретиться и были бы очень благодарны, если бы Туллеры разрешили им, хоть на короткое время, остановиться у них. Янкель дал согласие и ждал их в начале июля.

До позднего вечера продолжалась встреча с этими добрыми и отзывчивыми людьми - моими земляками из Красилова.

84

Ростика Гольцфарба в общежитии Иняза знали все. Меня провели в Красный уголок, где он склонился над шахматной доской. Ростик не сразу меня узнал, но когда, наконец, вспомнил, был очень рад встрече. Мы долго сидели в комнате общежития и вспоминали Красилов, общих друзей, школу. Мы учились вместе ещё в еврейской школе, но он был на год старше меня и успел закончить не четыре класса, как я, а шесть. Первые четыре года он тоже учился у Мура и знал о нём намного больше, чем я. Поведал он мне подробности его жизни и трагической гибели в оккупированном немцами Красилове. В сентябре 1941-го года он организовал класс для еврейских детей дошкольного возраста и учил их читать и писать на идиш. Всё это делалось нелегально и долго немцы и полиция ничего не знали о подпольной школе. Детишки учились у Мура с удовольствием и свято хранили тайну о своих занятиях. Больше месяца действовала школа Мура, пока полиция не узнали о её существовании. Они застигли его на месте «преступления», повели на допрос, откуда он уже не возвратился.

Много другого рассказал мне Ростик о наших общих знакомых, друзьях и о теперешней жизни в Красилове, где он побывал недавно во время летних каникул. Там вновь открыли Дом культуры, разрушенный во время войны, где по вечерам собирается местная молодёжь и лётчики с военного аэродрома. Многие Красиловские девушки встречаются с военными и затем выходят замуж за них. Эта информация серьёзно встревожила меня, так как в Красилове тогда жила Полечка, которой уже исполнилось восемнадцать. Как потом оказалось, тревога эта была не напрасной.

Самым любимым занятием для Ростика по-прежнему были шахматы, он не упускал случая сыграть партию с новым партнёром. Я не стал исключением из этого правила и он продемонстрировал мне свой возросший уровень игры, выиграв у меня две партии подряд.

В войну Ростик служил на флоте, но о службе морской рассказывал неохотно. Был он рядовым матросом и терпел много издевательств от своих дружков по службе из-за своего еврейского происхождения.

Жил он довольно бедно и носил до сих пор всё ту же морскую форму, в которой его демобилизовали осенью прошлого года и которая к тому времени была уже изрядно поношена.

Мы оба были рады встрече и с тех пор у меня стало одним другом больше. Коле, Ромке и Косте мой школьный товарищ Ростик пришёлся по душе, они его почему-то прозвали Бык и только так называли. Может они ему такое имя дали из-за его большого крючковатого носа, что по английски пишется BEAK, а

звучит, как БИИК, может они таким образом посмеивались над его плохим английским произношением, что было его главной проблемой в институте иностранных языков, где он избрал английский своей будущей специальностью, может им необычное имя Ростик не очень понравилось. Как бы там ни было, но иначе как Бык его никто из нас теперь не называл, и он на это совсем не обижался. Ему это даже нравилось.

Мои друзья тоже понравились Ростик и теперь всё свободное от учёбы время он проводил с нами. Он часто бывал у нас в общежитии, ходил с нами в кино, на пляж, в клуб института, где даже стал участником нашей самодеятельности. Полюбил нашу «фирменную» мамалыгу, которую мы ежедневно готовили на ужин, и вскоре научился готовить её не хуже нас.

Наша дружба с Ростиком продолжалась до окончания института. Он был добрым, честным и очень общительным парнем. Когда я уезжал из Одессы после окончания института он был уже на четвёртом курсе, а через год его направили учителем английского языка в сельскую школу Одесской области и я, к сожалению, потерял с ним связь.

85

В институте Филатова я находился всего одну неделю. Там мне удалили мелкие осколки из области глаза, представлявшие опасность для зрения, назначили медикаментозное лечение и направили в Одесский институт челюстно-лицевой хирургии для пластических операций в области незрячего глаза с целью его протезирования и по восстановлению отсутствующей верхней части носа. В направлении на имя профессора Франкенберга указывалось, что после пластической лицевой хирургии будет продолжено лечение в институте им. Филатова.

Борис Ефимович Франкенберг был известен до войны, как один из лучших хирургов Одессы. Он выполнял сложные хирургические операции на внутренних органах и конечностях и его знали далеко за пределами города. В годы войны, когда многие фронтовые ранения требовали пластической хирургии, он стал выполнять такие операции и достиг в этом совершенства. Об искусстве Франкенберга писали союзные и зарубежные журналы и газеты. В Одессу для выполнения пластических операций приезжали люди со всей страны, которые дожидались своей очереди многие месяцы.

В связи с большой потребностью в таких операциях в конце войны, в центре Одессы на улице Ленина была открыта челюстно-лицевая клиника Минздрава Украины. Сюда направлялись раненые с ожогами, изуродованными лицами и челюстями, без носа, ушей, глаз и здесь творили чудеса. Конечно, прежний вид при таких ранениях полностью восстановить было невозможно, но в большинстве случаев многое удавалось сделать, а главное - создавалась возможность для протезирования челюстей, глаз и других органов.

Технология лицевой пластической хирургии была тогда довольно сложной и длительной. Обычно такие операции были многоэтапными и для их выполнения требовались месяцы, а порой и годы. Выполнял большинство операций сам Франкенберг с помощью ассистента, доцента Васильевой. Если в ходе операции главную роль играл профессор, то в послеоперационном лечении и уходе незаменимой была Васильева - врач от Бога и прекрасной души человек.

Эти замечательные хирурги выполнили двенадцать операций на моём лице, использовав кожу со лба и хрящи с грудной клетки. Всё это делалось при местной анестезии и было очень болезненно. Особенно сильные боли я испытывал в послеоперационные периоды.

Почти ежедневно меня навещали друзья. Несмотря на мои запреты, приходила Анечка и её брат Боря. Они приносили фрукты, напитки, рассказывали новости, отвлекали от боли. Больше всех в это время мне уделяла внимание Люся - жена Бориса, которая просиживала у моей кровати часами. Чувствовался богатый опыт госпитальной медсестры. Её добрая улыбка и женская ласка действовали успокоительно и обезболивающе.

Особенно трудной была операция по восстановлению носа. Осколок сорвал верхнюю его половину, прошёл через левый глаз и вышел у виска. Это было самое тяжёлое и самое опасное из всех моих ранений. Операция сводилась к образованию стебля из кожи лба, постепенного приживления его свободного конца к сохранившейся нижней части носа и последующей многоэтапной обработке периметра операционного поля.

Не скажу, что чудо-хирургам удалось полностью восстановить мой нос в его первозданном виде, но в том, что в результате их стараний получилось подобие нормального человеческого носа, нет абсолютно никакого преувеличения. Не менее сложной была операция по восстановлению глазной орбиты, которая предусматривала заполнение пустующей впадины хрящевой и мускульной тканью, образование нижнего века и протезирование. Всё это также требовало нескольких этапов в течении долгого времени и врачи были готовы довести дело до конца. Не хватило здесь терпения и сил у меня. Кроме того нужно было сдавать экзамены, готовиться к дипломному проектированию и я решил, что смогу ещё какое-то время попользоваться повязкой, прикрывающей обезображенную глазную полость, а позднее выберу время для лечения и операций в институтах Франкенберга и Филатова.

Забегая вперёд скажу, что такого времени не нашлось ни после защиты диплома, ни позднее, хоть попытки продолжить лечение были. Долго я ещё носил повязку, стесняясь обнажать пустую обезбренную глазницу. Затем мне с трудом приспособили несоответствующего размера протез, которым я пользуюсь уже более пятидесяти лет, испытывая неудобства для себя и вызывая неприятные ощущения у других.

86

Изю я встречал вместе с Туллерами. Поезд из Москвы пришёл по расписанию и ещё до его полной остановки мы догадались, что молодой солдат, стоящий у открытой двери вагона указанного в телеграмме, и есть Изя Моверман, возвращающийся на Родину из далёкой Германии. Война и годы изменили его внешний вид до неузнаваемости. Он подрос, окреп, возмужал и я не сразу признал в нём своего двоюродного брата, который приезжал к нам в Красилон в голодном 1935-ом году, когда болела наша мама. Изя признался, что и меня не узнал, чему можно было и не удивляться.

Мы расцеловались и с помощью носильщика доставили два огромных чемодана до остановки такси. Не помню почему, но таксисту мы назвали не адрес Туллеров, где должен был остановиться Изя, а адрес моего общежития, о чём мы потом не раз сожалели.

Чемоданы поместили под мою кровать, где находился и мой чемодан со всеми моими ценностями, а сами поехали к Туллерам, где нас ждал тёплый приём и вкусный обед.

До приезда сестры Изя согласился пожить со мной в общежитии, где в каникулы несколько кроватей пустовало.

Выбирать институт долго не пришлось, так как он мечтал только об истфаке и мы остановились на госуниверситете, который находился рядом с нашим институтом. Ему дали также место в общежитии, что было в том же квартале. С жильём тогда во всех институтах, в том числе и в университете, было туго, так как довоенные общежития были или разрушены, или заняты семьями, лишившимися крова, но для участников войны и инвалидов места всегда выделялись. Были у них тогда и другие льготы, в том числе и внеконкурсный приём в ВУЗы. Пользуясь этими льготами, Изя хорошо устроился в Одессе, чему был очень доволен.

До начала учебного года оставалось ещё много времени и он старался использовать его в своё удовольствие. По вечерам ходил в театр, кино, филармонию, в парк, на танцы. Парень он был молодой, красивый, неженатый и сам Бог велел ему гулять, тем более, что Одесса представляла для этого богатые возможности. Характер у Изи был мягкий, общительный и он с первых дней понравился моим друзьям, включая и Ростика. Все мы старались, как могли, помочь ему быстрее освоить нормы и условия гражданской жизни, а также в обустройстве, питании и отдыхе.

Он привёз из Германии много гражданской одежды и обуви, которые часто менял в зависимости от того куда направлялся или какая стояла погода. Мне, моим друзьям и Туллерам он сделал подарки. Кому рубашку импортную, кому тенниску, кому модные немецкие шапочки, а престарелой Эстер Туллер навесил на шею красивое янтарное ожерелье из украшений, которые привёз для сестры Мани.

Изя часто бывал у нас в институте и посещал вместе с нами многие клубные мероприятия. Скоро он стал объектом внимания многих студенток. Одну из них, Марту, высокую, красивую блондинку с типично еврейским произношением буквы «Р», он чаще других стал приглашать на вечерние прогулки, в кино или на танцы, после чего приходил уже не в своё, а наше общежитие, где не было вахтёров и можно было зайти в любое время.

В общем всё у Изи складывалось хорошо на старте гражданской жизни в Одессе и ничто не предвещало каких-нибудь серьёзных осложнений в обозримом будущем.

Всё началось с приезда Мани. Мы встретили её тепло и радушно, как и подобает встречать родную сестру и близкую родственницу после долгой разлуки. Туллеры выделили ей и Изе отдельную комнату и создали им все необходимые условия для жизни. Мои друзья проявили инициативу в создании фонда Моверманов. Несколько субботников и воскресников по разгрузке фруктов и овощей на Новом базаре позволили заработать приличную сумму, которая предназначалась для встречи и организации досуга Мани во время её нахождения в Одессе. Были предварительно закуплены билеты в Оперный театр и на вечера симфонической музыки, которую она очень любила.

10-го августа на квартире у Туллеров отметили день рождения Мани, которой в том году исполнилось 28 лет. Заказали в ресторане именной торт, вручили ей подарки. Я подарил книгу об Одессе в хорошем издании со множеством цветных фотографий достопримечательностей города. Маня была тронута нашим вниманием и по её щекам катились слёзы радости. Она сидела рядом с Изей и не сводила с него влюблённых глаз, будто была ему не сестрой, а невестой.

В своём ответном тосте, после благодарностей за внимание и добрые пожелания, Маня вдруг заявила, что не может больше жить без Изи, что из всей большой семьи Моверманов их осталось только двое и поэтому они должны быть вместе.

Я тогда не придавал этому тосту большого значения и не мог даже подумать о том, что с него начнётся путь, который вскоре приведёт их обоих к страшной трагедии.

Я заметил тогда, что следует подумать о переезде Мани в Одессу, а об отъезде Изи в Ашхабад не может быть и речи. С Украины в Туркмению бежали только во время войны, а сейчас, в мирное время, никто добровольно не меняет Одессу на Ашхабад. Маня была не согласна со мной и утверждала, что Ашхабад прекрасный город, у неё там чудесная квартира в центре, она хорошо зарабатывает в двух школах, а Туркменский госуниверситет, в котором Изя будет учиться, ни чуть не хуже Одесского.

Маня выглядела моложе своих лет и была миловидной и красивой девушкой. Из рассказов Изи я знал, что в университете она полюбила сокурсника Мишу из Киева, которого чудом вывезли из осаждённого города в сентябре 1941-го года, когда ему было семнадцать лет. Маня была на три года старше Миши, когда они познакомились на первом курсе истфака. Разница в возрасте не помешала их дружбе, которая переросла в большую любовь. Когда его со второго курса забрали в армию, она обещала ждать его. Вот и ждёт до сих пор, хоть перестала получать от него письма с начала 1943-го года. Его мать давно уже потеряла надежду на возвращение сына, а она всё верит в чудо и ждёт. Она была ему верна все эти годы и отклонила несколько серьёзных предложений от своих многочисленных поклонников.

Маня окончила университет с отличием и имела большие успехи в работе. В прошлом году, несмотря на большой дефицит с жильём, ей выделили квартиру в престижном районе города, на улице Кемине. Она восторженно говорила о своём городе, где теперь живут много русских, которые решили там остаться навсегда. По её рассказам евреи не чувствовали там антисемитизм ни со стороны туркменов, ни со стороны русских и их принимали почти на любую работу. В городе тогда строили много жилья и объектов соцкультбыта. Он хорошел и благоустраивался. За продуктами в магазинах не было очередей, а на рынке было много фруктов и овощей по баснословно низким ценам.

Как не уговаривали мы Маню оставить Изю в Одессе и не настаивать на его отъезд в Ашхабад, но не смогли ничего добиться. Среди моих доводов были прелести Одессы и Чёрного моря, историческая известность и престижность Одесского университета, наша крепнущая братская дружба, но Маня продолжала настаивать на своём и, после долгого и упорного сопротивления, Изя всё-же согласился на переезд и стал готовиться к нему.

Был конец августа и, когда до их отбытия оставалось уже несколько дней, мы с Колей устроили прощальный ужин в ресторане «Южный». Было очень уютно. Играл оркестр. на столе были вкусные закуски, хороший коньяк, лёгкое виноградное вино. Мы говорили друг другу много тёплых слов. Маня сказала тогда, что никогда не забудет нашей встречи в Одессе. Она приглашала в гости в любое время, но взяла с нас слово, что мы обязательно приедем на её тридцатилетие, которое будет отмечаться через два года, в августе.

Мы допоздна задержались в ресторане и, когда возвратились домой, застали окно в комнате нашего общежития открытым, а из под- моей кровати исчезли три чемодана - два Изиных и один мой. В его чемоданах было много ценных вещей, привезенных из Германии, а в моём больше не материальных ценностей, а важных документов, фотографий и все письма от Сёмы, которые я хранил, как ценнейшую реликвию в память о нём.

Ребята из нашей комнаты ещё не вернулись после каникул и воры воспользовались удобным случаем, чтобы унести наши вещи. Следствие продолжалось долго, но результатов никаких не дало.

Очень тяжело перенесли мы тогда эту утрату. Особенно болезненно восприняли хищение Маня и Изя. Не знали они тогда, что это ещё не самая большая потеря и самое страшное их ждёт впереди.

Через два дня Маня и Изя уезжали в Москву, откуда шёл прямой поезд на Ашхабад. Трудным было наше прощание. Было какое-то предчувствие, что расстаёмся мы навсегда.

87

Новый и последний год учёбы в институте имел свои особенности. В первом семестре ещё нужно было прослушать курсы лекций по экономике промышленности, технике безопасности, противопожарному делу, промсанитарии и ряду других дисциплин по которым предстояли экзамены, а во втором семестре предстояла серьёзная работа над дипломным проектом.

После хищения наших вещей из общежития мы с Колей решили оттуда выселиться и снять комнату где-нибудь недалеко от института. Это диктовалось ещё и необходимостью создания лучших условий для занятий во время дипломного проектирования.

После недолгих поисков нам удалось найти небольшую комнатку в полуподвальном помещении на улице Пастера, в десяти минутах ходьбы от института. Хозяйка квартиры, пожилая одинокая женщина, дала нам в пользование широкий диван, где мы могли свободно спать вдвоём, стол, книжную полку, небольшой шкаф и пару стульев. Больше в нашей комнатке и не поместилось бы, да нам и не нужно было. Это удовлетворяло все тогдашние наши потребности. В комнате было только одно окошко, да и то чуть выше уровня земли, и только через его верхнюю часть проникал свет, а по утрам и лучи солнца. Зато мы платили

только по 150 рублей в месяц, что в Одессе считалось не дорого. Мы не замечали никаких недостатков в нашем жилье. Нам здесь всё нравилось. Впервые в своей самостоятельной жизни мы имели свою комнату!

Хозяйка доверила нам ключи от передней и мы могли приходить домой в любое время и никого не беспокоить. Были и другие удобства. Мы могли теперь без очереди пользоваться кухней, туалетом и даже душем. Рядом находились не только институт, но и базар, несколько продовольственных магазинов, поэтому мы стали реже пользоваться городским транспортом.

В общем нам было хорошо в нашей комнатке. Коля как-то пошутил, что жить нам здесь вместе до свадьбы, а кто раньше женится получит комнату в подарок от друга, которому придётся искать себе новое жильё. Его шутку можно было принять и всерьёз, так как его отношения с Мирой и мои с Анечкой были не так уже и далеки от их официального оформления.

Взросшая в несколько раз квартплата требовала дополнительных источников дохода. Реализации Колиных талонов на это явно не хватало. Да к тому же это были его деньги. Если я мог раньше допустить их использование на покупку Колей продуктов на наше питание, то на оплату ими квартиры я рассчитывать не мог. Совесть не позволяла. Коля считал вырученные от продажи талонов деньги общими и даже обиделся, когда я наотрез отказался от оплаты им всей месячной квартплаты, но я настоял на своём и платил хозяйке отдельно положенную сумму из небольших своих денежных запасов.

Поняв, что решение моё твёрдое и, ощущая финансовые трудности, Коля стал искать дополнительные возможности заработать пару сот рублей в месяц. Ему, наконец, удалось договориться со знакомым армянином, торговавшим фруктами на Новом базаре под вывеской колхоза «Радянська Украина», что мы будем у него ежедневно работать по пару часов в день за 250 рублей в месяц. Этого нам было достаточно не только на квартплату, но и на некоторые другие расходы. Устраивал нас и режим работы. Мы приходили рано утром и до ухода в институт справлялись с нашими обязанностями по разгрузке товара, его сортировке и подготовке к продаже. Такой распорядок нашей работы устраивал и хозяина, так как машины приходили на рассвете и торговля начиналась рано.

Трудились мы с Колей усердно и получали за это не только причитающиеся нам деньги, но нередко и премии натурой: то арбузом угостят, то дыней, то винограда «Дамские пальчики» отжалуют. Работали мы у этого армянина до глубокой осени и заработали приличную сумму, что решило все наши текущие финансовые проблемы и даже позволило собрать немного денег прозапас.

Анечка редко бывала у меня, когда мы жили в общежитии и ещё реже заходила в нашу комнату, когда мы с Колей поселились в ней. Она стеснялась этого раньше, когда в комнате проживало 6-7 ребят и тем более считала это неудобным, когда нас было только двое. Когда я однажды пригласил её отведать свежих фруктов, которыми нас утром угостил хозяин колхозного ларька, ей очень понравилось и она похвалила нас за порядок, чистоту и уют в комнате. Провожая её домой, я как бы в шутку предложил переселиться ко мне, если ей так у меня всё нравится, на что она то ли шутя, то ли всерьёз сказала:

-Предложение заманчивое. Стоит подумать.

88

Ещё до начала последнего семестра началось дипломное проектирование. Места в дипломантских комнатах предоставлялись по группам, но декан Фан-Юнг счёл нужным сделать для нас с Анечкой исключение и разрешил нам работать рядом. Наши столы с чертёжными досками расположились в удобном, хорошо освещённом месте, что вызвало даже ропот недовольства у некоторых привилегированных студентов, вернее студенток, моей группы. Это была, безусловно, лучшая группа на потоке. В ней было больше отличников, чем в других группах, много активистов-общественников, а некоторые даже были близкими родственниками руководителей института. Училась у нас и дочь видного учёного-химика, заместителя ректора института по научной и учебной работе А.Ф.Марха. Зоя Марх была прилежной студенткой и усердно занималась все годы, но, наверное, не была бы круглой отличницей, если бы не была дочерью проректора. Она привыкла к своему особому положению в институте и не скрывала своего недовольства, когда кому-нибудь из студентов оказывалось повышенное внимание и делались какие-то исключения из общих правил. Не удержалась она и от реплики и в этом случае. Тем более, что это был единственный случай, когда в нашу группу ввели «постороннего» студента.

Фан-Юнг догадывался об отрицательной реакции некоторых студентов на его решение, но делал вид, что не замечает этого. Он вообще всячески способствовал укреплению и развитию наших отношений с Анечкой и делал всё возможное для этого. Нужно сказать, что явных противников этому вообще не было. Большинство студентов одобряло нашу дружбу, а наши друзья открыто способствовали ей. Со временем все привыкли к тому, что мы везде были вместе и многие уже не представляли себе, что мы можем быть врозь. Наверное поэтому Зое и некоторым другим недовольным повышенным вниманием к нам со стороны декана пришло с этим смириться и их отношение к нам со временем стало даже дружественным.

Нам же было очень удобно работать рядом и это положительно отражалось на результатах нашего труда. Я испытывал трудности с черчением. Наверное сказывались проблемы со зрением и недостаток

терпения к этой рутинной работе. Анечка же хорошо чертила и её чертежи получались аккуратнее и чище моих. Вот она и выполняла часть моей графической работы. Конечно, это была небольшая часть и менее квалифицированная. Основные и более сложные чертежи я делал сам, а те, что требовали технического творчества или планировочных решений, выполнялись мной с удовольствием, но тем не менее Анечка во многом мне помогала, что позволяло экономить немало времени.

Я же охотно помогал ей в расчётно-технической части, выборе проектных решений, подборе оборудования и других вопросах проектирования, где я чувствовал себя уверенно.

Работать приходилось много и напряжённо. Мы приходили в институт в восемь утра и уходили домой, обычно, в семь-восемь вечера. Если учесть, что по вечерам хотелось и в кино сходить, или просто погулять, то получалось, что мы с Анечкой постоянно были вместе и расставались только на время сна. Однако, даже такое длительное непрерывное общение казалось недостаточным и мы сожалели о необходимости расставаться на несколько часов в сутки.

Близилась зимняя сессия и предстояла преддипломная практика. Мне не хватало информации для проектирования завода в Калораше и поэтому я должен был избрать местом практики Молдавию. Анечку же могли послать в любое другое место, так как число мест в Молдавию было ограниченным. Очень не хотелось расставаться с ней на долгое время и я стал подумывать об официальном оформлении наших отношений.

89

Ещё при оформлении моего перевода из Грозненского института Фан-Юнг подробно интересовался моей общественной работой. Он был удивлён тому, что, будучи на протяжении двух лет секретарём комсомольской организации института, я не стал там кандидатом в члены партии и советовал подумать об этом сейчас.

К этому вопросу он потом возвращался неоднократно. Фан-Юнг больше касался не идейной, а практической стороны принадлежности к правящей партии. Как и во всём, он был со мной откровенен, в его доводах была железная логика и у меня не было сомнений в том, что его советы доброжелательны.

Александр Фёдорович рассуждал так: институт даёт молодым людям образование и специальность, которые должны быть наиболее эффективно использованы в жизни. Подавляющее большинство специалистов, заканчивающих ВУЗы, становятся рядовыми инженерами, учителями, врачами и остаются ими всю жизнь без реальной перспективы роста. В лучшем случае они со временем становятся старшими или получают более высокую категорию, что даёт прибавку к их зарплате на десять, двадцать или тридцать рублей. Так как зарплата специалистов с высшим образованием была ниже зарплаты квалифицированных рабочих, которая тоже была невысокой, то даже с этой прибавкой инженеры остаются на всю жизнь нищими интеллигентами.

Только небольшая часть специалистов имеют перспективу роста и становятся со временем руководителями предприятий, организаций, ведомств, отраслей промышленности или занимают другие ведущие позиции в науке и обществе. Для этого мало иметь хорошие знания и способности. Нужно еще, как минимум, быть членом правящей партии. Хорошо ещё к тому иметь соответствующее национальное и социальное происхождение, но это изменить нельзя, а вот стать членом партии, при большом к тому стремлении, можно. Это тоже даётся не просто. В партию в первую очередь принимали рабочих и крестьян. Стоит любому слесарю, грузчику, колхознику или уборщице поддаться уговорам о вступлении в партию и они тут же становятся коммунистами. Только после приёма четырёх-пяти рабочих любая партийная организация имеет право принять одного представителя интеллигенции. Иначе бы партия «испортила» свой социальный состав и не могла бы считаться рабочей. Убеждая меня вступить в партию, Фан-Юнг утверждал, что мои умственные и организаторские способности останутся невостребованными, если я не стану коммунистом. Он считал, что это особенно важно для евреев, которые при всех прочих равных условиях всегда отодвигались на задний план.

На конкретных примерах из жизни нашего института Александр Фёдорович подтверждал свои доводы. Сам он, как и Марх, были беспартийными и их высокое служебное положение в институте было тем редким исключением, которое кое-когда встречалось, когда для обеспечения успеха в каком-то важном деле допускалось использование беспартийных и даже евреев на руководящей работе.

В общем, после одной из таких бесед, я подал заявление о приёме кандидатом в члены партии. Рекомендации мне дали комсомольская организация института, мой друг - Костя Высота и секретарь партийной организации Петрижиковская, читавшая у нас курс микробиологии.

К моему удивлению мне не пришлось ожидать долгое время в очереди, как многим другим студентам и преподавателям. Кандидатскую карточку мне вручили через несколько месяцев после подачи заявления. Наверное при этом учли мой досрочный и добровольный уход в армию в начале войны, ранения, активную общественную работу в комсомоле и профсоюзе, отличную учёбу.

Не могу сказать, что мне всё нравилось в работе нашей партийной организации. Несмотря на то, что в ней состояли многие выдающиеся учёные, большинство руководителей института и факультетов, лучшая

часть профессорско-преподавательского состава и студентов, я порой поражался беспринципности и неискренности многих из них. Другие же были ко всему безразличны и старались в дискуссиях не участвовать.

Выступали на собраниях, как правило, одни и те же люди, которым по какой-то негласной очереди поручалось подготовить выступление. Хотя они не всегда зачитывали свою речь по бумажке, а некоторые вообще говорили свободно, не пользуясь тезисами, обычно их выступления сводились к одобрению положений, изложенных в докладе. Складывалось впечатление, что говорят они не то, что думают, а то, что вытекает из доклада или какого-нибудь решения вышестоящих партийных органов, независимо от того согласны они с ними или нет. Собрания часто походили на спектакль, тщательно подготовленный режиссёром, а выступающие на нём ораторы были похожи на артистов, выполняющих свою заученную роль в этом спектакле.

Доклады обычно были скучными и неинтересными, насыщенными цитатами из сочинений классиков марксизма-ленинизма или работ и выступлений Сталина. Особенно обидно было слушать такое из уст умных и уважаемых людей.

Моё возмущение достигло предела, когда на одном из партсобраний обсуждалось закрытое письмо ЦК КПСС о борьбе с космополитизмом. В нём говорилось о недопустимости преклонения перед Западом и забвения достижений русских учёных, изобретателей и новаторов. В нём указывалось, что приоритет «наших» учёных зачастую необоснованно уступают зарубежным, чем наносится большой вред отечественной науке. Приводилось много примеров подтверждающих это. Нельзя было не обратить внимание на то, что наиболее часто назывались еврейские фамилии людей, которые якобы без основания пользуются славой первооткрывателей и авторов важных открытий и изобретений, а их фактические авторы, русские учёные, незаслуженно забыты.

Выступающие в прениях, поддерживая положения, содержащиеся в письме ЦК, пытались дополнить их примерами из области пищевой промышленности и науки. Приводились «факты» ущемления русских и украинских учёных при замещении вакантных должностей профессоров и доцентов, защите диссертаций и приёме в аспирантуру. Назывались цифры, подтверждающие низкий процент русских и украинцев в составе профессоров и преподавателей института. Никто конкретно не говорил, что предпочтение отдаётся евреям, но подразумевалось именно это.

Особенно удивило меня тогда выступление доцента Флауменбаума, читавшего у нас курс «Основы консервирования». Это был очень способный, ещё сравнительно молодой учёный, который пользовался большим уважением и авторитетом у студентов. Он был автором учебных пособий и многих публикаций по консервированию, разработал ряд важных изобретений и, один из немногих в институте, читал английские и немецкие научные журналы в подлиннике.

В своём выступлении, желая показать заслуги русских учёных в разработке науки консервирования пищевых продуктов, Флауменбаум заявил, что теорию консервирования первым разработал некий Каразин, а не Аппер, как принято было до сих пор считать, и чему он сам нас учил на лекциях.

После этого выступления я надолго потерял уважение к Флауменбауму, как к человеку и учёному. Тогда ещё мне было непонятно, как может уважающий себя человек говорить на лекциях одно, а на партийном собрании - другое. Только позднее, когда я на собственном опыте убедился, как партийные и другие советские органы могут заставить практически любого человека говорить то, что им угодно, я понял, что стоило Флауменбауму такое выступление на партсобрании. Но в те годы оно поразило меня и осталось надолго в моей памяти.

Компания борьбы с космополитизмом продолжалась несколько лет и приняла открыто антиеврейскую, антисемитскую направленность. Многие видные учёные-евреи лишились тогда высоких должностей в академических институтах и ВУЗах, а на их место были назначены представители коренных национальностей.

Мы могли в этом убедиться на конкретных примерах из жизни нашего института. Тот же Флауменбаум, и даже Фан-Юнг, незаурядные научные способности которых были общеизвестны, на протяжении нескольких лет не допускались к защите докторских диссертаций, а когда, наконец, они были допущены, их с позором «завалили» при голосовании.

Постепенно это распространилось и на другие сферы деятельности. Не только в научных учреждениях, но и во всех отраслях народного хозяйства стали «устранять недостатки в работе с кадрами». Из-за пятой графы личного листка по учёту кадров евреям стало ещё труднее, чем раньше, устраиваться на работу, их ещё реже стали повышать в должности, а многие освобождались от своих постов за различные «недостатки и упущения» в работе или «злоупотребления» служебным положением. Был ограничен приём евреев в ВУЗы, а в некоторые престижные институты и университеты они практически вообще не принимались.

В центральных и местных газетах часто печатались антиеврейские фельетоны, что способствовало росту открытого проявления антисемитизма.

Всё это делалось с молчаливого согласия партийных органов и организаций. На партсобраниях открытых антисемитских выступлений не было, но известные всем факты унижения и оскорбления евреев не осуждались. Такова была «линия партии». С ней приходилось считаться не только членам партии, но и всем трудящимся. Её нужно было знать и неукоснительно соблюдать. Горе было тем, кто это правило не понимал и не выполнял.

90

Нюня Туллер выполнил своё обещание по розыску сведений, касающихся Зюни, и делал для этого всё, что было в его силах. Мы вместе с ним побывали в педагогическом институте, встречались с членами Оргкомитета по проведению встречи бывших студентов выпуска довоенного 1940-го года, говорили со многими студентами и преподавателями, которые знали и помнили Зюню и Рахиль. Все они очень тепло о них отзывались и восторгались их дружбой и любовью.

Одним из членов Оргкомитета оказался преподаватель нашего института, доцент кафедры марксизма-ленинизма Пинкус. Он читал у нас курс политэкономии и часто, на общественных началах, выступал с лекциями о международном положении.

Нюня помнил Пинкуса по рассказам Зюни и нередко встречался с ним и после демобилизации из армии. Он почему-то недолюбливал его. По его рассказам и Зюня испытывал к нему неприязнь за его зазнайство и бахвальство. Я сам замечал за ним такое, когда он читал нам свой курс, выступал на партсобраниях или выходил на трибуну с лекцией по текущему моменту. Он вёл себя высокомерно и самоуверенно, но не всегда мог понятно и убедительно передать свои знания слушателям.

Наша беседа с Пинкусом была непродолжительной и не дала почти никаких конкретных результатов. Единственное, что удалось сделать, это получить копию фотографии их группы, на которой запечатлены Зюня и Рахиль. По его совету мы также нашли в материалах Оргкомитета фотоснимок Зюни, с которого сделали несколько копий. Они оказались единственными фотографиями в память о нём, которые мы с Полечкой храним до сих пор.

Несмотря на то, что наш поиск оказался фактически безрезультатным, мы остались довольными встречей с людьми, знавшими Зюню и сохранившими о нём добрую память.

В отделе кадров института мы оставили свои адреса и просили сообщить нам обо всём, что им станет известно о Зюне в будущем. Там нам пообещали, что его имя будет занесено на мемориальную доску в память о студентах и преподавателях института, участвовавших в Великой Отечественной войне и отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

91

Полечка редко писала письма. Для неё всегда было легче выполнить трудную физическую работу, чем написать маленькое письмо. Потребовалось несколько моих писем со всё более нарастающей интонацией тревоги и возмущения, чтобы дожидаться её отписки на одной стороне тетрадного листа, где содержались короткие ответы на мои вопросы о здоровье, учёбе, работе, настроении. Все её письма были удивительно похожи и содержали почти одинаковую информацию, достоверность которой вызывала сомнения. У неё никогда не было серьёзных проблем, жалоб на здоровье, житейские трудности или плохое настроение, редко она выражала своё недовольство или обиды. Письма отличались только тем, кого из друзей, подруг или просто знакомых она благодарила за доброе к ней отношение и бескорыстную помощь. Все окружающие её люди были замечательными, а некоторые из них просто ангелами, посланными Господом для заботы о ней.

Особенно восхищалась она Кларой Кучер и всей семьёй Зильбершмитов, которые согрели её теплом и заботой. Несмотря на то, что ей с помощью тёти Клары освободили две комнаты в нашем доме, как только она приехала в Красилов, она ещё долго продолжала жить у Зильбершмитов, которые приютили её в день приезда и привыкли считать членом своей многочисленной семьи.

Тётя Клара устроила её ученицей в банке, чему она была очень рада, и в каждом письме Полечка восхваляла сотрудников и управляющего за внимание к ней.

Зная характер своей сестрёнки, я представлял себе каких трудов ей всё это могло стоить. Беспокоило также её здоровье после трёх трудных и тревожных лет скитаний в оккупированном Немирове. Неизвестно было, когда я смогу с ней встретиться после окончания института и, когда выдалось несколько свободных дней, я решил съездить в Красилов.

То, что я увидел там, потрясло меня. Полечка выглядела больной и усталой. Она работала тогда уже не в банке, а в сберегательной кассе. Чувствуя недостаток знаний и опыта счётной работы, она трудилась с утра и до позднего вечера, пытаясь скорее освоить непростую и очень ответственную работу. Она «пахала» за себя и за других, стараясь своим усердием отблагодарить начальство за учёбу и терпение.

У неё фактически не было выходных дней, так как по воскресеньям приходилось восполнять упущенное за неделю и приводить в порядок учёт движения вкладов. Для этого выходные дни объявлялись

рабочими и приходилось трудиться за себя и своих сотрудниц, которые находили причины не выходить на работу. Если учесть, что штат в сберкассе был небольшой и состоял, в основном, из женщин, а главным средством механизации учёта в то время были счёты с костяшками, можно понять чего стоило держать учёт в ажуре.

Когда она поздно вечером приходила домой, для неё начиналась вторая смена домашней работы у Зильбершмитов: готовила еду, убирала, стирала, помогала в уходе за детьми. Её никто не просил об этом. Она сама искала себе работу, желая отблагодарить их за доброе отношение и помощь в трудоустройстве.

В этом доме долго искать работу не приходилось. Семья была большая и было совсем не просто её накормить, обстирать, обогреть. Все взрослые работали, а дети учились. После работы нужно было закупать продукты, готовить, стирать, убирать, топить зимой печи.

В выходные дни, когда Полечка возвращалась из сберкасси, Клара запрещала ей домашнюю работу и велела только отдыхать. В воскресные вечера она встречалась с подругами и ходила в кино. Лучшей её подругой была Лиза Фишберг - сестра Гени, мечты моей юности. С ней она дружила ещё с довоенных детских лет и между ними было много общего. Лизе, правда, досталось меньше горя нежели Полечке. Она все годы войны провела в эвакуации с родителями, их семью обошли потери в военное лихолетье. В глубоком тылу они не чувствовали опасности смерти от бомбёжек и обстрелов, голода и болезней. До войны и теперь они жили намного богаче нас. Однако, всё это не мешало их дружбе, которая продолжалась затем многие годы и сохранилась до последнего времени.

Лиза была намного смелее нашей Полечки в поисках личного счастья, и в свои восемнадцать лет уже серьёзно встречалась с ребятами, в том числе и с военными. В редкие дни отдыха она привлекала и Полечку на встречи с лётчиками.

Во время моего пребывания в Красилове я часто встречался с Зильбершмитами. За вечерним чаепитием, с участием Полечки, обсуждались вопросы, связанные с её работой и учёбой. Мы договорились, что закончив институт, я заберу её к себе, а пока она переселится в свою квартиру в нашем доме, освоит нелегкое бухгалтерское дело в сберкассе и поступит в вечернюю школу. Со всем этим моя сестрёнка соглашалась.

С помощью Клары нам удалось продать оставшуюся часть дома, которая принадлежала покойной миме Шейве. Мы до сих пор воздерживались от этого, считая, что должны согласовать продажу с нашими двоюродными братом и сестрой, которые были в таком же, как и мы родстве с Шейвой. Но они, перед отъездом из Одессы, наотрез отказались от своих прав на оставшуюся в Красилове недвижимость. То ли всерьёз, то ли шутя велели считать это их подарком к предстоящей моей женитьбе. Теперь мы могли со спокойной совестью это сделать и быть довольными тем, что не пришлось никого выселять с помощью прокурора. За сравнительно небольшую сумму в доме остались жить семьи, которые в нём жили во время войны, а полученные деньги были нам очень кстати в то трудное и голодное время.

Как-то Клара Кучер по большому секрету рассказала мне о встречах Полечки с одним сержантом из воинской части, у которого, как будто, в отношении неё были серьёзные намерения.

Когда я попросил Полечку познакомить меня с этим лётчиком, она наотрез отказалась, утверждая, что ничего серьёзного у них нет, что это её подруга встречается с одним солдатом, у которого есть друг Володя. Они иногда вместе гуляют, ходят в кино и на танцы.

Поверил я тогда своей сестрёнке и не стал настаивать на встрече с Володей. В моём представлении она ещё была ребёнком и, как мне казалось, о каких-то её серьёзных намерениях в личной жизни не могло быть и речи.

Как потом оказалось, за мою доверчивую наивность нам пришлось вскоре дорого поплатиться.

92

16-го декабря 1947-го года был обычным трудовым днём, какие бывают у студентов в напряжённую пору дипломного проектирования. Только закончилась последняя зимняя сессия и через несколько дней начиналась двухмесячная производственная практика.

Накануне мы с Анечкой приняли окончательное решение пожениться. В принципе мы договорились об этом уже давно, но всё откладывали юридическое оформление наших отношений из-за отсутствия финансовых возможностей снять комнату. Точная дата регистрации была продиктована желанием совместной поездки на практику, а главное - предстоящим распределением молодых специалистов, которое ожидалось в феврале.

О нашем решении Анечка рассказала родителям, а я - своим друзьям Коле и Ромке. Условились не предавать это широкой огласке, а собраться в комнате родителей невесты на скромный ужин в кругу родных и друзей.

Утром, перед уходом в институт, забежали в магазин, где купили по комерческим ценам виноградного вина и кое-что из продуктов. Ничто не предвещало происшедшей в этот день девальвации и подорожания цен к исходу дня в несколько раз.

После занятий, как было условлено, отправились в ЗАГС. Шли пешком. Был пасмурный и прохладный день. Когда вышли на улицу Ласточкина, что ведёт к Оперному театру и расположенному напротив ЗАГСу, пошёл снег. Крупные снежные хлопья покрывали одежду, лицо, ложились на влажный асфальт. Они какое-то время сохраняли свой ослепительно белый цвет, а затем медленно таяли в ещё не очень холодном воздухе. Но настроение наше было приподнятым, прохожие - знакомые и незнакомые могли это легко заметить. И надо же, неподалеку от намеченной цели, случайно встретили сокурсниц Зою Марх и Марту Фельдман, которые тут же спросили:

-Не в ЗАГС ли мы направились?!

От неожиданности чуть не раскрыли наш секрет, но вовремя спохватились и ответили, что просто гуляем, любимся первым снегом.

-Понятно, - многозначительно и с недоверием произнесли подружки.

Здание ЗАГСа ничем не отличалось от других на этой тихой улочке. Тогда ещё не было Дворцов бракосочетания, которые позднее, по чьему-то мудрому указанию сверху, стали открываться во всех больших городах Союза и даже в некоторых райцентрах. В небольшом тесном помещении, без вестибюля, ютилось несколько комнат, где оформлялись акты гражданского состояния, хранились архивные документы о рождении, браке и смерти людей.

Был конец рабочего дня и в ЗАГСе не было посетителей. Уже немолодая, приветливая женщина, с ходу приступила к собеседованию и привычной процедуре регистрации брака. Тогда ещё не устанавливались сроки на обдумывание намерений, не требовались и свидетели. После завершения всех формальностей женщина, добродушно улыбнувшись, велела заплатить пятнадцать рублей госпошлины.

Когда мы удивились столь малой сумме (ещё вчера это стоило 150 рублей), регистратор объяснила, что в этот день объявлен Указ Президиума Верховного Совета СССР о девальвации денег. Все старые деньги подлежали обмену на новые в соотношении 1:10 в сберкассах и специальных обменных пунктах.

Как ни уговаривали мы женщину принять у нас 150 рублей старыми деньгами, она наотрез отказалась и велела идти на обменный пункт. При этом предупредила, что они заканчивают работу в пять часов вечера и нам следует поторопиться или прийти в другой день.

Не знаю почему, но я воспринял внезапно возникшее препятствие к регистрации нашего брака чуть ли не как трагедию и упросил сотрудницу задержаться на несколько минут, если не успею вернуться к указанному времени. Для большей верности я попросил Анечку остаться в ЗАГСе, а сам помчался менять деньги.

Было нереально пытаться произвести обмен в сберкассе, так как там, наверное, образовались большие очереди, и я решил поискать счастья в ближайших магазинах или ларьках. Это оказалось трудной задачей. Никому уже не нужны были старые деньги и никто не соглашался принять их вместо новых.

Когда уже были потеряны все надежды на обмен денег, я наткнулся на парикмахерскую, что была рядом с ЗАГСом, и решил попытать счастье в последний раз. В полупустом салоне было два мастера и один клиент. Они отнеслись очень участливо к моей проблеме. Когда я рассказал им о том, что моя невеста ждёт меня в ЗАГСе, а я бегаю по магазинам, пытаюсь обменять 150 рублей для регистрации брака, они вывернули свои карманы и собрали восемнадцать рублей новыми купюрами. У меня перехватило дыхание и, наверное, никого в жизни я больше так не благодарил, как их.

Сотрудница ЗАГСа выполнила своё обещание и ждала меня, хоть я опоздал не на несколько минут, а на целых полчаса. Она отсчитала ровно пятнадцать рублей, вернув мне три рубля, которые я собирался оставить ей в знак благодарности, и тепло поздравила нас с законным браком.

Со смешанным чувством радости и волнения покидали мы помещение ЗАГСа, куда недавно вошли, как жених и невеста, а вышли мужем и женой. Даже не верилось, что всё уже совершилось и мы - одна семья. Только теперь, выходя из ЗАГСа, мы осознали всю сложность положения, вытекающего из нашего нового статуса.

Первое, с чем мы должны были неизбежно столкнуться, это финансовые и жилищные проблемы. В оставшееся до окончания института время предстояло жить на наши стипендии и мои небольшие сбережения, оставшиеся от продажи части дома. На помощь родителей рассчитывать не приходилось, так как отец Анечки так и остался безработным и они жили в бедности. Снять нам квартиру они не имели возможности. Не могли и мы с Анечкой оплачивать комнату, которую до сих пор снимали с Колей Погосовым или какое-нибудь другое помещение.

Родители предложили жить с ними в той половине комнаты, которую они снимали у маникюрши Дины. Было трудно с этим согласиться, но другого реального выхода не было. Одно только сглаживало остроту проблемы - с 20-го декабря начиналась преддипломная практика и мы с Анечкой должны были уехать из Одессы на целых два месяца.

Все эти и другие житейские вопросы мы обсуждали по дороге из ЗАГСа. На Преображенской зашли в магазин купить бутылку вина, но не смогли это сделать, так как вино и другие товары подорожали в несколько раз.

Когда пришли домой, нас у порога поздравили родители, родственники, друзья и хозяйка квартиры Дина. Принимая поздравления от мамы, Анечка заплакала и долго не могла успокоиться. Никакие уговоры на неё не действовали и лицо её оставалось мокрым от слёз весь вечер. Было много тёплых слов и пожеланий. Кроме родителей их говорили брат Боря и жена его Люся, хозяйка Дина, мои друзья Коля и Ромка. От себя и Анечки я благодарил всех за добрые напутствия и обещал, что жене моей не придется больше слёзы проливать, так как обижать её я не буду.

Вот уже полвека я стараюсь выполнять своё обещание и, как мне кажется, это мне до сих пор удавалось.

93

Наш медовый месяц мы провели в Тирасполе, на преддипломной практике. Не знаю какие чувства испытывают другие семейные пары во время свадебного путешествия, но в моей памяти остались самые светлые воспоминания. Нам было хорошо вдвоём. Целых два месяца мы были вместе, совсем одни, и никто, и ничто не могло помешать нам наслаждаться этим. Даже тяжёлые бытовые условия, непролазная грязь на глухой и тёмной окраине города, куда нам по вечерам приходилось добираться пешком, и ежедневные дебоши пьяного хозяина, в доме которого мы снимали небольшую комнату, не испортили прекрасного впечатления от нашего пребывания в Тирасполе в течении двух первых месяцев нашей семейной жизни. Мы ещё раз убедились в верности своего выбора и в том, что нам по пути в большой дороге, которую мы только начинали.

Наш медовый месяц отличался от обычного ещё и тем, что приходилось много работать по программе практики и сбору большого объёма материалов для дипломного проектирования. Свободного времени оставалось очень мало и поэтому фактически не было возможности посещать культурные и спортивные мероприятия, совершать экскурсии или даже вволю погулять по городу. Не нашлось и времени съездить в столицу Молдавии, Кишинёв, что в полутора часах езды от Тирасполя. Не было не только времени, не хватало и денег. И всё же своим медовым месяцем мы остались очень довольны, его счастливые дни остались в памяти нашей на всю жизнь.

94

В Одессе нас ждало немало проблем. К жилищно-финансовым вопросам, которые надо было как-то решать, прибавились взаимоотношения с родителями, трудности с продуктами питания, бытовые неудобства.

С волнением ожидали предстоящее в феврале распределение молодых специалистов. Хоть мы и имели приглашение на работу в Тирасполь, хотелось узнать о других возможностях трудоустройства, где бы представлялась хоть какая-то жилплощадь для нашей большой семьи.

К тому времени стало ясно, что главе семейства не удастся найти приличную работу в Одессе. Место в торговой сети, которое он искал, стоило немалых денег. Кроме того нужна была хорошая рекомендация. Ни того, ни другого у Абрама Александровича не было. А устроиться без денег и без чьей-то руки, да ещё и еврею было очень трудно. Если даже и удавалось найти какую-то временную работу, нужно было уметь сработаться с начальством и давать ему «на жизнь». Кто не умел это делать, получал вскоре предупреждение об окончании периода «временной» работы и лишался места в торговле.

Помню, как рад был отец Анечки, когда ему предложили место в небольшой булочной, где, кроме хлеба и булок, продавались кондитерские изделия, печенье, сахар и другие сопутствующие товары. Он приступил к работе с желанием и выполнял её с большим рвением. После работы мы с ним допоздна сидели со счётами за книгами учёта движения товаров. Казалось, что он твёрдо взял бразды правления в свои руки и что работа эта всерьёз и надолго.

Он занял более жёсткую линию в управлении домашними делами, стал разговаривать с женой и детьми повышенным властным тоном, требовал готовить обеды из трёх блюд с говядиной или курицей. По субботам вся семья должна была обедать непременно вместе и к столу должна была подаваться, кроме других блюд, фаршированная рыба с хреном и жигулёвское пиво. Соответствующее меню требовалось к ужину в пятницу, когда он возвращался из синагоги перед шабесом.

Субботу и все еврейские праздники папа Абрам соблюдал свято, но скрывал это от посторонних. Он не молился в единственной в Одессе, разрешённой властями синагоге, а ходил в частный еврейский дом, где собиралось несколько старых евреев, как на тайную сходку, опасаясь осведомителей НКВД, которые зорко следили за «происками сионистов и космополитов».

Мама Рета старалась не вызывать гнев мужа и во всём угождала ему. Когда он приносил в дом лишнюю копейку она ходила на базар, покупала нужные продукты и очень вкусно готовила. Ей нравилось, когда хвалили её еду, но больше всего радовала похвала мужа, которая доставалась ей довольно редко. Чаше он находил причины для недовольства и ругал её, не утруждая себя подбором слов и выражений.

Когда, например, бульон или рыба казались ему недосолёнными или пересолёнными, а также, когда он находил другие недостатки в её домашней работе, он стучал кулаком по столу и кричал:

-Бренен золсты!, что по русски значит:

-Чтоб ты сгорела!

Разговаривал он чаще на русском, чем на еврейском, но ругался только на идиш. Не трудно было заметить, что чем больше он зарабатывал, тем больше требовал и тем строже относился к жене и детям. Ко мне мой тесть относился с почтением, которое не изменилось со времени нашего знакомства. Разговоры у нас шли больше по международной или социально-политической тематике, нежели на семейно-бытовые темы. Однако к его грубостям по отношению к жене и детям я не мог оставаться безразличным и не раз высказывал ему своё недовольство. Относился он к этому довольно равнодушно и мне советовал не обращать на это внимание.

Вероятно он не смог «сработаться» со своим начальством и ему вскоре объявили о предстоящем увольнении по причине временного статуса его работы.

Через некоторое время ему удалось устроиться на другую временную работу, подобную первой, но финал её был таким же и в ещё более короткий срок.

Вскоре он, наконец, окончательно убедился, что Одесса не для него и стал ждать нашего распределения, убеждая нас в том, что вместе нам будет лучше и что в другом городе он раскроет свои способности и покажет чего стоит.

Мой тесть часто вспоминал Днепродзержинск, где до войны работал начальником хлебного отдела в Управлении рабочего снабжения крупнейшего в стране металлургического завода имени Дзержинского. Парторгом на том заводе был Леонид Ильич Брежнев, который затем стал мэром города, перед войной был избран секретарём обкома партии, а позднее стал лидером партии и государства. С ним Абрам Александрович был почти в дружеских отношениях и за его спиной чувствовал себя спокойно и надёжно. Брежнев часто отмечал его успехи в работе и заслуги перед страной, как Красного партизана и беспартийного большевика.

Одессу тесть возненавидел и называл её городом жуликов, воров и спекулянтов, для которых она стала родной мамой.

Позднее, когда Анечка объявила, что ждёт ребёнка, мы и сами пришли к выводу, что нам будет лучше жить с родителями в расчёте на помощь мамы в уходе за малышом. Из этого мы и исходили, когда были приглашены на заседание комиссии по распределению молодых специалистов. Нужно было получить назначение на работу, где предоставлялась хоть какая-нибудь жилплощадь. Таких мест было мало, ибо жилья тогда строили немного и люди годами, а порой и десятилетиями ожидали своей очереди на получение крыши над головой.

В первую очередь выбор места работы предлагался отличникам, активистам партийно-комсомольской и другой общественной работы, инвалидам и участникам Отечественной войны. С учётом этого я был приглашён на комиссию первым, когда все наличные места были ещё свободны. Был большой выбор городов Союза, предприятий и организаций пищевой и мясомолочной промышленности с различными вакантными должностями. Предлагались Тирасполь и Кишинёв в Молдавии, Симферополь и Ростов в России, Херсон и Николаев на Украине и многие другие крупные, средние и небольшие населённые пункты в различных республиках страны. Была даже вакансия на Одесском консервном заводе имени Ворошилова, что было мечтой любого нашего студента. На самом деле, кому бы не хотелось остаться жить и работать в этом прекрасном городе на берегу тёплого моря. Меня же все эти престижные предложения не могли устроить из-за отсутствия жилплощади.

Предложили мне и несколько вакантных должностей главного инженера райпищекомбинатов в Одесской области с жильём. Я уже решился дать согласие на такую должность в один из райцентров вблизи Одессы, но тут в дело вмешалась уже не молодая, представительная женщина с депутатским значком на пиджаке, которая отрекомендовалась:

-Шаройко Марфа Дмитриевна, заместитель наркома мясной и молочной промышленности Белоруссии.

Она предложила инженерную должность в производственном отделе наркомата с предоставлением комнаты в Минске. Не знаю почему, но я тогда проникся уважением к этой властной женщине. Может быть её солидный внешний вид располагал к доверию, может убеждённости в правоте своих доводов, а может и депутатский значок на груди сыграл свою роль, но её предложение показалось мне заманчивым. Шаройко убеждала, что мне не придётся жалеть о своём выборе, что в Белоруссии очень нуждаются в грамотных специалистах для возрождения разрушенной войной промышленности, что она лично поможет мне в первое время и в обиду не даст. Я попросил сохранить за мной эту вакансию и вышел посоветоваться с Анечкой, которая ждала меня за дверью.

За мной вслед вышел Фан-Юнг и посоветовал дать согласие на работу в Белоруссии. Раньше он предлагал мне поработать три года в Тирасполе, поступить в заочную аспирантуру, а после защиты

диссертации обещал устроить в институте. Однако, учитывая хорошие перспективы открывающиеся в Минске с предоставлением жилплощади, посчитал целесообразным согласиться с предложением Шаройко. Он рассказал, что накануне она долго беседовала с ним по вопросу отбора специалистов и, по его совету, остановилась на моей кандидатуре. Что же касается аспирантуры, то его предложение оставалось в силе и он считал, что работа в аппарате наркомата этому не помешает.

Анечка одобрила мой выбор главным образом из-за жилья и мы дали согласие на работу в Минске. Марфа Дмитриевна выразила удовлетворение тем, что получает одновременно двух специалистов и пообещала подобрать инженерную должность и для моей супруги.

95

В начале марта в Одессу приехала Полечка. Несмотря на тесноту в половине нашей комнаты и финансовые трудности, её приняли тепло и радушно. Это было первое знакомство моей сестрёнки с Анечкой и её родителями. Я было считал, что в этом и была цель её приезда. Мы долго беседовали с ней о планах на будущее и велели готовиться к отъезду в Белоруссию, как только мы обустроимся на новом месте. Хотелось помочь ей в учёбе и получении специальности. Со всеми нашими предложениями и советами она как-будто соглашалась, а когда пришла пора прощаться и возвращаться домой, призналась, что уже два месяца замужем и мужем её стал тот самый сержант Володя из лётной воинской части, о котором мне говорила Клара Кучер во время моего последнего приезда в Красиллов.

Вот в этом, как оказалось, и была основная причина её приезда к нам. Она выглядела растерянной, испуганной и была похожей на ребёнка, совершившего ужасную шалость, за которую нужно держать ответ перед взрослыми.

Со слезами на глазах она рассказывала о том, как состоялось её замужество. Выходила замуж её подруга Лиза за того солдата, с которым давно встречалась, а Полечка и Володя были на той свадьбе в качестве первой подружки и первого дружка. Вот на свадьбе и уговорили её расписаться с Володей, который не раз уже делал ей предложения. Так хором и порешили. С этим была согласна и тётя Клара, которая разглядела в сержанте доброго и отзывчивого парня, да ещё и наполовину еврея.

Полечка утверждала, что хоть они и расписались, она живёт отдельно и не пустит мужа в дом до тех пор, пока не получит на то нашего согласия. Если мы не согласны, она подаст на развод.

Что было делать в этой ситуации? Мы, конечно понимали, что замужество ей сейчас ни к чему, что ей нужно учиться, получить специальность, укрепить своё здоровье после ужасных страданий войны, но были вынуждены принять случившееся, как свершившийся факт, и смириться с ним.

Своим поступком Полечка перечеркнула все наши проекты и благие намерения относительно её будущего и, как потом выяснилось, не в свою пользу. Мы часто сожалели потом о случившемся, но исправить уже ничего не могли.

96

Трудными были последние месяцы студенческой жизни. Работа над дипломом была сложной и напряжённой. Наша тема была на виду и нужно было выполнить проект так, чтобы не стыдно было и за себя, и за институт, который доверил нам столь важное и ответственное дело.

Председателем комиссии по защите дипломных проектов обычно был начальник Главконсервпрома Наркомата Пищевой Промышленности Союза Осипов и институту было важно, чтобы реальные проекты, подобные нашему, получили хорошую оценку заказчика и Главка.

С Борей Шнайдером мы распределили работу справедливо и мне достались ТЭО, Генплан, основные технологические листы, объяснительная записка и доклад на защите. Он выполнял расчётную часть, подбор оборудования, монтажные листы, электротехническую, холодильную и теплотехнические части, водопровод и канализацию.

Работы было много и Фан-Юнг старался нам во всём помогать. На помощь Анечки в последнее время мне особенно рассчитывать уже не приходилось, так как на её работоспособности всё более сказывалась беременность, вызвавшая частые рвоты и головокружение. Теперь она больше нуждалась в моей помощи.

Подготовка к защите отнимала всё свободное время, кроме нескольких часов на сон и вечерние прогулки с Анечкой. Во многом помогала мать. Она заботилась о питании и освободила нас от всей домашней работы. Даже отец старался теперь быть внимательным к дочери, что редко замечалось раньше, не грубил и не повышал голос.

Наши друзья по-прежнему тепло относились к нам, но встречались мы теперь реже и на их помощь было трудно рассчитывать. Костя Высота и Галя Харченко защитились в прошлом году и оба остались в институте. Они работали лаборантами на кафедре теплотехники и готовились к поступлению в аспирантуру. Оба были заняты наукой, работой и семейными проблемами. Совсем мало времени оставалось у них для досуга и общения.

Коля Погосов на последнем курсе женился на Мире и жил на улице Пастера в комнатке, которую мы раньше снимали вдвоём. Они заканчивали винодельческий факультет и тоже готовились к защите диплома.

Рома Коганский ушёл весь в семейные дела и заботы и был по-прежнему в полном подчинении у Оли. Все мы вышли из состава профкома и общественной работой в последний институтский год уже не занимались. Дружба наша вроде и не прерывалась, но постепенно гасла, и мы с сожалением отмечали, что отдаляемся друг от друга.

К середине июня работа над дипломом была в основном завершена и мы с волнением ждали защиты.

97

20-го июня 1948-го года был объявлен порядок и очерёдность защиты дипломных проектов. Мы с Анечкой защищались первыми - 25-го июня.

Большая аудитория, где проходила защита, была залита солнечным светом. Почти все кресла были заняты студентами, преподавателями, родственниками, друзьями. Всё выглядело нарядно и празднично. На сцене, перед столом комиссии, стояли вазы с живыми цветами.

В комиссии были проректор по научной и учебной работе Марх, декан Фан-Юнг, профессора кафедр технологии, оборудования, марксизма-ленинизма, ведущие специалисты пищевой промышленности, а председателем был тот же Осипов из Москвы.

Я заранее развесил свои чертежи на широкой доске за столом комиссии. Перед тем, как дали слово, очень волновался, но, начав доклад, успокоился и старался уложиться в отведенные 30 минут. Свою речь я произнёс на одном дыхании, сопровождая её ссылками на чертежи, графики, таблицы, висевшие на доске.

Вопросов было много и на ответы потребовалось больше времени, чем на доклад. Прочли письменные отзывы специалистов, которым проект был направлен на рецензию. Выступило несколько членов комиссии и главный инженер Молдконсервтреста, который заявил, что основные проектные решения выполнены в полном соответствии с заданием на проектирование и будут использованы при строительстве завода в Калораше.

Председатель комиссии обобщил выступления и сделал вывод о том, что проект соответствует всем требованиям, предъявляемым к дипломному проектированию, выполнен на высоком техническом уровне и заслуживает самой высокой оценки.

Такой же оценки был удостоен и Боря Шнайдер. Обоим были вручены дипломы с отличием. Успешно защитилась и Анечка.

В холле ждали родители, Боря с Люсей, наши друзья. Они тепло поздравили нас и вручили цветы. Было очень душно и мы устремились на улицу. Дул свежий ветер с моря и тёплые лучи июньского солнца ласкали лица и согревали душу. Хотелось пить и мы вместе направились в скверик на Дерибасовскую, где под тентом у фонтана ели мороженое и запивали газировкой со льдом.

Можно было свободно вздохнуть. Позади институт, в руках дипломы. Впереди - новый этап жизни.

Наши друзья строили планы летнего отдыха. Рома с Олей собирались в Крым. После болезни он каждый год выезжал на месяц в Ялту.

Коля с Мирой готовились в путешествие по Кавказу с заездом в Баку, Ереван и отдыхом в Сочи.

Костя с Галей уезжали на Полтавщину. Им нравилось отдыхать на их родине, у родителей-колхозников, в деревенской тиши, где можно собирать грибы, рыбачить, вволю поесть свежих фруктов и овощей, погулять босиком по утренней росе.

Кому из студентов не хочется отдохнуть летом? Это ведь одна из немногих студенческих привилегий. Раз в год бывают летние каникулы и их, естественно, старались использовать как можно лучше.

В этом году студенческие каникулы нам представлялись последний раз и просто грех было не воспользоваться такой возможностью после напряжённой работы над дипломом.

Мы же с Анечкой решили по-другому. Шёл пятый месяц её беременности, которую она переносила тяжело. Непомерно большой живот мешал двигаться, её не оставляли рвоты и головокружение. Нас по-прежнему одолевали финансовые, жилищные и бытовые проблемы. Отец так и не нашёл работу, и мы жили только на стипендии и мои сбережения. Единственной надеждой для всей семьи была моя работа. Все ждали её с нетерпением.

Хотелось и мне поскорее приступить к труду. Желание это диктовалось не только, а может быть не столько финансовыми соображениями, сколько желанием скорее проверить себя на деле, реализовать знания, которые приобрёл и накопил за годы учёбы.

Я предложил отказаться от каникул и выехать на место назначения немедленно. Анечка немного сопротивлялась, предлагая различные варианты отдыха, но я настоял на своём. Через несколько дней после защиты, в конце июня удалось добыть билет на прямой рейс Одесса-Минск и, наспех собрав вещи первой необходимости, я отправился в аэропорт.

В глазах Анечки, провожавшей меня, были слёзы. Не требовалось слов, чтобы понять её волнения, тревоги и надежды. Такие же чувства владели мною, но я старался их не проявлять и твёрдо произнёс на прощание:

-Всё будет хорошо! Мы пробьём себе дорогу к счастью. Я буду очень стараться.